

В. УСТЬЯНЦЕВ

ПРЕМЬЕРА



В. УСТЬЯНЦЕВ

ПРЕМЬЕРА



Московский рабочий
1984

P2
У83

Устьянцев В. А.

У83 Премьера: Роман.— М.: Моск. рабочий, 1984.—
288 с.

Роман посвящен театру. Его действующие лица — актеры, режиссеры, драматурги, художники сцены. Через их образы автор раскрывает особенности творческого труда и таланта, в яркой художественной форме осмысливает многие проблемы современного театра.

У $\frac{4702010200-213}{M172(03)-84}$ 228—84

P2

© Издательство «Московский рабочий», 1984 г.

Театр — это нежное чудовище, которое берет всего человека, если он призван, грубо выкидывает его, если он не призван. Оно в своих нежных лапах и баюкает и треплет человека, и надо иметь воистину призвание, воистину любовь к театру, чтобы не устать от его нежной грубости...

А. БЛОК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Степан Александрович Заворонский счал в Верхнеозерск с целью довольно шепетильной и, на его взгляд, не вполне благовидной: переманить из местного театра в свой столичный молодого актера Виктора Владимирцева. Заворонский видел его всего один раз четыре года назад во время гастролей в Иркутске. В тот сезон почему-то в Иркутске оказался и Верхнеозерский музыкально-драматический театр. Естественно, он не выдерживал никакой конкуренции со столичным, к тому же площадку ему отвели на окраине города в Доме культуры какого-то комбината, зрителю туда от центра тащиться в трамвае не меньше часа. А у зрителя такая уж психология: тот же час, в том же трамвае на спектакль он будет охотнее ехать в центр. Возможно, потому, что посещение театра он все еще считает праздником, а праздники в центре испокон веков были веселее.

Ставил Верхнеозерский театр все подряд: и трагедии, и драму, и водевиль, и оперетту. К тому же, чтобы выполнить финансовый план, ему надо было давать не менее восьми премьер в сезон. Заворонский по своему горькому опыту знал, что это значит, и сочувствовал театру вполне искренне.

Наверное, именно поэтому однажды, в свободный от представления вечер, Степан Александрович уговорил своих актеров, хотя бы из любопытства, пойти на спектакль, поставленный Верхнеозерским театром по пьесе Островского «Без вины виноватые». Эту пьесу почти все столичные актеры знали наизусть, видели в десятках постановок и пошли, конечно, не из любопытства, а тоже из солидарности. Разумеется, ничего нового они для себя не открыли, все было пресно, порой даже не совсем профессионально, на грани самодеятельности.

А Степану Александровичу запомнился в роли Незнамова совсем еще юный актер Виктор Владимирцев. Нет, он не поразил Заворонского ярким, ослепительным талантом, в его исполнении Незнамов был, пожалуй, слишком робок, стеснителен.

Что же, встречались и всякие другие, как правило, не такие уж и элементарные трактовки этого образа не от протеста, а от застенчивости, нежелания очередного унижения. И тут больше выигрывал Шмага, а не Незнамов. И все становилось с ног на голову. Потому что Шмага уже не «оттенял», он преобладал.

Но это было лишь плохое прочтение пьесы режиссером, отчего и акценты оказались сдвинутыми. При всем при этом, вопреки «сдвигу» и замыслу режиссера, а будто смягчая эту ошибку, Владимирцев каким-то непостижимым чудом вжился и в такую трактовку. Но у него все получалось естественнее, чем у других исполнителей, при этом его простота и естественность достигали предела, ибо дальше началось бы уничтожение артистичности. Но Владимирцев не только удерживался на этом пределе, а еще и в самой трактовке образа шел не от внешних коллизий, а как бы изнутри, и не только от ощущения, а и от мысли.

Именно вот это актерское воплощение мысли, ее движения было, пожалуй, самым привлекательным во Владимирцеве, в какой-то степени определило его творческий диапазон. Очевидно, потому еще, что было оно почти импровизационным, естественным, а не наигранным, не за репетированным.

Между прочим, чисто актерских навыков у Владимирцева было немного, да и, как потом выяснилось, много еще и не могло быть: он всего два года назад пришел из театральной студии.

А может, это в данном случае было и хорошо? У него не было устоявшихся штампов, но были вполне соответствующие образу интонации, модуляции голоса, жеста, мимики, выражение глаз, ощущение момента — все как бы совпадало, из этого складывалось впечатление цельности характера и привычек.

«Пожалуй, из него выйдет хороший актер,— подумал тогда Степан Александрович,— если к его интуиции добавится еще и навык».

Впрочем, вскоре Владимирцев как-то затерялся в памяти за гастрольными хлопотами, переездами, «выбиванием» номеров в гостиницах, добыванием мест для пере-

возки реквизита и прочей суетой. Всем этим должна по идее заниматься администрация, но если плотнику на сцене не хватает гвоздей, то его лингвистика обрушивается обычно на главрежа, хотя бы потому, что он всегда поблизости.

И вот теперь, когда Степан Александрович решил ставить в театре новую пьесу, он вдруг вспомнил о Владимирце.

Пьесу эту труппа приняла холодно. «Проблемно — да, современно — архи, но очень уж разговорно, нет драматургии, тут просто нечего играть» — таково было почти единодушное мнение.

Особенно возражал молодой режиссер из очередных Семен Подбельский, которому Степан Александрович намеревался поручить постановку этой пьесы.

— Она же вневременная, — категорически утверждал он и напоминал почти поучительно: — Здесь нарушены все компоненты, ну хотя бы единство времени и действия.

— Канонические, — спокойно сообщил Степан Александрович.

— Каноны — не всегда плохо, — почти так же спокойно возразил Подбельский. — Спектакль-то живет во времени и пространстве. Три часа и триста квадратных метров сцены. Все! А тут — философия вне времени и пространства сцены. Это даже не камерно, тут зрителю надо переварить. Мозгами. А у него на это абсолютно нет времени.

— Ну, три-то часа все-таки есть, — Заворонский постучал ногтем по стеклу наручных часов.

— Это мало! Спектакль не книга. В книге непонятное место можно и перечитать. А тут перечитывать некогда, пока перечитываешь одно, упустишь и другое и третье и тогда вообще потеряешь нить. Нет, недочитанное в спектакле должно доходить до зрителя потом, уже после спектакля, скажем, дома.

— Значит, дома-то он все-таки додумывает?

— А как же! Спектакль только стимулирует, подталкивает к додумыванию, к размышлениям о данном факте или явлении, дает как бы импульс для выводов и размышлений.

В общем-то Подбельский был прав. Но — лишь в общем.

— Ну а если он будет размышлять вместе с актером? Не облегчится ли его домашнее задание? Он же будет сопоставлять ход рассуждений героя с логикой собственных соображений.

— Но это же будет скукотища! Нет, без драматургической пружины невозможно двигать сюжет...

Вот к этому-то заключению и подводил Подбельского Степан Александрович.

— А если драматургия мысли? — спросил он как бы между прочим.

— Простите, учитель, но это несбыточно. Театр есть театр, ему нужно зрелище.

При этом «учитель» было в таких модуляциях голоса молодого режиссера, что сомнений насчет их иронического смысла не оставалось. Однако Заворонский сделал вид, что модулирующий этих не заметил, и еще более спокойно возразил:

— Но есть вот фильм «Двенадцать разгневанных мужчин». Весь фильм — в одном интерьере. А успех этого фильма? Как его объяснить?

— Но там же детектив! А для данного спектакля разговорность равна самоубийству! — Подбельский для убедительности даже чиркнул ребром ладони по шее.

А пьеса и была слишком «разговорной», автор ее — прозаик, никогда раньше пьес не писал, собственно, Степан Александрович и уговорил его попробовать себя в драматургии.

Побудительной причиной к тому у Степана Александровича была лишь интуиция. Основывалась она только на предчувствии и ни на чем более.

Совершенно случайно он купил в книжном киоске повесть этого автора. Степан Александрович был окончательно изнурен последней репетицией, и даже в метро (шофера он отпустил на очередные именины, которых набиралось до десятка в году) ему не хотелось читать. Он купил этот журнал в придачу к «Вечерке», в которой читал лишь «Справочное бюро «ВМ»». Он искал в этой колонке подсказку, куда обратиться в случае, если он надумает продать дачу в Звенигороде (он там был лишь два раза за все лето).

Но необходимой информации не было, он в подъезде бросил «Вечерку» в урну, а придя домой, в ожидании ужина, нехотя принялся за повесть с географическим названием: «Земля — очень маленькая». Забыв, что читает не журнал «Наука и жизнь», он готов был погрузиться

в недра Земли, как вдруг почувствовал, что его низвергают в преисподнюю страстей, а страсти были его профессией, и только поэтому он в ту же ночь дочитал книгу до конца. А дочитав, задумался, еще не вполне осознавая, что принудило его, несмотря на усталость, провести бессонную ночь.

И лишь поразмыслив, понял, что именно.

Сюжет повести вроде бы и незамысловат: после десятилетки расхлябанный парнишка приходит служить на флот, и там его отцы-командиры и политработники постепенно перевоспитывают.

В ту пору в литературе и искусстве очень популярной и престижной была тема преемственности поколений, и сюжет этой повести был в русле, но развивался глубже, чем во многих других произведениях, откровенно спекулирующих именно на теме. Тут она решалась озабоченней, приоткрывала глубину проблемы, более того — придавала ей глобальный масштаб. Она была соизмерима с сегодняшними наиболее жгучими заботами всего человечества.

А соизмеримость эта обозначалась в монологе замполита. Обращаясь к молодым матросам, он говорил:

«Еще недавно вы изучали в школе географию; и Земля вам казалась очень большой, на ней столько морей, озер и рек, что даже самые прилежные из вас вряд ли запомнили все их названия. Потом вы стали изучать астрономию и убедились, что в системе мироздания Земля наша — очень маленькая. Придя служить, вы убедились, что ее легко уничтожить. Ну, пусть не всю планету, но все живое на ней. Пусть даже и не все живое, но почти все. И тогда оставшиеся в живых будут завидовать мертвым... Не мы довели до этого. Мы лишь не уступали и не будем уступать. Ибо Земля-то действительно маленькая, и ее можно уничтожить. Но можно еще и уберечь. Вот для этого-то и призвал вас народ: беречь нашу Землю — такую большую и такую маленькую. Единственную для нас...»

Пожалуй, монолог этот, вырванный из контекста, был скучноват даже для прозы, не говоря уже о драматургии. Он в самом начале вроде бы лишь провозглашал идею, заранее предопределяя сюжетные ходы. Но вся структура произведения, вся логика развития образов, подчиненная этой идее, были так художественно убедительны, что некоторая декларативность вдруг становилась не только оправданной, а и необходимой.

Захлопнув книгу и посмотрев на часы, Степан Александрович понял, что спать уже нет смысла. Он тщательно, до синевы, побрился. Почему-то сам процесс бритья его успокаивал, пожалуй, это был условный рефлекс, выработанный годами. Успокоившись, он придирчиво рассмотрел в зеркале свое лицо. В общем-то ничего утешительного для себя из зеркала не извлек: кожа лица потеряла упругость, стала дряблой, под глазами — мешки («Оттого что не спал всю ночь, или почки? Надо бы проверить их, да все некогда»), в общем-то ежеутреннее его лицо, но что-то в нем изменилось. Что?

Как актер, он давно привык к зеркалу, тратил на него гораздо больше времени, чем люди другой профессии, может быть, даже больше, чем женщины. Но в это утро в его лице что-то изменилось, пока неуловимо, но изменилось, он не сразу понял, что именно, пока не посмотрел себе в глаза и не обнаружил какого-то очень знакомого, но давно уже не наблюдаемого им блеска. И понял: что-то его вдохновило. Что?

«Пожалуй, эта повесть. Мы в последнее время ищем драматизм в обыденности, а тут есть какое-то возвышение над ней, прямо-таки трагедийность. Между прочим, жанр трагедии в современной теме если уж не совсем сошел со сцены, то низвелся до чисто бытовых драм. Правда, официально это провозглашалось как трагедия духа, но дальше самокопания в душе в общем-то не шло. Умные люди это раскусили сразу и снова обратились к Достоевскому, но это уже другая эпоха. А что, если этот автор, как его — Половников? — сможет сделать и для театра? Иметь такую по-настоящему проблемную пьесу в репертуаре было бы для театра находкой...»

Театр не может держаться только на классике, ему как воздух нужны современные пьесы. И годы наибольшего успеха, процветания театра падали как раз на то время, когда у него был круг постоянных авторов, работавших именно на этот театр. Но к приходу Степана Александровича главным режиссером театра круг этот распался: одних авторов не стало, другие ушли от современной темы в менее хлопотное прошлое, третьи переметнулись в более выгодный кинематограф.

А выбрать пьесу из тех, что шли по распространению, было весьма непросто. Одна не подходила потому, что не принадлежала к числу не только выдающихся, а хотя бы заметных литературных произведений; другая хотя и с натяжкой принадлежала к этому числу, но требовала

такого состава исполнителей, что не было никакой возможности подготовить ее к следующему сезону, поскольку исполнители были заняты в других постановках; третья и написана вроде бы вполне профессионально, но пустяковая, по теме настолько мелкая, что трудно даже понять, зачем она написана.

Повесть же Половникова привлекала именно значительностью и актуальностью проблематики. И Степан Александрович решил встретиться с автором и попробовать обратить его в свою веру — драматургическую, — хотя и знал, что это не всегда возможно, ибо прозаик и драматург в одном писателе сочетаются крайне редко.

Но встречаться с писателем, зная лишь одно его произведение, все равно что выходить на поединок с целым эскадроном. Запросив все книги писателя, Степан Александрович вскоре увидел на своем письменном столе довольно высокую пирамиду и начал подкапывать ее снизу — с самой толстой книжки, надеясь не добраться до замыкающих пирамиду малоформатных изданий. Но добрался и до них и вдруг увидел, что писатель в чем-то созвучен не только театру, а и удивительно соответствует темпераменту самого Степана Александровича Заворонского.

Прочитав почти все книги Половникова, Степан Александрович убедился, что это писатель одной темы. И в проведении, что ли, своей темы он был удивительно последователен и... художествен. Его меньше всего интересовали обстоятельства, он был гораздо более озабочен конфликтами нравственными, нежели внешними. Это могло быть и позой. Господи, сколько всяческого позерства испытал в своей сценической жизни Заворонский!

Но он никогда не клевал на дешевую приманку популярности, не теребил лохмотья привходящей моды. И тут, может быть впервые, почувствовал, как автор, размышляя постепенно моду, выкристаллизировывает в ней образ социально значимый; сущность его, проступая вначале незаметно, вдруг начинает проявляться все отчетливей через его же собственные переживания и размышления. И тут движение сюжета вдруг замедляется, а то и вовсе прерывается и начинается то движение мысли, которое так привлекло Заворонского. Он почувствовал даже не в самом переходе от действия к мысли, а в движении последней настоящую драматичность.

«Так что же — инсценировка? А почему бы и нет?» — подумал он.

К инсценировкам он относился хотя и без предубеждений, но настороженно. Признавая, что драма иногда попросту отстает от прозы и невольно обращается к ней, понимал, что даже при общности их целей слишком уж разные у них способы, а точнее — формы отображения действительности. Тем не менее в последние годы театры все чаще и чаще обращались к инсценировкам.

В общем-то это было не ново, так бывало и прежде, в одни годы чаще, в другие реже. Когда драматургия отставала от прозы, на помощь театру спешили инсценировщики. Так было даже при Льве Толстом. Едва вышло его «Воскресение», как вскоре чуть ли не по всем театрам России прошла пьеса «Катюша Маслова». И ведь вот что удивительно: почти везде давала сборы, хотя приличные актеры отказывались в ней играть!

А еще раньше в Александринском театре ставили инсценировку «Идиота» Достоевского. И хотя в спектакле одновременно были заняты такие замечательные актрисы, как Вера Федоровна Комиссаржевская и Мария Гавриловна Савина, но даже они не смогли поднять на высоту искусства эту ремесленническую поделку инсценировщика.

Однако уже на его памяти не просто прошли, а еще и держались в репертуаре такие инсценировки, как «Дни Турбиных» и «Бронепоезд 14-69», «Растратчики» и «Три толстяка», «Мертвые души» и «Анна Каренина», «Мадам Бовари» и «Тихий Дон». И наконец — на шумевшая недавно в постановке Товстоногова «История лошади».

«Но то — классика! А я выкопал какого-то Половникова. Кто его знает? Впрочем... Мало кто в свое время знал того же Всеволода Иванова или Михаила Булгакова».

Первая встреча с Половниковым оставила у Степана Александровича двойственное впечатление. То, что Половников как прозаик — человек весьма последовательный в утверждении своих принципов, Заворонский уже убедился и ожидал нелегкого разговора с автором. Степан Александрович отнюдь не собирался посягать на эти принципы и в чем-то переубеждать Половникова. Ему важнее было склонить прозаика заняться новым для него жанром, и он имел все основания предполагать, что встретит сопротивление, быть может основанное даже не на верности своему жанру, а просто по инерции, как, ска-

жем, актер, много лет играющий только героев-любовников, сопротивляется назначению на роль социального героя, не подозревая, что именно в этом амплуа наиболее полно может раскрыться его талант.

Поэтому совсем уж неожиданным оказалось для Заворонского согласие Половникова взяться за пьесу. Позже Степан Александрович не раз думал, почему Половников так легко согласился. И каждый раз приходил к одному и тому же выводу: Половников согласился, чтобы попробовать себя, даже просто из любопытства проверить, сможет он или не сможет.

Но неожиданное согласие Половникова не остановило Степана Александровича от настроя на долгие уговоры, и он, вместо того чтобы убеждать писателя в серьезности предстоящего опыта, по инерции толкал его на инсценировку, предлагая просто перевести пьесу на язык драматургии. Вероятно, Половников поверил в возможность такого перевода, но все-таки почувствовал разницу между прозой и ее драматургической интерпретацией, пытаясь их как-то соединить, сблизить, и пьеса получилась какая-то лохматая. Автор, наверное, интуитивно побоялся удержать интерес на драматургии мысли, а ввел побочные, совершенно необязательные коллизии и сюжеты драматургии совершенно иной, к тому же давно изношенные.

В принципе все это можно было бы поправить, взяв автора за поводок и поведя его именно туда, куда нужно. Но на этом вождении прозаика не сделаешь драматургом. Степан Александрович был убежден, что драматург — это не просто писатель, а еще что-то. Что именно, он и сам представлял не совсем отчетливо, но догадывался.

А тут еще и расхождение Степана Александровича с мнением почти всей труппы. Такое случалось и раньше, но на этот раз столь разительное расхождение было принципиальным, а не по мелочам.

Теперь-то Степан Александрович понимал, что совершил ошибку: показал актерам пьесу Половникова до того, как сам перевел литературный материал ее на язык сценического действия. Сначала ему надо было бы написать режиссерский план, чтобы продумать и наметить принципы организации спектакля, его скелета и конкретного поведения героев в предлагаемых обстоятельствах. Так он поступал всегда, но тут поторопился. Очевидно, потому, что слишком уж увлекся идеей постановки имен-

но такой пьесы, а еще и потому, что надеялся открыть ей новый сезон.

«Хорошо еще, что Половников после первого провала не очень огорчился и не плюнул на все, а ведь мог бы! Но то ли самолюбие заело, то ли любопытство, однако взялся дорабатывать». И даже терпеливо выслушал рассказ Заворонского о том, как рождается замысел:

— Вы картину Сурикова «Боярыня Морозова» помните? Так вот замысел ее родился у художника в тот момент, когда он увидел на белом снегу черную ворону. А потом он долго искал лица, типы, натуру, писал эскизы. И однажды даже украл дугу и под крики и улюлюканье извозчиков бежал по Сенной площади, прижимая к себе как величайшую драгоценность обыкновенную дугу, чтобы списать с нее недостающую в картине деталь...

Похоже, Половникову эта история была известна, но слушал он терпеливо и даже кивал согласно.

Сначала Степан Александрович решил ставить спектакль сам, не доверяя его Семену Подбельскому. Как показалось ему, Подбельский не унюхал существа замысла. И если бы Заворонский был просто очередным режиссером, он скорее всего поставил бы спектакль в каком-нибудь другом столичном театре, не сомневаясь, что, кроме одного-двух, в остальных его приняли бы с радостью. И никто за это не осудил бы его, тем более что в практику уже довольно широко внедрилась мода приглашать со стороны не только режиссеров на одну постановку, а даже актеров на роль. Быть может, в этом тоже был свой смысл, по крайней мере, оставалась неуязвимой чисто этическая сторона профессии.

А он был главным режиссером одного из ведущих театров страны, работа на стороне неизбежно вызвала бы нежелательную реакцию, особенно в случае успеха. Вот если бы он провалился, тогда другое дело: позлорадствовав, труппа снова приняла бы его, уже сочувствуя, может быть, даже жалея.

Но проваливаться он не хотел и постарался отбросить мысль о постановке этой пьесы. Но отбросил не насовсем, а лишь отложил до лучших времен, надеясь, что когда-нибудь его поймут: ведь и в его труппе есть актеры, которые давно тоскуют по пьесе серьезной, люди, по-настоящему мыслящие, ищущие, с неиспользованным творческим потенциалом, не боящиеся риска. Он верил в них.

И не ошибся.

К его немалому удивлению, первым снова заговорил о пьесе Федор Севастьянович Глушков — гордость и слава театра, народный артист, лауреат, великолепнейший актер, но уже совсем одряхлевший, выходивший лишь в эпизодических ролях царей, фараонов, министров и прочих высокопоставленных лиц, которым на сцене можно было только сидеть. Он давно просился на пенсию, уже добился места в Доме ветеранов сцены, но Степан Александрович не хотел его отпускать. Федор Севастьянович нужен был не столько на сцене, сколько за ней, нужен был для поддержания традиций и нравственной атмосферы в театре, нужен был не как экспонат, а как живое воплощение исключительной добросовестности, трудолюбия и преданности делу, как плотина, ограждающая от всяческого небрежения, легковесности и халтуры.

Как обычно, после спектакля Степан Александрович подвез Глушкова до дому. Федор Севастьянович жил недалеко от театра, но у него была одышка и отекали ноги.

Хотя дорога была короткой, обычно они все же успевали переброситься несколькими фразами. Сегодня Федор Севастьянович молчал, видимо, очень устал. А Степан Александрович просто был не в настроении.

Испортил он его сам.

Перед началом спектакля, проходя за кулисами через женский коридор, он услышал, как молодая гримерша говорила «принцессе» — тоже молодой актрисе:

— Аллочка, вы так стремительно выбегаете на сцену, что я каждый раз опасюсь, как бы вы не уронили Федора Севастьяновича. Вы уж, пожалуйста, осторожнее...

Степану Александровичу показалось, что произнесено это было с какой-то нехорошей иронией, он стремительно ворвался в артистическую и напустился на гримершу:

— Это еще что за разговоры? Да как вы смее?... — дискантом выкрикнул он.

Перепуганная «принцесса» уронила со столика какой-то флакон, а гримерша смотрела на него в упор. Смотрела осуждающе, укоризненно, и это был совсем даже не подавленный немой укор, а крик: «Да вы-то как могли подумать такое!»

Степан Александрович осекся, промычал что-то невнятное и начал было оправдываться, но, поняв, что этим только усугубляет свою вину, умолк. А гримерша спокойно взяла пуховку и так же спокойно сказала:

— Извините, Степан Александрович, нам надо работать, был уже второй звонок...

Это могло лишь означать: «Уйдите, не мешайте» — и он понуро вышел в коридор.

В антракте он еще раз столкнулся с гримершей, хотел проскочить мимо, но она сама остановила его:

— Степан Александрович, давайте забудем этот эпизод.

— Да, да, конечно, — поспешно согласился он.

— И не переживайте так. Это же хорошо, что вы ошиблись! Если бы вы знали, как у нас все относятся к Федору Севастьяновичу! Ну, благоговейно, что ли... Я ведь лучше вас знаю.

Кажется, и впрямь она знала это лучше, и Степан Александрович от души поблагодарил ее:

— Спасибо, милая.

Казалось бы, инцидент исчерпан и надо только радоваться, что он ошибся. Но что-то мешало радоваться, и Заворонский пока не знал, что именно. Может быть, ощущение вины перед этой девушкой, да и перед Федором Севастьяновичем...

Возле дома Глушков тяжело вылез из машины, но дверцу почему-то не прикрывал.

— Может, вас еще куда-нибудь подвезти? — спросил Заворонский.

— Нет, спасибо. Я сегодня устал... Послушай, Степа, а может быть, рискнуть?

— О чем вы? — не понял Степан Александрович.

— Да о той пьесе. Знаешь, в ней что-то есть. Ты от нее совсем отказался?

— Не я ее забодал, — нейтрально произнес Степан Александрович.

— Знаю. А может, подумаем? Сам понимаешь, мне в ней делать нечего, я уже стар. А жаль! Я бы рискнул. Или ты уже вернул ее автору?

— Пока нет, — признался Заворонский.

— Это хорошо. А где она у тебя?

— В театре.

Федор Севастьянович снова втиснулся в машину:

— Поехали! Попробуем перекрасить собаку в енота,

как говаривалось у нас раньше, когда режиссеры еще умели работать с авторами.

Они вернулись в театр и до утра просидели над пьесой. Обстригли все лохмотья, что-то поставили на свои места.

— Вот видишь,— почти по-мальчишески радовался Федор Севастьянович,— выстраивается! А последнюю картину надо убрать совсем. И так все ясно. Тогда к предпоследней придется дописывать финал. Ну, что я говорил?

— Да ничего вы не говорили!

— Значит, думал. Только вот что-то уж больно скоро мы с ней расправились. За одну ночь.

— Плюс четыре месяца.

— Ага, и ты над ней думал? Я так и знал. Эх, Степа, мне бы годочков этак сорок скинуть, я бы такое завернул! А вообще-то, пусть теперь автор поработает. Мы ему контуры дали, остальное он сам сделает лучше нас.

У автора и верно получилось лучше, он буквально на лсту все схватывал и, постигая язык сцены, не цеплялся за известные театру, но неизвестные ему каноны и так настырно лез вперед, что приходилось его придерживать. Читка нового варианта ошеломила всех, и теперь уже не было отбоя от бесконечных вопросов: когда начнутся репетиции, кто будет утвержден на роли, предлагали даже провести внутренний конкурс.

Но Степан Александрович не спешил, хотя выискивал окна для репетиций и мысленно распределил все роли, кроме одной — главного героя. Не найдя в своей труппе, он ходил по театральным училищам и студиям, но никого в этой роли не видел.

Вот тогда-то и вспомнил о молодом актере из Верхнеозерского театра. Фамилию его Степан Александрович уже забыл, пришлось звонить в Министерство культуры. Там удивились: с чего это он вдруг заинтересовался каким-то провинциальным актером, когда в Москве всякими хоть пруд пруди? К тому же если и проявляли режиссеры изредка такой интерес, то обычно вызывали актера в Москву. Пришлось сказать, что речь идет о постановке новой пьесы, и ему предложили командировку. В репертуарном отделе министерства долго допытывались, какую именно пьесу, но Заворонский не сказал якобы из суеверия. Попросив хотя бы месяц держать цель его поездки в тайне, Степан Александрович выехал в Верхнеозерск.

Ехать решил поездом. Он уже несколько лет не ездил по железной дороге, потому что, во-первых, это отнимало много времени, а во-вторых, он терпеть не мог дорожных разговоров. Сами по себе они могли быть и любопытными и полезными при его профессии, если бы не замыкались неизбежно именно на его профессии. Он никогда не объявлял о ней, но люди какими-то неведомыми, совершенно непостижимыми путями дознавались.

— А Канерин-то с кем нынче живет? — спрашивали посреди вполне нейтрального разговора.

Кто такой Канерин, он не знал. Может быть, это актер местного театра? А может, Каренин? И Степан Александрович отвечал с уверенным озорством:

— Нынче — с Анной.

— Ага! — удовлетворенно всхмыкивал попутчик и надолго умолкал, сиюсья припомнить, с какой именно Анной, но не решаясь спросить, дабы не обнаружить свою полнейшую неосведомленность в деле, которое его почему-то чрезвычайно интересовало.

Это было и смешно, и грустно, и еще более — противно.

«И почему столь многих людей интересуется не сам труд актера, а его личная жизнь и всевозможные закулисные сплетни? Почему их не интересуется эта сторона жизни, скажем, известного математика или шахматиста? Почему всемирно известного физика не спрашивают, с кем он живет, с кем он сошелся или разошелся?» — нередко задавался вопросом Степан Александрович.

Чтобы избежать подобных почти неизбежных дорожных разговоров, Степан Александрович в этот раз не надел даже свою лауреатскую медаль, хотя жена настаивала:

— Конечно, тебя и так знают, но медаль еще и напомним, кто есть кто.

— А, пустяки! — отмахивался Заворонский.

— Нет, не пустяки! — решительно возразила жена. И, помолчав, вдруг грустно добавила: — А может, для многих из них это и есть мера общественного признания. Официальная, что ли...

Возможно, нечаянно, а может, и преднамеренно она наступила на его давнюю «мозоль».

Дело в том, что Степан Александрович, не будучи честолюбивым, все-таки и не был равнодушен не то что-

бы к славе, а, скажем так, к известности. И тут надо правильно понять не только его. Ибо согласитесь: посетителю любого учреждения, местного, государственного или даже Академии наук, не бросается в глаза огромная афиша у подъезда, ему не суют в руки программку, в которой объясняли бы, куда и к кому он идет: к членкору или действительному члену. А на встречу со спектаклем, актером или даже машинистом сцены он идет осведомленным афишами на всех углах и даже в подземных переходах о том, что есть что и кто есть кто. Кто «народный», кто «заслуженный», кто «лауреат», а кто и просто так.

Вот в этом-то признании и все дело. Это как одежда, по которой встречают. Потом не одетого в чины и звания актера могут провожать и бурными, долго не смолкающими аплодисментами, но встречают-то все-таки по одежке, пожалуй, даже с некоторой настороженностью и недоверием. Бывает, правда, что идут на не обремененного чинами и званиями, но это случается не так уж часто, и то лишь вследствие таланта или распространенных слухов.

Так вот Степан Александрович, великолепно зная психологию зрителя и прессы в таких случаях, относился к ней в общем-то весьма иронически, не обижался до тех пор, пока ему не дали... премию.

Вот эту его обиду без пояснения, пожалуй, и не понять.

Премия ведь не просто венчает, за ней стоит только официальное признание, она по идее должна лишь венчать признание общественное. И комитеты по премиям считаются с общественным мнением, изучая не только опубликованные в прессе, но и все письма, отзывы, выступления читателей и зрителей на конференциях. В принципе почти во всех случаях решения комитетов по премиям принимаются объективные.

И решение о присуждении премии Степану Александровичу Заворонскому ни у кого не вызывало сомнений, ибо оно было справедливым, премию он безусловно заслужил.

Протестовал против этого решения лишь... сам Заворонский. Нет, он не кокетничал, не утверждал, как иные лауреаты, что это лишь «аванс, обязывающий в дальнейшем оправдать доверие». Он знал, что действительно заслужил эту премию. Но заслужил давно и вовсе не как режиссер, а как актер, что решение о присуждении ему

премии не просто запоздалое, а и не очень справедливое: премию ему дали даже не за постановку спектакля, постановщиком которого он и не был, а за «общее» руководство театром, где был поставлен этот спектакль, действительно неординарный и справедливо заслуживший эту премию. Но ему-то дали по должности!

Вот это его и обидело: в свое время по заслугам ему не дали, а вот по должности его присовокупили к людям, вполне заслужившим это сегодняшними своими достижениями.

И он испытывал неловкость, даже стыд перед этими людьми и никогда не носил своей лауреатской медали, хотя и знал, что заслужил ее раньше, еще до этого спектакля.

И на сей раз жена не уговорила повесить эту медаль.

Кроме всех, как говорится, «изложенных выше» соображений тут было еще одно: не дай бог, чтобы в вагоне в нем опознали знаменитость.

Оказавшись в купе один, он переоделся и сел к окну.

Конечно, можно было бы вызвать актера в Москву, но что это дало бы? Ну, угадать талант и в этюдах можно. Но как оценить его истинную силу? «Нет, его надо посмотреть в среде, в работе,— решил Заворожский.— А заодно и в себе покопаться».

Собственно, он и поехал поездом лишь для того, чтобы отвлечься от повседневной суеты и в одиночестве неспешно обдумать многое из того, что копилось давно, но просто не хватало времени, чтобы осмыслить все случившееся за последние месяцы, а может быть, и годы. И еще ему очень хотелось поглядеть на не декоративную, а настоящую Россию, с ее натуральными березами, с шумными привокзальными базарами, где продают молодую картошку, заворачивая ее в листья лопухов, малосольные огурцы и коричневую, с пенкой, ряженку — «варенец», настолько густой, что хоть ножом его режь. Еще он вспомнил, как покупал в Сызрани стерлядь, лежавшую тоже на огромном лопухе, еще дымившуюся, посыпанную укропом и петрушкой, в горошинах черного перца.

Но теперь в Сызрани по обе стороны пассажирского состава стояли только желтые цистерны в коричневых подтеках нефти, с размытой надписью «Не курить». Поднырнув под одну из них, Степан Александрович выбрался на перрон, там две лоточницы торговали «Беломором» и целлофановыми пакетами с вареными яйцами и побе-

девшинами от времени шоколадными конфетами без оберток. В вокзальном буфете шло сражение за жигулевское пиво и плавленые сырки «Волна». Когда он спросил о базаре, буфетчица воззрилась на него как на пришельца с другой планеты.

— Это ж когда было! Да и чем нам нынче торговать? Вот этим, что ли? — она выхватила из-за спины ржавую кильку. За нее тут же кто-то ухватился, но буфетчица выдернула кильку и бросила под прилавок: — Это не для продажи, для себя принесла. С вами тут и пообедать некогда.

Степан Александрович понуро побрел к своему вагону. Состав с нефтью, отделявший пассажирский поезд от перрона, ушел, и теперь публика штурмовала подножки. Только возле вагона, в котором ехал Заворонский, одиноко переминался с деревянной ноги на уцелевшую сухонький старичок с холщовым мешком на лямке.

— Да некуда ж, дедусь. Вагон-то наш специальный, международный, в нем сплошь иностранцы да большое начальство, — оправдывалась девушка в черном берете со сдвинутым пабок латунным изображением не то хищной птицы, не то рессор. — Ты бы в общий или в плацкарт сунулся. Туда легче попасть. И дешевле.

— Дак совался. А ответ везде един: некуды, — ненастойчиво пояснил старик.

— Не обижайся, дедуля, у нас строгости, — продолжала оправдываться проводница.

— Кака уж обида, — утешил ее инвалид. — Мы, нешто, без понятия? — Он поскреб пятерней затылок и обреченно сказал: — Всякому овошшу, стальть, своя грядка. Ну да ты, девша, тут ни при чем. — И захромал прочь.

— Постойте, — окликнул его Степан Александрович. Вынув второй билет, он предъявил его проводнице.

Она разглядела на свет компостер и удивленно спросила:

— А зачем вам было на два-то тратить?

— Потому что я люблю ездить один. А вот дедусю возьму.

Проводница посмотрела на старика, но теперь уже как-то по-другому: без жалости и сочувствия, а как бы оценивая, достоин ли ехать в таком вагоне. Кажется, и старик что-то уловил в ее взгляде и полез за пазуху:

— Я при деньгах, я не за так.

— Не надо, — остановил его Степан Александрович и, подхватив под мышки, помог влезть на подножку.

— Ну если с билетом, то пожалуйста,— запоздало согласилась проводница.

— А когда освободитесь, принесите нам чаю, да покрепче,— сказал Степан Александрович, перехватив у старика мешок и накидывая его лямку на плечо. Движение это было привычным, старик сразу уловил это и согласно кивнул:

— Ну, ин ладно.

Как только поезд тронулся, проводница принесла два стакана чаю в штампованных мельхиоровых подстаканниках. Чай был действительно крепко заварен, но Олимпию Тихоновичу — так звали старика — не понравился:

— Один вид, а душистости нету. Нонче его машиной собирают, все под одно гребут, не разберешься, какого он и сорту-то.

— А раньше разбирались?

— А как же! Хоть и по листочку собирали, зато сортировали как надо.— Олимпий Тихонович отстегнул деревянную ногу и аккуратно уложил ее позади себя на диван.— Однако дареному коню в зубы не смотрят.

— Может, с коньячком? — предложил Заворонский и, достав из дорожной сумки бутылку, капнул по нескольку капель в стаканы.

Старик отхлебнул от своего и удивился:

— Гли-кость, и верно запашистее стал. Чудно! — И, разглядывая вприщур этикетку на бутылке, пояснил: — Я ведь однава пробовал коньяк-то, однако не поглянулось. Сладковат, да и не сразу берет.

— Может, рюмочку? — Степан Александрович достал дорожные складные рюмки.

— Для знакомству лучше первачка,— сказал старик и вынул из мешка пластмассовую канистрочку литра на два.— Это мне зять в дорогу спроворил. Я ведь внучат поглядеть ездил, может, больше и не увижу... Однако рюмки-то не по этому калибру, давай сперва стаканы опростаем.

Они выпили чай, и старик наполнил из канистры стаканы.

— Ну, сталыть, за знакомство! — Олимпий Тихонович как-то благоговейно поднес свой стакан ко рту и выцедил до дна. Вытерев губы тыльной стороной ладони, крикнул и похвалил: — Ишь дерет, язва!

Степан Александрович выпил только половину своей доли, но подтвердил:

— Дерет!

— Для себя гнали, не на продажу. Однако в наших местах ни нонче, ни в боле ранешны времена не было такого заведения, чтобы хлеб на это переводить. А вот бражку варят. Дарья моя, упокойница, большой спец по браге-то была. Кады на свадьбу али к празднику на всю деревню варила. Брага у нее была без хмелю, а пьяная. Хмель, он головну боль дает... А крепость — она в мастеровитости.

— Ногу-то где потеряли? — не к месту спросил Заворонский.

— На сплаве. Плот на перекате разбило, ну я и счнулся вязать. Осклизнулся — и вот тебе...

Дальше разговор пошел неторопливый.

— По этой причине я и на Отечественну не попал. Однако в пятнадцатом годе с германцем стыкнулся. Вот, — он распахнул пиджак, и Степан Александрович увидел на его рубашке рядом с орденом «Знак Почета» Георгиевский крест.

Должно быть, старик слишком резко распахнул пиджак, на пол посыпались пуговицы. Олимпий Тихонович растерянно сказал:

— Гли-кось, вместе с мясом выдрал. Неужто пиджак сносился? А я и не заметил. Вот так и жисть наша снашиватца, не успеваешь заметить...

— А сколько вам лет?

— Да уж девятый десяток разменял. А вот помирать все одно не тянет. Хотя и не так уж сладко моя жисть складывалась. Опоздыш я был, народился, когда тятеньке уж за полсотни перевалило. Вскорости он и помер — надорвался на лесоповале. А потом и мать. Остался я круглым сиротой семи годочков от роду, до самого призыву так по чужим людям и скитался. И по миру ходил, и в работники нанимался, и даже в скиту жил у старообрядцев. Но не поглянулось мне там, уж больно строга вера у них была. А в наших краях народишко-то и об ту пору не шибко богомольный был, так и говаривали: «Живем в лесу, молимса колесу...»

Но тут его рассказ был нарушен появлением ехавшей в соседнем купе девицы, взгляд которой насторожил Степана Александровича еще в Москве.

— Пардон, — сказала она и патетически воскликнула: — О, ветре-ветрило! — Припоминая, покусала свои коричневые от помады губы и чуть тише произнесла: — Чему, господине, насильственно вееши...

— Это уже лучше, — скучно сообщил Степан Алек-

сандрович инвалиду, явно озадаченному столь внезапным вторжением.

— Чему мечеши...

— Хиновские стрелы,— подсказал Заворонский и потребовал: — Дальше!

Но дальше девица не помнила и расплакалась. Размазывая потекшую с ресниц тушь, сообщила:

— А я вас по фотокарточке узнала!

— Вот и молодец,— Степан Александрович мягко проводил ее и захлопнул дверь. Опустившись на диван, сказал со вздохом: — Вот такая у нас работа.

Старик не понял и, достав из-за спины протез, начал прилаживать его, бормоча:

— Дак я пока в калидоре али в тамбуре потолкусь, не стану мешать...

— И ты, Брут! — воскликнул Заворонский, ткнув в грудь старика пальцем, по-актерски стандартно изобразив в очах гнев и презрение.— Неужто в ней узрел предначертанье? Да в ней лишь черт запрятан!.. Видите ли, я ведь артист. Вот и узнают...

Он разлил по стаканам коньяк. Старик выпил свою долю и заткнул бутылку пробкой:

— Остатки спрячь. Ты хотя и арчист и моложе меня, а супротив меня все одно не сдюжишь.

3

Он сошел на какой-то промежуточной станции или полустанке. Степан Александрович разглядел в падающем из окон вагона свете две рубленые избы, привяз с низенькой лошадежкой, кажется монгольской породы, да плетеный ходок, по ступицу увязший не то в грязи, не то в навозе. Деревянная нога старика тоже увязла по самый пах, обтянутый даже не кожей, а дерматином. Таким дерматином обтягивали в театре мебель, называя его муляжным.

«А может, вся моя театральная жизнь была чем-то вроде муляжа? — подумалось неожиданно.— Может, истинное-то прошло мимо, может, я его где-то упустил, как упустил что-то вот сейчас на этом полустанке...»

Собственно, Заворонским он был лишь по сцене, настоящая его фамилия была Степанов. Но фамилия слишком распространенная, а в пору его театральной молодости еще оставалась мода на псевдонимы, и как можно более звучные. К тому времени, когда Степан сообразил,

что ему тоже не повредит псевдоним, все звучное было уже расхватано: на сцене прочно утвердились Критские, Македонские, Милосердовы и Сердобольские, и на долю скромного паренька из тамбовской деревни, расположенной под городом Кирсановом за тихой речушкой Вороной, достался незатейливый Заворонский. Кирсановским или Кирсановым он назвать себя не рискнул, ибо и эта фамилия оказалась довольно популярной благодаря восходящей в ту пору звезде молодого поэта Семена Кирсанова.

А город Кирсанов славился каменными лабазами и торговыми рядами, едва уступавшими петербургским Гостиным дворам. Оборот кирсановских рядов, конечно, не мог сравниться со столичными, но благодаря черноземам и близости к торговым путям Тамбовщина довольно бойко торговала хлебом и тем довольствовалась.

Но после революции народ потянулся и к культуре. А тут еще вернувшиеся из Америки земляки организовали коммуну: с тракторами, с паровым отоплением и с клубом. Соседние деревни тоже не захотели уступить и, объединившись в колхозы, начали потихоньку учиться культурному хозяйствованию. Однако грамотешки в деревне явно не хватало, стали посылать в город на выучку кого посмекалистее. Судьбу каждого решали сходом.

Сходом решили и Степкину судьбу.

Рассуждали так: клуб рано или поздно строить придется, а кто лучше Степки умеет изобразить почти каждого из жителей деревни? Вот пусть этому и подучится еще маленько. Голосовали и те, кто пекся о будущем, и те, у кого Степкино лицедейство давно сидело в печенке. Пусть уж лучше просмеивает где-нибудь на стороне да не своих.

То, что земляки не сомневались в его способностях, наверное, и помогло Степану поверить в себя, преодолеть традиционную крестьянскую застенчивость и поступить в театральную студию. Это оказалось нелегко, ибо отбор был чрезвычайно строгим, тут на одном крестьянском происхождении не выедешь. Степану предложили наизусть прочитать какой-нибудь прозаический отрывок, потом басню, но ни того, ни другого он наизусть не знал, растерялся и уже готов был на все махнуть рукой, как вдруг один из экзаменаторов спросил:

— Ночуете где? На вокзале?

— А как вы догадались? — в свою очередь спросил Степан.

— Паровозным дымом от вас пахнет. И карболкой. Степан, склонив голову к плечу, понюхал свой пиджак и удивленно согласился:

— А и верно ведь!

— Вот вы и покажите нам дежурного по станции.

И Степан показал. Да так, что у экзаменаторов от смеха даже слезы выступили.

Ему дали койку в общежитии, но спал он на ней редко, чаще просиживал ночь под дежурной лампочкой в коридоре, преодолевая незнакомую терминологию и мучительный голод. Почему-то ночью есть хотелось больше, чем днем, а денег до очередной стипендии никогда не хватало. Один раз мать прислала тридцатку, но он тут же отправил ее обратно, ибо знал, как трудно было матери скопить, оторвать от себя и еще четверых детишек, последние копейки.

Зато какой трепет он испытывал от приобщения к тайнам актерского мастерства, какое потрясение ощущал, следя с галерки за игрой знаменитых артистов, с какой гордостью впервые вошел в театр через служебный вход, когда ему доверили бессловесную роль в массовке!

Ветер времени вынес его на поверхность пролетарской культуры, и Степан самозабвенно отдался попутной волне, его сносили и бури и течения, но он упрямо барахтался в пене высокопарных словокипений, пока начал хоть что-нибудь понимать. Лишенный своей крестьянской оболочки, среди дистиллированных интеллигентов он оказался голым, как дождевой червь. Но, почувствовав, что ему холодно, он снова надел свой нагольный полушубок и полез на Олимп.

К тому времени он стал уже не просто грамотным «выходцем» из крестьян, а и признанным актером, ему давали и главные роли. Но высоты его уже не устраивали, он хотел только вершин. Эти вершины тогда по праву занимали Москвин и Качалов, Южин и Ленский. Достичь их — цель предерзкая. Но Степан ставил и ее, отчетливо сознавая и свою дерзость, но понимая также, что человек вырастает по мере того, как растут его цели. А высшей целью Степан уже тогда считал признание народа.

Однако пути к вершине ухабисты. Стоило только приблизиться к ней, как его спихивали оттуда чьи-нибудь самоуверенные ноги. На вершинах сидели ведь не одни Москвины и Качаловы, а и люди, которые пред-

намеренно создавали вокруг себя творческий вакуум, старались окружить себя бездарями не только в отдельном спектакле, а и во всей труппе. Это было нетрудно, потому что они всегда участвовали и в формировании труппы, и в подборе состава исполнителей в том или ином спектакле. И все это позволяло им легко убедить зрителя в неизмеримом собственном превосходстве, а иногда и утвердиться в самоуважении.

Сначала он думал, что такие нравы насаждаются только в театре. Но, оглядевшись вокруг попристальнее, обнаружил, что сей способ самоутверждения весьма распространен и в других сферах жизни.

Но не это остановило Степана. Он понял, что до сих пор им двигало лишь честолюбие, соблазн славы, а не служение, он не был человеком завышенной самооценки и понял, что до вершины Олимпа вряд ли дойдет, для этого надо иметь или огромный талант, или невероятно пробивные способности, которые при желании можно и приобрести, но не той ценой, которой они приобретались в то время. К тому же после болезни у него сел голос, а без голоса на сцене делать нечего.

И он решил попробовать себя в режиссуре.

В ту пору индустриализации, как грибы после дождя, росли города, а следовательно, и театры. Заворонскому поручили сформировать труппу в новом шахтерском городке. На это ушло почти полгода, потому что не хватало ни актеров, ни художников сцены, ни осветителей, ни бутафоров, пришлось их набирать со всех концов страны. Еще полгода ушло на то, чтобы как-то сколотить их в единый коллектив и начать первые репетиции. Но уже через три года театр прочно встал на ноги, о нем стали писать даже в центральных газетах и журналах, а Заворонского перекинули в совсем захиревший к тому времени областной театр.

Тут пришлось еще труднее. В труппе царила склочная атмосфера, процветало премьерство, один загулявший актер мог запросто сорвать спектакль, зрителям приходилось возвращать деньги, и финансовый план трещал по всем швам. За два года в театре сменилось четыре главных режиссера, троих из них выжили, и только один, не выдержав, ушел по собственному желанию. При первой же попытке навести хотя бы элементарный порядок Степан Александрович встретил яростное сопротивление премьеров, во все инстанции посыпались жалобы и анонимные письма, валом повалили ко-

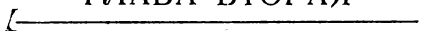
миссии, бесчисленные проверки окончательно парализовали разъединенный на группки коллектив.

Степан Александрович понимал, что чисто административными мерами порядка не наведешь, коллектив можно сколотить лишь на творческой основе, но прежде надо решительно избавиться от тех, кто этому мешает. Он уволил сразу трех ведущих актеров, за них вступились влиятельные меценаты, дело дошло до суда, и неизвестно, чем кончилось бы, если бы не вмешалось бюро обкома партии. Но даже при его поддержке потребовалось еще много месяцев, чтобы создать подлинно творческую атмосферу в театре.

С тех пор за Степаном Александровичем прочно утвердилась репутация решительного, волевого, даже несколько жесткого руководителя, и актеры с опаской шли в его труппу.

«Небось и Владимирцев наслышан о моей «жесткости» и еще откажется,—подумал сейчас Степан Александрович.— Впрочем, еще неизвестно, возьму ли я его, я же видел его всего в одной роли».

ГЛАВА ВТОРАЯ



1

От Иркутска до Верхнеозерска надо было добираться пароходом, навигация только началась, и Степану Александровичу едва удалось достать билет. Каюта оказалась на нижней палубе, с одним иллюминатором, сквозь закопченное блюдце которого едва процеживался дневной свет. Заворонский тотчас отдраил его, но снаружи в каюту ворвались густой дым и запах отработанных газов. Видимо, каюта находилась как раз над выхлопными патрубками двигателей. Задраив иллюминатор, Степан Александрович, немного поплутав по коридорам нижней палубы, поднялся на верхнюю.

Пароход уже отчалил от пристани, среднего роста матрос в залосненном бушлате неторопливо укладывал вдоль борта, видимо для просушки, пеньковый швартов толщиной в руку, и Степан Александрович подумал, что ночью за этот швартов обязательно кто-нибудь запнется. В носу на кнехте сидел другой матрос и ел из алюминиевой миски кашу со шкварками. Однако всю ее не доел и остатки вытряхнул за борт.

Все это неприятно поразило Степана Александровича. Его театр давно шефствовал над Балтийским флотом, каждое лето выезжал группами на боевые корабли, и актеров всегда привлекала необыкновенная чистота их. Они знали уже, что нельзя сидеть на кнехтах, облокачиваться на леера, бросать за борт даже окурки — для этого существуют «обрезы» — распиленные пополам железные бочки, — ну а уж пищевые отходы тем более — для этого тоже существует специальный «рукав».

И Степан Александрович сейчас не удержался, чтобы не сделать матросу замечание:

— Зачем же вы так... неаккуратно? Ведь борт вон как испачкали.

— Грязь — не сало, пошоркал — и отстало, — отмахнулся матрос. — Вон за тем поворотом волна как раз в эту скулу бить начнет, все смоем.

За изгибом реки и верно набежала волна, начала бить именно в этот борт, занося брызги на палубу. Но Степана Александровича это не очень утешило, он досадливо подумал: «Вон какую грязь развели. Может, и в каютах тараканов расплодили». Ему не захотелось идти в каюту, он укрылся за теплым кожаным трубом и долго стоял там.

Мимо проносились берега: то крутые, скалистые, с редкими высокими соснами, державшимися непонятно за что; то пологие, с широкими плесами, за которыми синела густая зубчатая стена тайги. В распадках сверкали маленькие быстрые реки, родники. Невольно вспомнилась тихая, полусонная Ворона с нависшими над ней раскидистыми ивами, вербами, кустами краснотала...

В своей родной деревне он не был лет восемь, потому что никого из родственников там уже не осталось. Его иногда тянуло поглядеть на места своего детства, но едва подходило время отпуска, как у жены непременно обнаруживалась очередная болезнь и ее надо было везти на курорт, а то вдруг оказывались путевки в Дом творчества, неведомо откуда взявшиеся. Жена была горожанка, она панически боялась деревни и даже на дачу выезжала по крайней необходимости, чтобы собрать урожай вишни и яблок. Странно, у него на даче за плодовыми деревьями никто не ухаживал, а все вызревало лучше, чем у соседей, с ранней весны и до поздней осени копавшихся в саду, без конца подкармливающих и опрыскивающих деревья. Может, они просто пе-

рекармливали или переопрыскивали, а может, все зависело от земли.

— Вот у нас в деревне — чистый чернозем. Какая вкусная картошка там! Рассыпчатая, как крупчатка. Ты знаешь, что такое крупчатка? — однажды спросил он жену, перебиравшую картошку в пакете, купленную в магазине.

— Поезжай на рынок, вся Москва завалена именно тамбовской и рязанской картошкой.

— Нет, на рынке не то, — вздохнул он.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Ничего, — уклонился он от прямого ответа, зная, что это может кончиться очередной истерикой.

А вот сейчас он твердо решил: «В этом году во что бы то ни стало поеду! Не захочет она — поеду один. Нет, возьму с собой Кольку».

Его внук так ни разу и не побывал на родине деда...

В Верхнеозерск они прибыли рано утром. С пристани, не давая им сойти, рвалась на палубу парохода большая толпа отъезжающих, из чего Степан Александрович заключил, что сейчас самое удобное время заполучить номер в местной гостинице, и поспешил от пристани вверх по скрипучей деревянной лестнице, надеясь попасть раньше других на автобус, о котором уже известили по трансляции. Возле стоянки автобуса оказалось и две машины такси, он поспешно плюхнулся в машину, стоявшую первой.

— Куда? — равнодушно спросил водитель, повернув рукоятку счетчика и даже не взглянув на пассажира.

— В гостиницу.

— В какую?

— Где есть места.

— Гостиниц у нас целых две, — сказал водитель, и в голосе его отчетливо проступила ирония. — И ни в одной свободных мест не предвидится.

— Но люди-то уезжают, — Степан Александрович кивком указал на рушившуюся вниз, к пристани, толпу.

— Дак тут и по неделе ждут.

А к автобусу уже рвались первые страждущие с распаренными от крутого подъема лицами. Если автобус опередит их, на место в гостинице и вовсе не придется рассчитывать.

— Тогда — вперед! Куда-нибудь.

— А может, кого по пути прихватим? — спросил водитель.

— Пожалуйста, но если недолго придется ждать.

Водитель вышел из машины, потолкался среди очереди на автобус, но желающих не нашел.

Заворонский сообразил, что надо действовать иначе, и предложил:

— Плачу за все четыре места.

По выражению лица водителя он догадался, что плата вполне его устраивает, но тот все же поторговался:

— Из четверых-то мне каждый набросил бы. Тут арифметика простая. Подождем еще, может, кто и подвернется.

— Ну и трешку сверх того.

Это водителя устраивало больше, и он рванул с места, пыхнув синим дымком выхлопа в лица не успевшим сесть в автобус пассажирам. Обогнув площадь, спросил:

— А все же куда?

— Туда, где можно получить место.

— Дак я же сказал. Однако для хорошего человека можно и поискать.

— Вот и поищи!

— Дак мне же пора и в парк, — ткнул в табличку на ветровом стекле водитель. И верно, в парк он должен был вернуться два с лишним часа назад. — Разве что исключительно в ваших интересах, — намекнул водитель.

— Давай в наших! — согласился Степан Александрович, тут же пожалев, что не предупредил о своем приезде телеграммой.

Оказалось, что в городке действительно две гостиницы: новая, пятиэтажная, кирпичная, даже с удобствами и с горячей водой по утрам и вечерам, то есть до и после рабочего времени. В рабочее время, когда горно-обогатительный комбинат съедал всю энергию, греть воду было нечем. Вторая гостиница не приносила ущерба ни обогатительному комбинату, ни городскому бюджету, ибо горячей водой не пользовалась вообще, а другие ее коммунальные удобства были вынесены прямо в тайгу, примерно остановки за две средневропейской протяженности.

Именно во второй и раздобыл водитель место.

Степан Александрович сунул под койку чемодан и пошел обозревать город.

Собственно, это был не один город, а два: старый — с деревянными тротуарами, с крепко рубленными одно- и двухэтажными домами за высоким штакетником палисадников, за которым, впрочем, не угадывалось ни одного деревца, зато вспухали грядки с зеленым луком, морковью и редиской; и новый — с асфальтированными дорогами и тротуарами, пятиэтажный, крупнопанельный, с узенькими балконами, унизанными ящиками с тем же луком и морковной ботвой.

Как раз вдоль границы между старым и новым городом протянулось длинное двухэтажное кирпичное здание под красным флагом. Подойдя к нему, Степан Александрович удостоверился, что левую его половину занимает горсовет, а правую — райком партии. Вход в оба учреждения был один. Напротив него на небольшой площади, поросшей крапивой и репейником, возвышалась еще довоенного образца чудом уцелевшая девушка с веслом.

По левую руку за низкой оградой в три жерди гомонил Колхозный рынок с полукружьем надписи, нависшей как кокошник над двустворчатыми дощатыми воротами. Зеленые створки ворот были сплошь залатаны белыми квадратами объявлений, зато стоявшую справа круглую афишную тумбу охватисто занимало по всей видимой дуге красное типографское «евизо». Наметанный глаз угадал театральную афишу, и Степан Александрович сообразил, что в местном театре сегодня ставят гоголевского «Ревизора».

Подойдя поближе, он удостоверился, что действие произойдет именно сегодня, а роль Хлестакова будет исполнять именно Владимирцев. Не интересуясь другими исполнителями, он скользнул взглядом по афише вниз и удивился, прочитав: «Главный режиссер театра заслуженный деятель искусств Бурятской АССР А. Б. Светозаров».

С другой стороны в тумбе было прорезано окошечко, за ним виднелось веселое, все в конопушках девичье лицо.

— Билеты есть? — спросил Степан Александрович.

— Сколько угодно. Вам какой ряд?

— Седьмой.

— Сколько?

— Один.

— Пожалуйста, место удобное, как раз в проходе, — девушка протянула билет.

— А вы не знаете, как зовут главного режиссера театра Светозарова?

— Аркадий Борисович.

«Значит, он самый». В пору студийной учебы его звали просто Аркашкой. Кажется, и псевдоним у него уже был. А вот настоящую его фамилию Степан Александрович не помнил. Ему больше всего удавались роли злодеев, но иногда он небезуспешно исполнял и первых любовников. Однако четыре года назад в этом театре, гастролировавшем в Иркутске, был другой главный режиссер, фамилию которого Степан Александрович тоже успел забыть.

Рядом с рынком стояла вполне современная «стекляшка» столовой, и Заворонский зашел в нее позавтракать. С трудом отыскав засаленный листочек меню, он обнаружил, что в перечне блюд невычеркнутыми остались лишь три строчки:

Колбаса п/копч. 50 г. — 27 коп.

Пельмени картофельные — 32 коп.

Пирог рыбный (из сига) — 69 коп.

Напротив за столом сидела женщина средних лет в черной плисовой куртке и, аккуратно расправляя замусоленные деньги, подсчитывала выручку, складывая в отдельные стопки рубли, трешки и пятерки.

— Телушка надесь ногу сломала, вот и пришлось заколоть,— пояснила она, пряча деньги за пазуху.

— Почему продавали-то? — поинтересовался Степан Александрович.

— По восемь рублей кило.

— Дороговато.

— Дак ведь, не сломай она ногу-то, до осени сколь еще весу-то нагуляла бы.

Подошла официантка, и Степан Александрович заказал пельмени и пирог. Торговка попросила пять порций колбасы.

— Много, тетенька, больше трех не даем,— сказала официантка.

— А ты две-то вон на гражданина запиши, а я рассчитаюсь. Да еще лимонаду три бутылки добавь.

Когда официантка отошла, торговка пояснила:

— Хоть робятишек побалую городским подарком...

Все пять порций колбасы она ссыпала с тарелок в чистый платок, завязала и сунула в мешок вместе с бутылками.

— Ну, прощевайте, мне еще матерьялишку: кой-какого поискать надо.

Вопреки ожиданиям картовные пельмени со сметаной и особенно пирог с сигом оказались чрезвычайно вкусными. Степан Александрович заказал еще порцию пирога и наелся до отвала.

2

Театр полуостровом вдавался в новую площадь нового города и хорошо вписывался в его архитектуру. Правда, архитектура была незатейливой, но выгодно отличалась от окружающего однообразия пятиэтажных домов. Они были типовыми для Черемушек, которым несть числа.

Зал был довольно вместительный, мест на пятьсот, с не очень хорошей акустикой.

«Надо будет в другой раз послушать Владимирцева из последнего ряда»,— решил Степан Александрович, хотя в принципе вовсе не намеревался устраивать молодому актеру никаких экзаменов.

Тем не менее сейчас он был экзаменатором, от мнения, вернее, от впечатления которого зависел и собственный его замысел, а еще точнее—его позиция, но также зависела и судьба молодого актера, которого он и видел-то всего раз в роли Незнамова.

Степан Александрович видел в этой роли немало исполнителей. И не только провинциальные трагики в последнем акте форсировали голос, и руки их дрожали, когда они раздирали рубашку и нервно выдергивали «сувенир, который жжет грудь». Владимирцев сделал это без форсажа и дрожания, наоборот, он расстегивал пуговицы на рубашке медленно, как бы сомневаясь, надо ли показывать медальон, и, положив его на ладонь, сам смотрел на него удивленно, как будто увидел медальон впервые. Это было сделано хорошо, с мыслью и ощущением, именно в этой мизансцене он больше всего и понравился Заворонскому. «Но мною тогда руководило лишь одно, к тому же первое впечатление, которое нередко бывает обманчивым».

Похоже, что он все-таки не ошибся: Владимирцев из тех, кто сегодня полнее, чем кто-либо из молодых актеров его театра, может донести до зрителя мысль новой пьесы. А ведь даже самые способные молодые актеры труппы главную мысль пьесы Половникова поняли не

до конца, хотя второй вариант ее приняли почти единодушно.

Это было и приятно, и еще более — тревожно. Потому что новый вариант был хотя и ближе к театру, но слабее первого варианта, недраматического. Автор явно подстраивался под театр и терял свою самобытность. Он во имя компромисса терял свою бескомпромиссность, а вместе с нею терял все, себя-то уж, во всяком случае. Уж очень легко он согласился с тем, как обстригли бахрому с его штанин. А может, он не согласился, а лишь уступил?

А может, полусогласившись, лишь полууступил?

Степан Александрович только сейчас и подумал, что поспешил, пожалуй, ставить пьесу, позицию автора которой он не уяснил до конца. Тем более поспешил, заведомо решив уязвить самолюбие столичной труппы, привезя провинциального варяга, едва вылупившегося из студийной скорлупы.

Сомнения эти длились недолго: до третьего звонка. Желто умирал свет в зрительном зале, темнела полоса оркестровой ямы, пурпурнее становился бархатный занавес, раздвигаясь, он обнажил лишь наполовину диваны и кресла, обитые тоже бархатом, потом занавес заело. Городничий уже провозгласил: «Я пригласил вас, господа...», но господ зритель видел еще не всех: лишь попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и судья были обнажены занавесом, а частный пристав, лекарь и двое квартальных отсутствовали. Городничий сердито зыркал за кулисы до тех пор, пока двое рабочих не растащили занавес во всю ширь сцены. Городничий, вынужденный из-за обшлага кружевной платок, вытер им по-настоящему вспотевший лоб и почти радостно провозгласил: «...пренеприятное известие: к нам едет ревизор».

Далее следовали тоже почти радостные восклицания Амоса Федоровича, Артемия Филипповича, Луки Лукича, вплоть до появления почтмейстера.

В общем-то они знали текст и проборматовывали его вполне сносно. И даже с жестами и модуляциями, выражающими меру собственного удивления.

Но зритель-то знал не столько текст, сколько «основное направление» пьесы против бюрократизма и спокойно, без всякого интереса созерцал действие, кажется не ожидая от него ничего уж такого особенного. Даже появление Бобчинского и Добчинского никого не удивило,

более того — зал начал шелестеть обертками соевых батончиков и косолапых мишек, хрустящих особенно громко.

Степан Александрович хорошо знал и достаточно ненавидел этот хруст. Он знал, как мешает актеру даже произвольный кашель, а хруст просто убивает его. Порой даже собственное недомогание или физические страдания действуют на актера не так сильно, как шевеление в зрительном зале. Особенно обидным это было тогда, когда приходилось выходить на спектакль действительно не вполне здоровым. Он знал неумолимость помрежа в таких случаях и свое бессилие перед его доводами:

— Голубчик, тридцать восемь и девять — это еще не сорок. У тебя же всего два выхода. Голова? Я держу целую горсть анальгина... Спасибо, я так и знал. После шестой картины тебя тотчас отвезут домой. Можешь болеть почти сутки. Но не больше! На завтра все билеты проданы. Вспомни, что ты без двойника и план сгорит синим пламенем. Что значит, пусть горит? Нельзя же так, мы же театр, а не шарашкина контора! Все! Или ты будешь через сорок минут в гриме, или никогда уже не будешь!

Помреж швырял трубку, плюхался в кресло и говорил:

— Нет, я умру раньше всех!

— Приедет или нет? — допытывался режиссер-постановщик.

— Приедет, — уверенно отвечал помреж. — Куда он денется? На всякий случай готов спектакль еще на одну замену.

— Но декорации...

— Господи, да все уже готово.

Конечно, ни декорации, ни замена еще не были готовы. Дездемона собиралась умирать только завтра, и театральный автобус выдернул ее из очереди за модными импортными джинсами по девяносто рублей за штуку. Яго пообещал очередной пришедшей Эмили две контрамарки на спектакль и потому исчез в неизвестном направлении, а у Отелло расползся по шву кафтан, и он рывкнул: «Кто тут шьет!», и гневный глас его донесся до швеи, которая первый раз за двадцать девять лет своей службы понадобилась на сцене. Взволнованная этим событием, она ткнула иглой чуть глубже кафтана, и актер, естественно, взвыл...

Однако это был «Ревизор», и появления Владимирцева следовало ожидать лишь во втором действии.

Степан Александрович каким-то шестым чувством ощутил, что зрительный зал тоже ожидает. Уж он-то помнил, что действие начинается длинным монологом слуги Хлестакова Осипа в гостинице при пустой бутылке и вчерашних крошках на столе.

У Гоголя в ремарке написано, что Осип валяется на постели. Но ведь валяться тоже можно по-разному. Например, Константинов в Центральном театре Советской Армии в течение всего монолога искал наиболее удобное положение и, подкладывая под живот подушку, старался устроиться так, чтобы унять трескотню в голодном желудке. Это была удивительно точная физическая линия поведения. А один раз Заворонского удивил актер, который, сметя эти крошки сначала со стола в ладонь, а потом вытряхнув с ладони в широко распахнутый рот, после «Черт побери, есть так хочется, в животе трескотня такая» вдруг сделал паузу, как бы прислушиваясь к трескотне, и, мгновенно вскинув голову, наострив уши почти неуловимым поворотом головы, убедил зал в том, что он прислушивается к звукам, и зал вдруг ошарашенно замер, не дожевав соевые батончики. Пауза и всего один поворот головы — и столько актерской власти! К сожалению, актер уже не смог больше повторить это ни в одном следующем спектакле, да если и повторил бы, вряд ли бы смог возродить эту минуту зрительского оцепенения.

А Осип был хорош. К тому же переиначил под местный говор почти все, особенно передразнивая еще не виденного зрителем Хлестакова на свой лад.

Степан Александрович знал, что этот монолог чуть ли не самый трудный, зато очень актерский. И вследствие этого — зрительский тоже. Актер вел его хорошо, заставив зал затаить дыхание. И Заворонский понял, что публика не просто привыкла к этому актеру, она не просто щадит его возраст, она обожает его. Степан Александрович оценил его по достоинству: в нем был настоящий профессионализм, удивительно точное соотношение формы и содержания.

И опять невольно вспомнилось, как Александр Павлович Ленский учил соответствию формы и содержания, внушая, что форма лишь тогда хороша, когда «относится к своей сущности, как скорлупа ореха — к своему ядру».

После этого тезиса Ленский обычно вынимал из кар-

мана заранее приготовленную горсть орехов и, не смущаясь тем, что все знают об этой преднамеренной «заготовке», говорил:

— Что было бы, если б природа все внимание устремила на оболочку, скорлупу? Усохло, уменьшилось бы в размерах ядро, либо его совсем даже не стало бы! Ну а если б не было оболочки, ядро не могло бы созреть и окрепнуть. Кроме того, скорлупу так приятно бывает разгрызть! Но ведь надо добраться до ядрышка! И оно во все не должно лежать на поверхности! Да и в природе никогда не бывает этого. И если мы сами заранее вышлущим ядро и услужливо преподнесем публике, она просто выбросит его. Ей будет скучно, неинтересно. Публика всегда хочет сама добраться до заветной сути. И доберется непременно, если наш орех хорош!..

Реакция зрительного зала нравилась Степану Александровичу, он даже не ожидал встретить здесь, в глухой провинции, такого зрителя.

Исходя из собственного опыта, он делил зрителей на три категории.

Первая: спектакль как таковой в принципе ее не очень интересует. Для нее главное — показаться на людях в новом наряде, особенно если этот наряд просто негде больше продемонстрировать. Социальное лицо этой категории для Степана Александровича никогда не было ясным, ибо его определяли женщины, заодно притащившие с собой и мужей. Правда, теперь все одеваются хорошо, кримпленовым платьем нынче никого не удивишь. К тому же в этот век всеобщей занятости и сумасшедшей спешки многие идут в театр прямо с работы, это особенно заметно в больших городах. Сапоги теперь уже почти никто не оставляет на вешалке, чем значительно облегчается работа дефицитных гардеробщиков.

Вторая категория посещает театр, чтобы не отстать от других, не прослыть темной и при случае вернуть в разговоре: вот, мол, недавно посмотрел вампиловскую «Утиную охоту» — прелюбопытная вещичка. Для такого зрителя побывать на том или ином спектакле просто престижно, не более того. Это обыватель, но далеко не безобидный. Он опасен тем, что не только стремится поспеть за модой, а хочет сам диктовать ее, создавать так называемое общественное мнение. И границы его влияния довольно-таки широки, нередко случается, что кое-кто из актеров начинает играть с ним как бы в поддавки, подлаживаться именно под его обывательский вкус. Актер на-

чинает подавать реплики как конференсные репризы, желая расшевелить публику, откровенно эстрадничают. Тут уж начинают разрушаться и режиссерский замысел, и художественные задачи, и эстетические рамки спектакля, но зритель этого не замечает, ибо он и понятия не имеет ни об этих задачах, ни о рамках, ни о замысле.

И лишь зрители третьей категории ходят в театр потому, что по-настоящему любят его и хотят найти в пьесе ответы на вопросы, которые мучают их. Они идут страдать и наслаждаться, переживать и болеть болью героев пьесы, укрепляться в собственных идеалах добра и человечности. Раньше театр боролся именно за этого зрителя, а теперь этот зритель борется с теми двумя предыдущими категориями, стремящимися достать билет в первые ряды партера, готовыми ради престижности глотать пыль залежавшихся актерских костюмов.

В отношении третьей категории зрителей у Степана Александровича сложилось удивительное впечатление от гастролей по провинции. Зрительные залы там необычайно чутки и внимательны, там в актерах видят прямых и непосредственных выразителей сегодняшних тенденций, зритель там в большинстве своем думающий, слушающий, впитывающий.

И в Верхнеозерском театре преобладал именно такой зритель, Степан Александрович как-то сразу почувствовал это. Обычно он наблюдал за зрителем из глубины директорской ложи или сквозь щель в занавесе. И только позже окончательно убедился, что зрителей, как и актеров, лучше наблюдать из зрительного зала. Из ложи он видел только выражения лиц и слышал вздохи. Здесь же, в зрительном зале, он ощущал восприятие как таковое, не только видел, а именно ощущал всем своим телом. Все это было наполненным, даже тишина.

Она стала наполненной до самых краев, когда на сцене появился Хлестаков — Владимирцев. Он небрежно бросил фуражку и тросточку Осипу, именно не отдал, а бросил, не заботясь о том, что Осип поймает их, как-то очень естественно опустил авторскую фразу «Прими это» и придиричиво, даже сварливо, не подозрительно, а будучи абсолютно уверенным, что Осип провалялся без него в постели, спросил: «А, опять валялся на кровати?»

Степана Александровича, знавшего пьесу наизусть, поначалу шокировали и эта купюра из классика, и необычная интонация, при которой и это начальное «А» звучало как убежденное «Ну что». Но не успел Степан

Александрович осудить эту вольность, как тут же на него обрушилась другая: Владимирцев, пренебрегая авторской ремаркой, по комнате ходить не стал, а присел на краешек кровати и нерешительно произнес: «Послушай... эй, Осип!»

И Степан Александрович вдруг понял, что Владимирцев не просто все делает иначе, а и логично: изъяв из текста всего одну фразу, он задает совершенно иную тональность всей картине. И, оставшись один, уж совсем тоскливо произносит: «Ужасно как хочется есть!»

Пожалуй, всем исполнителям роли Хлестакова Степан Александрович предпочитал артиста ленинградского Большого драматического театра Игоря Головачева. Собственно, он и открыл этого талантливого актера. Было это во время очередного смотра художественной самодеятельности в Москве. Привыкший заседать в многочисленных жюри всевозможных смотров и конкурсов, Заворонский, впрочем как и остальные члены жюри, просматривая спектакли, вполне активно и столь же безуспешно боролся с зевотой и сном. И вдруг — Головачев. Это было, пожалуй, и не столько ново. Но талантливо — безусловно!

Степан Александрович сейчас уже не помнил, студентом какого факультета был Головачев — кажется, философского. Но смотр круто изменил судьбу студента, сначала он сменил университет на театральное училище, потом стал выдающимся актером, а Заворонский стал почтительнее относиться к работе в жюри...

И сейчас складывалась, в общем-то, аналогичная ситуация, только Степан Александрович теперь единолично решал судьбу молодого актера. Он один мог его казнить или миловать.

«А имею ли я право? — усомнился Заворонский. — В конце концов, отдавать вкусу или пристрастиям одного человека всю дальнейшую судьбу актера не просто рискованно, а и несправедливо...»

И в антракте после второго действия он пошел в кабинет Аркадия Светозарова.

3

Последний раз они виделись лет десять или двенадцать назад на каком-то очередном, не очень-то и нужном кому-либо, совещании в Москве. Степан Александрович лишь сейчас запоздало пожалел, что встреча эта по-

лучилась мимолетной, и виной тому был он сам. В перерыве, окруженный авторами и молодыми режиссерами, жаждущими его внимания, он, только что принявший столичный академический театр, пожалуй слишком самодовольно внимая их велеречивому многоголосью, заметил вдруг за их спинами скромно стоявшего поодаль Аркадия. Бесцеремонно растолкав окольцевавшую его толпу, Степан Александрович бросился к Светозарову как к спасительной соломинке:

— Аркадий, здравствуй! Сколько лет, сколько зим...

Светозаров оторопел и не сразу поймал протянутую ему руку, робко пожав ее, спросил:

— А вы меня помните? Узнали?

— Ну еще бы! Да ты что, Аркадий, думаешь, я совсем забурел? — Степан Александрович обнял Светозарова и почувствовал, что тот поверх его плеча смотрит на расходящуюся толпу авторов и режиссеров. Степану Александровичу даже захотелось, чтобы смотрел он самодовольно, тогда мизансцена была бы вполне законченной, но он не видел выражения лица Аркадия и, отстранив его на длину вытянутых рук, не выпуская его из этих рук, пристально вгляделся в его лицо. Но оно выражало лишь прежнюю растерянность, самодовольства в нем не было ни капельки. Заворонский понял, что самодовольство было лишь в нем самом, и смутился.

— Я рад видеть тебя,— сказал он вполне искренне, но прозвучало это как-то отрепетированно, и Светозаров тотчас почти отчужденно сказал:

— И я...

Эта пауза означала, что оторопь у него уже прошла, он, должно быть, стыдится ее. И разговор не пошел дальше дежурных вопросов: «Ну, как жизнь?», «Спасибо, нормально. А как ты?..» Нить этого разговора была натянута до предела, и, кажется, оба они обрадовались, когда ее оборвал третий звонок... Тогда Степан Александрович даже не успел узнать, где Аркадий работает...

Кабинет главного режиссера оказался за кулисами, а не на привычном выходе из директорской ложи; Степан Александрович машинально подумал, что в этом, пожалуй, есть определенный смысл: подальше от высокопоставленных лиц и ближе к актерам. И надо же было случиться, что, когда Заворонский вошел в просторный, прямо-таки роскошный кабинет Светозарова, там оказался Осип. О чем они говорили с Аркадием, Степан Александрович так и не понял, потому что, увидев его, Светозаров

вскочил и стремительно помчался навстречу, воскликнув:

— Боже мой!

Наверное, у него уже вертелось добавить «Какая честь!», но он не добавил, почувствовав, что все это тогда получилось бы слишком театрально и законченно. Вот такая, казалось бы, маленькая деталь, что он удержался от этой театральной законченности, тотчас убедила Заворонского в искренности порыва. И он тоже вполне искренне обрадовался Аркадию.

— Каким ветром? — все еще преодолевая застенчивость, спросил Светозаров.

«Попутным», — хотелось привычно ответить ему. Но вопрос Аркадия был настолько невинным, что лгать ему не захотелось, и Степан Александрович хотя и уклончиво, но вполне искренне ответил:

— По делу, Аркадий, по делу...

Осип, оценив ситуацию, хотел незаметно улигнуть, но Степан Александрович перехватил его у самой двери и попросил:

— Останьтесь, пожалуйста...

— Но у меня выход...

— В этом действии у вас нет выхода. К тому же вы мне понравились. — Уже сказав это, Степан Александрович понял, что вот этого-то и не следовало говорить, хотя бы в таком покровительственном тоне.

Но Осип не оскорбился, наоборот, он, опять же мгновенно оценив порыв Светозарова и догадавшись, что вошедший свой, театральный человек, скромно представился:

— Иван Сергеевич Порошин.

— Очень приятно. Степан Александрович Заворонский, — в свою очередь представился Степан Александрович, тоже скромно, и, все еще стыдясь своего личного «превосходства», искренне добавил: — Вот этот монолог Осипа для всех был трудным. И мне понравилось, как легко вы с ним управились.

— Спасибо. Ваша оценка...

Степан Александрович понял, что эта пауза была не столь актерской, сколь человеческой. Он даже успел вспомнить, как у Сомерсета Моэма в его романе «Театр» проходной провинциальный режиссер говорит: «Чем больше актер, тем больше пауза».

Но пауза явно затянулась, потому что Заворонский просто не знал, как ответить, и лишь повторил дежурно:

— Очень приятно.

Это развеселило и Порошина, и Светозарова, и самого Степана Александровича, они дружно рассмеялись, и напряженность сразу спала.

— Посидим? — спросил Аркадий, и Степан Александрович понял, что Светозаров очень даже кстати нашел эту нейтральную формулу обращения (не «посидимте»), чтобы сгладить возникшую было неловкость.

— Извините, я прервал ваш разговор...

— Господи, да мы еще наговоримся! — Аркадий глянул на Степана Александровича настороженно.

Эта настороженность ощущалась и после спектакля, когда они втроем пришли в квартиру Аркадия Борисовича.

Жена его, по пьесе Марья Антоновна, успела не только снять грим, а и приготовить закуску из соленых груздей и маринованной черемши, встретила их в кухне:

— Аркадий мне много рассказывал о вас... — Пауза была хорошей, видимо, Светозаров и в самом деле рассказывал.

— Светлана.

Актеры делают иногда псевдонимы не только из фамилий, но и из имен. Похоже, имя у нее настоящее, да и вся она в этой кухне кажется абсолютно нетеатральной, это придает ей какое-то дополнительное обаяние. Степан Александрович, только что видевший ее в роли Марьи Антоновны, по достоинству оценивает всю домашность обстановки и вполне искренне предлагает:

— Отдохнем? Если позволите, мы тоже раскостюмируемся...

— Пожалуйста, о чем речь...

Они снимают пиджаки, что-то говорят, но Заворонский все время ощущает скрытое состояние настороженности Аркадия. Быть может, это ощущение передается и Светлане, в разговоре она почти не участвует и, подав кофе, уходит, успев приготовить постель для Заворонского в гостиной.

После ее ухода разговор пошел прямой.

— Воровать приехал? — спросил Светозаров.

— Ага.

— Кого?

— Будто сам не знаешь...

— Не дам!

— Ой ли?

— Вот Ваньку, — Аркадий Борисович указал на Порошина, — мне и то легче отдать. Школа — класс! Сидит

тут за отдаленность. За отдаленность от цивилизации к пенсии прибавку дают. Видел его в «Ревизоре»? Да тебе же в столице такой Осип даже не приснится!

— Смотри-ка, даже в рифму...— Степан Александрович попытался скрыть свое смущение. А смутило его то, что Аркадий вот так легко, даже пренебрежительно почти предложил взамен Владимирцева Ивана Сергеевича. Заворонский с большой радостью взял бы и Порошина, но приехал-то он все-таки за Владимирцевым.— Если Иван Сергеевич согласится...

— Ты не финти,— остановил его Светозаров.— Так вот ты его получишь! — Аркадий свернул пальцы в очень выразительную фигу и вполне искренне пожаловался: — Ты меня пойми... Нет, не меня, а нас, всех! И труппу и зрителей!

Степан Александрович промолчал, ожидая, что скажет Аркадий Борисович дальше. А тот, расстегнув воротник, как бы обнажая душу, плакался:

— У тебя триста с лишним актеров, а у меня всего тридцать два! Из них семнадцать — уже бабушки и дедушки. И тех я удерживаю лишь коэффициентом, то есть надбавкой к зарплате за отдаленность. А ты знаешь, что такое отдаленность? Для меня это прежде всего отдаленность от зрителя. Вот в этом комфортабельном (не смейся!) Верхнеозерске я могу прогнать спектакль максимум шесть раз. И все! Баста!

Аркадий умышленно сделал паузу, якобы раскуривая сигарету и тем самым давая возможность Степану Александровичу помножить число мест в зрительном зале на шесть и разделить число жителей Верхнеозерска на полученное число.

Эта арифметика складывалась явно не в пользу театра. Аркадий еще и подсаливал:

— Я же всю жизнь в выездных декорациях! У меня, по существу, при этом прекрасном для здешних мест стационаре нет зрителя! Мне его катастрофически не хватает! И я еду! Как ты сам убедился, проложенных мудрой рукой человека цивилизованных трасс у меня нет. Есть только один примитивный, но очень надежный путь — по реке. И то лишь летом, во время навигации. И вот я ругаюсь с начальниками пристаней и с капитанами пароходов из-за того, чтобы погрузить хотя бы выездные декорации. У меня же половина спектаклей в сукне... В трюмах декорации сыреют, а наверху с ними успешно борется пожарная инспекция. А я в приречном поселке дам

всего один спектакль, который, исходя из средних подсчетов, оплатит правление колхоза или дирекция лес-промхоза. А у меня финансовый план, и немалый! Для Подмосковья он, наверное, очень даже правильный, там что ни километр, то и рубль. А здесь сто километров не расстояние, а вот сто рублей для плана — это уже деньги! Я же по крохам собираю...

— Ладно, не скули,— вмешался Порошин.

Светозаров обиженно пожал плечами и уже не так запальчиво, но все еще сердито спросил:

— А знаешь ли ты, что театр даже с большой буквы начинается не с вешалки, а с провинции?

Видимо, Аркадий не знал, что свою режиссерскую деятельность Степан Александрович начинал в театре шахтерского городка.

Только люди неосведомленные или заносчивые высокомерно определяли словом «провинциальный» дурной вкус, манерность, гастролерство. Для Степана Александровича понятие театральной провинции было иным, несло в себе много прекрасного, особенно в смысле актерского мастерства. Заимствуя достижения столичного театра, провинциальный сам обогащал его, в первую очередь блестящими мастерами, прошедшими школу театральной периферии. Именно там утвердилось право актера занимать первое место в театре, там спектакль с талантливым актером становился праздником города и его окрестностей.

Не случайно раньше начинающих актеров столичных театров целыми группами отпускали в провинцию «пообызгаться». И вообще актеры редко задерживались в одной труппе более двух-трех лет. И как это ни парадоксально, перемена актерского состава была в интересах и зрителей, и самих актеров. При сравнительно небольшом количестве постоянных зрителей только новые исполнители могли поддерживать интерес к театру, когда исчерпывался репертуар новых пьес, а менять его бесконечно нецелесообразно, да и просто невозможно. Актерам же частые передвижения лишь помогали совершенствовать талант и мастерство. Бродячая жизнь, неудобная в житейском плане, имела положительную сторону — обогащала наблюдениями, жизненными впечатлениями, помогала формировать взгляды, а главное — не давала возможности довольствоваться достигнутым, ибо в каждом городе приходилось заново приобретать репутацию хо-

рошего актера, работать со всем старанием и полной самоотдачей.

Кроме того, переезды давали возможность сохранять облюбованный репертуар, шлифовать роли.

Зрителям же частая перемена состава трупп позволяла увидеть большинство лучших провинциальных актеров, не выезжая из родного города.

Сейчас, напомнив обо всем этом Светозарову, Степан Александрович сказал:

— Так что ты не очень-то приbedняйся. Не такая уж ты золушка. Много ли ты найдешь даже в столичных театрах таких актеров, как Иван Сергеевич?

Порошин смущенно запротестовал:

— Вы преувеличиваете, Степан Александрович...

А Светозаров опять взорвался:

— Ты что, и на него глаз положил?

— Да ведь ты только что сам его предлагал, — напомнил Заворонский.

— Потому и предлагал, что знаю: он ни за какие коврижки не согласится.

— Не соглашусь, — подтвердил Порошин.

— Неужто из-за коэффициента?

— Нет, конечно. Просто я привык тут. И к городу и к зрителю. Да и зритель ко мне привык. А охоту к перемене мест вполне удовлетворяю на выездах. Мы ведь в городе-то почти не сидим. Да и что я у вас для себя как актер приобрету? Я ведь в столицах-то уже работал. Между прочим, и в вашем театре один сезон лицедействовал. А вот Владимирцеву это будет полезно.

— И ты, Ванька, туда же! — возмутился Светозаров. — Я думал, ты мне будешь помогать, а ты... предатель!

— Тут не знаешь, кого и предавать: то ли тебя, то ли Владимирцева, — усмехнулся Порошин. — Так я уж лучше тебя, ты не такой ломкий. Можно даже сказать — негибаемый.

— А ну вас! — махнул рукой Аркадий и налил себе еще чашку кофе. Потом горестно воскликнул: — Ну кем я его заменяю? Некем же!

— Так уж и некем? — опять усмехнулся Порошин. — А Кузьмин?

— Васька-то?

— А что Васька? Ты же его в кандалы заковал, на первых любовниках заморозил. А между тем он актер

многогранный. Покатай его в других ампула, глядишь, и пойдет не хуже Владимирцева.

— Ты думаешь?

— Верю,— убежденно сказал Порошин.

— А что? Может быть, может быть. Ну ладно, черт с вами! Я ведь понимаю, что не имею права задерживать Владимирцева. Но пусть он решает сам. Я не буду вмешиваться, хотя ты, Степа, без ножа меня режешь,— согласился наконец Аркадий.

Порошин ушел: утром у него репетиция. А Светозаров опять стал жаловаться:

— Меня измучили нагоняями и выговорами за устойчивое невыполнение финансового плана. Ну я ладно, я не очень-то ломкий, Иван Сергеевич это точно подметил. А каково актерам играть в полупустом зале? Это же высшая мера наказания! А тут еще телевидение добралось через систему «Орбита» и до здешних мест. Теперь зрителя у театра отнимает и хоккей, и фигурное катание...

4

Степан Александрович просмотрел все спектакли с участием Владимирцева и окончательно убедился, что тот подойдет для будущей роли как нельзя лучше. У него не было стереотипа — однажды найденного образа, закрепленной за собой манеры игры, палитра его была довольно многоцветной, в ней угадывались весьма значительные накопления опыта скорее жизненного, чем актерского. И это было гораздо важнее, ибо сама по себе актерская профессия, в сущности, не имеет опыта. Каждую роль даже великим актерам приходится начинать заново.

Владимирцев выступал в разных ролях, и почти все удавались ему с поразительной легкостью. Казалось, он совсем не думает, что ему делать: куда сесть, где остановиться, как взглянуть; он передвигается по сцене естественно, как бы даже невесомо, его ноги и руки делают все настолько привычно, как будто он всю жизнь только тем и занимался, что играл именно эту мизансцену. Степан Александрович знал цену этой привычности, догадываясь, сколько за ней стоит домашней работы, и с радостью отмечал про себя, что ко всему прочему Владимирцев еще и трудолюбив.

Но опытный глаз Заворонского отмечал также в игре молодого актера необузданную стихийность. Владимирцеву порой не хватало техники и сценической дисципли-

ны, того, что называется школой, к его несомненному таланту необходимо было добавить мастерства, шлифовки. Иногда он уже в первой картине тратил себя настолько безоглядно, что к концу спектакля едва не выдыхался, а ведь он не всегда будет так молод и силен.

Степан Александрович понимал, что не просто приглашает Владимирцева на роль, а уже сейчас определяет всю его дальнейшую сценическую судьбу. И судьбу эту надо было определить с заглядом в будущее, имея в виду не одну пьесу Половникова, а и все будущие роли, которые соответствовали бы его жизненному опыту и вообще его отношению к жизни, его взглядам, его интеллекту. Ибо интеллект самого артиста представлялся Степану Александровичу чуть не главной составляющей актерского таланта. Артист неизбежно или судья, или адвокат своего героя, и тут все зависит не от прочтения роли, а от его собственных жизненных кредо. Актеру мало понять образ, надо его еще почувствовать, иначе играть он будет только умом, а из этого, как правило, ничего хорошего не получается. А почувствовать может не всякий, это зависит от степени интеллекта.

Степан Александрович, просмотрев все роли с участием Владимирцева, с самим актером еще не говорил. Светозаров, как и обещал, занимал позицию вынужденного нейтралитета и цель приезда Заворонского хранил в глубочайшей тайне. Но поскольку все догадывались, что попутным ветром Заворонского могло занести куда угодно, только не в Верхнеозерск, начали строить предположения, поползли самые невероятные слухи. Договорились даже до того, что Заворонский якобы на чем-то погорел и его «сослали» сюда, он примет труп у Светозарова.

Тем неожиданнее оказалось для Владимирцева предложение Заворонского. Разговор проходил в кабинете Аркадия Борисовича, тут же как секретарь партийного бюро был Иван Сергеевич Порошин. Владимирцев растерянно смотрел то на Светозарова, то на Порошина, но те, будто сговорившись, дружно пожали плечами: дескать, решай сам.

— Право же, я как-то и не предполагал... Разумеется, для меня это весьма лестно. Но мне надо подумать... И посоветоваться,— Владимирцев теперь уже умоляюще посмотрел на Аркадия Борисовича.

Но Светозаров опять лишь пожал плечами, зато Порошин не выдержал, буквально взорвался:

— Балда! Кретин! — Он даже стукнул кулаком по

столу.— Ему предлагают Москву, знаменитый академический театр, а он еще кобенится!

— Да не кобенюсь, а боюсь,— признался Владимирцев.— Ведь у меня даже нет высшего театрального образования. Институт культуры не в счет.

— Ну и что? Образование, Витя, это вот такая штука: умный, получив его, узнает лишь, что он слишком мало знает, а дурак начинает мнить, что он знает слишком много. А у тебя талант.

— Ну так уж и талант.

— И не спорь! Нам это виднее. И зрителю! Он тебя принимает,— убеждал Порошин.

— Это здесь. А там?

— Там вам пока не будет угрожать ни громкая слава, ни большая зарплата,— предупредил Степан Александрович.

Светозаров тут же подсчитал, что без коэффициента за отдаленность Владимирцев в Москве будет получать даже меньше, чем здесь.

— И квартиру сразу не дадут.

— Да, с этим у нас туговато,— подтвердил Заворонский.— Придется на первых порах снимать.

— Зато какая школа! — горячо возразил Порошин.— И перспективы!

— Ну, насчет перспектив я бы тоже воздержался от патетики,— сказал Степан Александрович.— Сие зависит не только от него, вы сами знаете, как принимают «варягов». — Заворонский преднамеренно нагнетал обстановку. Он сам был актером и знал, что при всей бедности большинства артистов их редко соблазняет лишь зарплата. Для настоящего актера более важна другая плата — мертвая тишина в зрительном зале, которая наступает в минуты потрясения.

О том, что он берет Владимирцева сразу на главную роль, Степан Александрович не сообщил даже Светозарову, хотя теперь был и сам абсолютно убежден, что только Владимирцев и подойдет для этой роли, и мысленно поклялся, что проташит его, какие бы препятствия ни возникли. Теперь он ставил на карту и собственный авторитет и престиж.

Порошин неожиданно круто изменил курс:

— Слушай, Витя, а может, ну его к черту, этот академический театр? Здесь у тебя устоявшаяся слава, пусть местного значения, но слава. А там опять многие годы

на вторых ролях, и неизвестно еще, выкарабкаешься ли из них, не затеряешься ли среди звезд...

— А вот это уже интересно,— сказал Владимирцев.

— Что интересно?

— Выкарабкаться.— И, набычившись, убежденно добавил: — Выкарабкаюсь!

Степану Александровичу это понравилось, но он все-таки предупредил:

— Только не вздумайте потом сожалеть.

— Ну если и ткнусь разок мордой в стенку — тоже урок будет.

— Учти, что обратно не возьму,— пригрозил Аркадий Борисович.

— Возьмет, куда он денется? — обнадежил Порошин.— Так что давай, Витька, дерзай! Покоряй вершины. Но знай, что добраться до них не так-то легко, могут и на полпути спихнуть. Зависти опасайся — вот чего!

Заворонский удивленно посмотрел на Порошина: так поразительно совпали их мысли о вершинах. «А скорее — опыт, горький опыт...» Видимо, у Порошина этот опыт был, возможно, он и привел его в Верхнеозерский театр.

Когда Владимирцев ушел, Светозаров сказал:

— А все-таки ты, Степан Александрович, за ним пригляди, очень уж он горячий, как бы и в самом деле не разбился о стенку.

— Да уж пригляжу,— пообещал Заворонский и чуть не проговорился насчет главной роли в пьесе Половникова, но вовремя удержал себя. Пусть и для них это будет сюрпризом.

— И вот что еще: я представляю Владимирцева к званию заслуженного артиста республики,— сообщил Аркадий Борисович.

— Вот это правильно! — одобрил Порошин.

— Что же, по-моему, он этого заслуживает,— поддержал и Степан Александрович.

— Так вот есть смысл подождать, пока ему присвоят это звание. И ему будет лучше, и тебе легче: все-таки перетасишь в свой театр не просто «варяга», а заслуженного.

— Согласен.

На другой день Аркадий Борисович вручил Заворонскому два представления: на Владимирцева и на Порошина.

— Если и ты замолвишь словечко, это значительно ускорит дело.

— Замольвлю. Искренне.

На обратном пути Степан Александрович завез оба представления в областное управление культуры. Там ни на кого не пришлось нажимать, оба актера были единодушно поддержаны, слава о них шла поистине добрая. О том, что Владимирцева переманили в столичный театр, Заворонский, разумеется, пока не сообщил, отчего опять испытал легкие угрызения совести.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Наверное, не бывает актеров, которые не мечтали бы о славе. У Виктора Владимирцева тоже были далеко идущие честолюбивые мечты, и все-таки предложение Заворонского оказалось столь неожиданным, что Виктор сначала расценил его как розыгрыш, оттого и вел себя в разговоре со знаменитым режиссером столь дерзко. Чего стоило одно его самоуверенное заявление «выкарабкаюсь»!

И, лишь выйдя из кабинета Аркадия Борисовича, Владимирцев понял, что разговор шел серьезный, и растерялся. «Ну, благо бы еще в областной драмтеатр предложили, а то сразу в столичный, да еще академический!» — удивлялся он, шагая по пустынной улочке Верхнеозерска. И ему вдруг стало жаль покидать этот небольшой сибирский городок, свой театр, друзей, а их было немало не только среди актеров. Но главное, конечно, — театр, его первый профессиональный театр. Сколько же лет понадобилось, чтобы он вышел на сцену «настоящего» театра?

Странно, что ни в детстве, ни в юности он даже и не думал о театре. Он хотел стать военным моряком, но у него обнаружилось искривление носа и плоскостопие, и его вообще освободили от службы. Все-таки после десятилетки он надеялся поступить хотя бы в мореходное училище промыслового флота, но десятилетку ему закончить не довелось. Скоропостижно умер отец, и, как мать ни протестовала, Виктор оставил школу и пошел работать в порт такселяжником, ибо понимал, что четверых матери не прокормить. Благо бы младшие были мальчишками, а то ведь девчонки, их еще и одеть надо так, чтобы перед другими не стыдно было.

Правда, в порту он зарабатывал не так уж много, но на питание семье хватало, да и сестренки в школу не в обносках ходили. Мать потихоньку откладывала деньги и ему на костюм, но Виктор хотел потратить их на зимнее пальто матери, сам же в очередную навигацию намеревался уйти в океан с краболовами, а там не только выходной костюм не понадобится, а и обычный-то не нужен — выдают спецодежду. Наверное, весной он так и ушел бы в океан, если бы не случай.

Как-то, возвращаясь с работы, он встретил в трамвае свою бывшую одноклассницу Марину Крапивину. Марина обрадовалась ему:

— Ой, Витя, куда же ты запропастился?

— Работаю, — коротко ответил он.

— Ах, да! — Марина смущенно опустила глаза и, помолчав, участливо спросила: — Тяжело?

Он пожал плечами:

— Обыкновенно.

— А у нас математичка замуж вышла, — почему-то сообщила Марина. — Странно, правда?

— Что же тут странного?

— Но она же такая скучная, педантичная.

— Это на уроках. А в жизни она какая? Ты знаешь?

Теперь Марина пожалала плечами. И, помолчав, удивленно спросила:

— А ведь и верно, что я о ней знаю? — И, пристально поглядев на Виктора, сказала: — Да вот и о тебе... Слушай, ты куда не спешишь?

— Нет.

— Тогда пойдем со мной. Кстати, нам выходить на следующей остановке, — она схватила Виктора за руку, потянула к выходу.

Когда трамвай, пронзительно зазвенев, отошел от остановки, Виктор спросил:

— А куда мы идем?

— В театр!

Только теперь Виктор заметил, что сошли они возле Дома рыбака, и смущенно оглядел себя:

— Я, вот видишь, не одет для такого дела... — И тут же подумал, что больше-то ему и одеться не во что.

— Ерунда! Идем, — Марина опять потянула его за руку.

— Постой, а билеты?

— Не надо никаких билетов, нас так пропустят.

И верно, едва Марина шепнула контролерше: «Со

мной», как та отступила в сторону и пропустила Виктора. Они прошли в зрительный зал, он был еще пустой, Марина провела Виктора в четвертый ряд, усадила на откидной стульчик и наказала:

— Вот тут и сиди. А после спектакля жди меня у входа.— И, не дав ему опомниться, ускользнула в боковую дверь, ведущую за сцену.

Зал уже начал заполняться, тихо поскрипывали кресла, слышался шорох платьев, шелест программ, в воздухе витал тонкий аромат духов. А Виктор все опасался, что вот-вот его кто-нибудь сгонит с места, и беспокойно оглядывался по сторонам, отыскивая Марину. Но ее нигде не было, она так и не появилась, однако и Виктора никто с места не согнал.

Погас свет в зале, раздвинулся занавес, и спектакль начался. Действие происходило на палубе траулера. Сначала это заинтересовало Виктора, но вскоре наскучило: повторялись одни и те же слова команд: «Право руля!», «Есть, право руля!», «Так держать!» «Есть, так держать!», «На эхолоте!» «Есть, на эхолоте»... Потом все сокрушались, что «не возьмут нынче план», и все почему-то ругали молодого рулевого Ваську Румпеля, который зазевался и упустил «уловистый» косяк сельди. И только старый капитан Акимыч не ругался и даже дал Румпелю закурить. А когда Васька ушел, капитан начал корить себя и собрался на пенсию. Корил он себя долго и скучно, Виктор уже перестал его слушать и начал думать о том, зачем Марина привела его сюда и куда она сама подевалась.

С тех пор, как он оставил школу, прошло около восьми месяцев, за это время Виктор встречал многих одноклассников, знал обо всем, что делается в школе, даже о том, что математичка вышла замуж. Откровенно признаваясь, он завидовал ребятам, но в то же время все их заботы об отметках, контрольных и экзаменах теперь казались ему мелкими и особого интереса не вызывали. Он даже пожалел, что не ушел из школы раньше.

Встреча с Мариной что-то всколыхнула в нем, но что именно, он еще не понял. Может, бывшие чувства? Он влюбился в Марину еще в шестом классе, сразу же, как только она пришла в их школу. Он писал ей записки, но не отваживался передать их, посвящал ей стихи — боже, какие это были наивные, но искренние стихи! Одно из стихотворений он на перемене сунул ей в задачник, потом она читала это стихотворение вслух, и весь класс хохот

тал. С тех пор он стал ее презирать, а когда узнал, что в нее влюблены почти все мальчишки, называл про себя не иначе, как вертихвосткой. Однако никому из мальчишек Марина предпочтения не отдавала, и это несколько смягчало ее вину. Но того публичного осмеяния он ей так и не простил и относился со скрытой неприязнью. Ее это, видимо, не очень огорчало, она держалась с ним ровно. И было даже странно, что сейчас, в трамвае, она как будто даже обрадовалась ему.

«Напускное это. Может, она и сочувствует, зная о моей беде, но зачем мне ее сочувствие?» — думал он, глядя на сцену и не вникая в развитие действия. И тут вдруг увидел ее! После затемнения началась другая картина, и софиты выдернули из темноты именно Марину! Она стояла в левом углу сцены, прижимая к груди букет цветов и вглядываясь куда-то вдаль, за правый угол. На голубом заднике проступали очертания порта, моргали желтые огоньки якорных и ходовых огней, мелькали тени проходивших мимо людей. При появлении каждой тени Марина вздрагивала, вглядывалась еще пристальней и разочарованно вздыхала, опуская руки с букетом.

Но вот она встрепенулась, приподнялась на цыпочки, глаза ее радостно сверкнули, она вскрикнула: «Папа, папочка!» — и бросилась в правый угол сцены. Оттуда вышел старый капитан, и она бросилась ему на шею, стала целовать и вдруг оцепенела, увидев за спиной капитана Ваську Румпеля с облезлым фибровым чемоданчиком в руках. Васька смотрел на нее восхищенно. Капитан, перехватив их взгляды, сердито буркнул Ваське:

«Ты иди».

«А чемодан?» — с явной надеждой спросил Васька.

«Сами донесем».

«А может, я?» — с готовностью предложил Румпель.

«Кому сказано!» — строго прикрикнул капитан, и Васька, поставив чемодан, стал удаляться, поминутно оглядываясь. А Марина через плечо отца приветливо помахала ему букетом.

«Ну, как вы тут... с матерью-то?» — спросил капитан.

«Не мать она мне... сколько раз говорила!» — упрекнула Марина.

«Ну да. Извини. А мать-то не объявлялась?»

«Двенадцать лет не объявлялась, так с чего бы ей теперь-то?»

«Ну да, конечно», — капитан подхватил чемодан, и они ушли со сцены только затем, чтобы после затемнения

появиться снова, но уже в квартире капитана, обставленной довольно богато, с хрусталем и мраморными слониками на запыленном рояле.

Он сидит в старом кресле, посасывает трубку и наблюдает за тем, как Марина с мачехой накрывают стол. Мачеха то и дело ласково припевает:

«Доченька, салат лучше вот сюда поставить».

Марина усмехается и ставит салат, куда указано.

«Она у нас такая кулинарка!» — хвалит мачеха.

«Еще бы, даже яичницу жарить умею!» — недобро усмехается Марина.

Наконец все усаживаются за стол. Капитан нажимает в основном на витамины.

«Там мы их совсем не видим», — застенчиво поясняет он.

Сначала капитан смотрит на все умиротворенно, потом настораживается, почувствовав что-то неладное, и вот уже перестает есть и встревоженно прислушивается к разговору дочери с мачехой.

На этом и кончается первое действие.

В антракте Виктор разыскал в вестибюле афишу и прочитал:

«Катя, его дочь, — М. Крапивина».

Выкурив две сигареты и выждав, пока прозвучит третий звонок и в вестибюле погаснет свет, он сорвал афишу, аккуратно свернув ее, сунул за пазуху и стал пробираться в четвертый ряд. К тому моменту, когда он водрuzился на свое место, на сцене за столом уже сидел небритый, включенный старый капитан, пил водку и ругал море. Потом пришел Васька Румпель и стал уговаривать капитана вернуться на траулер. Но тут появилась Катя — Марина, Васька забыл про капитана и стал пялить на нее глаза. А Катя — Марина разрывалась между ними: то жалела отца, то явно симпатизировала Ваське. И Виктор отметил, что и то и другое у нее выходит хорошо, хотя Ваську возненавидел окончательно и бесповоротно.

В последней картине, когда капитан вернулся на траулер, Марина не участвовала, поэтому ждать ее пришлось недолго, она вышла на улицу вместе с последними зрителями. Спросила серьезно:

— Ну и как?

— Пьеса — так себе, а ты — ничего. А я и не знал. И давно ты?

— Полгода. Как только открылся этот народный те-

атр. Конечно, это не профессиональный театр, но и не школьная самодеятельность.

Виктор вспомнил, что она участвовала и в школьном драмкружке и там ее хвалили, но он ни разу не видел ни одной постановки, потому что не хотел видеть, ибо презирал Марину в то время особенно принципиально. И сейчас почему-то вдруг признался в этом.

— А я знаю, за что ты меня презираешь,— тихо и грустно сказала Марина и опустила голову.— За то, что я тогда прочитала твоё стихотворение всем.

— С чего это ты взяла, что оно мое?

— А я уже потом, после того как всем прочитала, сверила по почерку.

— Тоже мне криминалист! — сердито буркнул Виктор и достал сигарету. Но спички никак не мог найти, стал хлопать себя по карманам, полез во внутренний, вот тогда-то и выпала эта афиша. Он поднял ее, начал торопливо засовывать обратно, однако Марина уже обо всем догадалась и рассмеялась:

— Дурачок, зачем же было сдирать? Я тебе их сколько угодно могу дать.

— Сто штук можешь? — с нехорошей усмешкой спросил он.

— Сто не могу, у меня всего пять. Можешь взять все,— настороженно предложила Марина.

— А чем же будешь хвастаться? — совсем уж нехорошо спросил он.

— А ты злой! Злой и жестокий! — выкрикнула Марина и вдруг заплакала.

Плакала она как-то по-детски, всхлипывая и размазывая кулачком слезы по щекам.

У Виктора было три младших сестренки, он привык к девчоночьим слезам, которые обильно проливаются по всякому поводу и без повода, но тут растерялся и не знал, что делать. Только и сказал, виноватся:

— Ладно тебе... — и взял Марину под руку.

Странно, что это ее вдруг успокоило, она притихла. Молча они дошли до остановки, но, когда подкатил трамвай, Марина нерешительно предложила:

— Может, пешком пойдем?

И когда отошли от остановки, потерлась щекой о его рукав и ласково сказала:

— Ты не сердись, я глупая была...

За полгода народный театр при Доме рыбака поставил всего два спектакля, и Виктор каждый из них посмотрел по шесть раз. И когда ушел в море исполнитель роли Васьки Румпеля, а заменить его было нечем, Марина ни с того ни с сего вдруг предложила режиссеру попробовать на эту роль Виктора.

— Он почти весь текст знает! — как самый веский довод выложила она.

К счастью, режиссер Валентина Георгиевна Озерова не поинтересовалась, откуда Владимирцев знает текст. Много лет она работала с самодеятельными артистами, достаточно убедилась в их бескорыстном энтузиазме, видимо, и на этот раз решила, что имеет дело с человеком, всю жизнь мечтавшим о сцене. И очень удивилась, что Виктор так долго и упорно сопротивлялся, его буквально вытащили на сцену.

Текст он действительно знал, но абсолютно ничего не умел делать. После первой же репетиции все загрустили, директор уже собрался сдавать зал в аренду заезжему вокально-инструментальному ансамблю, но Валентина Георгиевна воспротивилась:

— Ни в коем случае! За две недели я его обкатаю. Тем более что текст ему учить не надо.

— При чем тут текст? А остальные данные? Это же слон в посудной лавке! Декорацию свалил? — директор загнул один палец левой руки.

— Свалил! — удовлетворенно подтвердила Валентина Георгиевна.

— На партнера налез? — еще более демонстративно загнул другой палец.

— Налез! — теперь уже совсем весело согласилась Валентина Георгиевна и сняла очки.

Директор убрал за спину левую руку с двумя загнутыми пальцами и выжидательно примолк, ибо знал, что, когда Валентина Георгиевна снимает очки, это означает, что она сейчас скажет что-то решительное и после этого ее бесполезно будет в чем-либо переубеждать. Честно говоря, он побаивался ее непреклонности, но ему нравилось, когда она снимала очки: у нее глаза были такой нежной голубизны и глубины, что директор, будучи многодетным, начинал серьезно опасаться за свои семейные устои.

Но на этот раз в голосе Валентины Георгиевны не

было и намека на упрямство, наоборот, он прозвучал как-то даже восторженно:

— Если бы вы знали, какой это материал! Сырой, конечно. Но — материал! Работать с ним одно удовольствие!

И директор кротко согласился:

— Вам виднее... Но у меня план!

— Не беспокойтесь, ваш план не пострадает. А вот искусство пострадает, если мы упустим такой счастливый случай! — с пафосом произнесла Валентина Георгиевна и при этом даже приподняла театрально руку с очками.

«Так уж и не пострадает», — мысленно возразил директор, но вслух ничего не сказал, ибо хотя и не разделял несколько восторженно-наивного отношения Валентины Георгиевны к самостоятельным талантам, но как специалиста ценил ее высоко. И даже не подозревал, что у Валентины Георгиевны специального режиссерского образования вовсе и не было, а окончила она филологический факультет университета и консерваторию по классу рояля и в ближайшие два года мечтала превратить этот драматический театр в музыкально-драматический и уже охотилась за голосами.

А Виктор Владимирцев с удивлением обнаружил, что ни ходить, ни сидеть, ни говорить он не умеет, даже старенький бушлат, который он проносил полгода, снимает и надевает совсем не так, как надо. Две недели Валентина Георгиевна учила его всему этому, сгоняя с него по семь потов. У Виктора не раз возникало желание плюнуть на все и уйти, но ему не хотелось подводить Марину. Сначала его удерживало только это, а потом заговорило и самолюбие: «Другие могут, а я что — рыжий?»

Валентина Георгиевна отметила этот момент такой репликой, адресованной директору:

— Что я вам говорила? Вы только посмотрите, какая у него хорошая злость!

— Вы еще не знаете, какая злость бывает у начальника городского отдела культуры, — обреченно заметил директор. — Сроки, сроки подпирают, а он еще с партнерами не работал, ни в одну мизансцену не вписывался! Или вы его намерены во время спектакля за руку водить?

— Рано ему в мизансцену, — сдержанно пояснила Валентина Георгиевна. — Вот когда у него интерес появится, тогда и поведем.

— Да может, у него этот интерес никогда и не появится.

— Появится! — уверенно заявила Валентина Георгиевна и, сняв очки, улыбнулась.

Директор глянул ей в глаза и, махнув рукой, удалился. При этом вид у него был весьма подавленный. Больше он на репетиции не ходил, зато на спектакль шел, как на эшафот. Поэтому в зал решил не спускаться, а наблюдать через окошечко из кинобудки. И как ни старался преодолеть предубеждение к Владимирцеву, а смотрел только на него. И с первой же картины был крайне изумлен.

Молодой актер трактовал роль совершенно иначе, чем основной исполнитель, и это привело директора в такое уныние, что он уже начал подумывать, под каким бы предлогом вообще улизнуть от позора из вверенного ему культпросветучреждения. Недолго пошарив в памяти, такой предлог он нашел: как раз сегодня заседал объединенный профсоюзный комитет рыбака, членом которого он состоял, но редко достаивал его заседания своим присутствием. Он уже приподнялся было с табурета киномеханика, как его остановила реплика нового актера:

«Закат уж больно красивый, вот я и зазевался».

На что старый капитан заметил:

«Закат и впрямь хорош! Должно быть, к шторму».

Директор тоже помнил почти весь текст, во всяком случае, твердо знал, что ничего этого в пьесе не было.

— Интересно! — вслух произнес директор, снова опустился на табурет и уставился в квадратное окошечко кинобудки.

Теперь он не только слушал внимательнее, но еще пристальнее наблюдал за молодым актером, помня, как тот опрокинул декорацию и наткнулся на партнера. Видимо, и Владимирцев об этом помнил и поначалу держался скованно, однако постепенно втягивался в роль, раскрепощался. А во второй картине он уже держался вполне свободно и так естественно, как будто всю жизнь только тем и занимался, что стоял на руле траулера. А в третьей картине и вовсе превзошел своего предшественника: у того при встрече с Катей все-таки и жесты были не очень-то натуральные, и голос он форсировал, и взгляды он бросал уж больно злодейские. «А может, и хорошо, что тот ушел в море?» — подумал вдруг директор и спустился в зал.

В антракте он зашел в свой кабинет, исправил на афише и в программках фамилию исполнителя роли Васьки Румпеля и отправил в типографию, пожалев, что

не сделал этого раньше. «Они же недели две печатать будут, не меньше. И чего я тогда не послушался Валентины Георгиевны? Все-таки у нее нюх».

А Валентина Георгиевна в это время за кулисами подбадривала Владимирцева:

— Все идет хорошо. Но больше от текста не уходи. Откуда ты взял про закат?

— Так ведь без этого непонятно, почему Васька упустил косяк.

— Верно, именно этот вопрос и у меня где-то подспудно сидел. Очевидно, и у зрителя он возникал. Это ты замечательно придумал! И на образ работает, делает его более лиричным. Ты эту линию и дальше тяни, но не педалируй, иначе сфальшивишь. Однако надо же было предупредить! Хорошо, что Василий Митрофанович среагировал и попал в тон. А если бы не среагировал? Ты же всех мог сбить с толку.

— Так ведь я это придумал, когда уже вышел на сцену. И сразу выскочило.

— Так вот, чтобы больше не выскакивало! — строго предупредила Валентина Георгиевна. — Учти, что у нас тоже дисциплина и притом железная!.. Ну ладно, иди попей водички, у тебя вон губы пересохли. А вообще все идет хорошо, так и держи.

Виктор побежал в гримерскую попить, а Валентина Георгиевна отыскала художника и распорядилась:

— Завтра же начинай писать закат. Да такой, чтобы вся публика на него зазевалась.

Они опять шли пешком. Виктор не решался, а еще точнее — боялся спросить, а Марина молчала. И он это молчание истолковал по-своему: «Не хочет огорчать». Правда, публика аплодировала, потом и артисты его поздравляли, и Валентина Георгиевна, и даже директор, но он им не очень верил, полагал, что все это лишь вежливость, ибо был крайне собою недоволен. И с этим закатом чуть всех с толку не сбил, а во втором акте пропустил целых три фразы, хорошо еще, что не последние. Зато водки зачем-то налил и хлопыстнул целый стакан. Зачем? Чтобы капитану меньше досталось? Так ведь это надо было объяснить. Но после самовольного заката он уже боялся...

— А знаешь, я подавлена, — сказала наконец Марина.

— Еще бы! — Виктор вздохнул. — Зря ты меня в это дело втянула,

— Дурачок! — она опять потерлась щекой о его рукав.

— Ну что ты трешься, как котенок! — сердито сказал он и отстранился.

— Ох какой ты у меня глупенький! — И, посерьезнев, призналась: — А ведь я, Витя, твоим талантом подавлена. Я вот всю жизнь мечтала о сцене, готовилась, меня и в театр взяли, и хвалили. А ты даже не хотел, тебе подвернулся лишь случай, ты и им не хотел воспользоваться, едва уговорили. И у тебя сразу получилось, да так, что я себя сейчас вот такусенькой чувствую! — она показала кончик мизинчика.

— Смешься?

— Нет, Витя, я серьезно. Очень серьезно.

— Не верю я тебе.

— Ну хорошо, мне ты можешь не верить. А остальным? Ты знаешь, что от Валентины Георгиевны похвалы не скоро-то дождешься. А о тебе она знает что сказала? «Это,— говорит,— самородок, который в погоне за золотым песком старатели не заметили». И еще меня поблагодарила за то, что я нашла тебя... Смешно! Я же тебя вовсе и не искала, а просто споткнулась о тебя, как о булыжник. И в театр принесла как булыжник, не подозревая, что под слоем глины столь драгоценный металл... А ведь могла бы и выбросить! Или даже не нагнуться и не поднять, а просто пнуть, откинуть в сторону, чтобы не валялся на дороге.

— Не много и потеряла бы. Потому что никакого металла нет, одна глина!.. Так что давай без иллюзий.— Виктор усмехнулся и полез за сигаретой.

— Нет, постой! — Марина решительно удержала его руку.— Уж раз мы об этом заговорили, так знай: я не искала никаких самородков! Ты мне нужен был и как просто булыжник... Еще с тех пор, с шестого класса. Только ты этого не знал, я хоть и маленькая, но все же актриса. К тому же и ты слепой, как новорожденный котенок!

— Выходит, мы одной породы...

— Не смей! Не смей над этим смеяться! Никогда! — Она сжала кулачки и постучала ему в грудь: — Слышишь, никогда!

— Ладно, не буду. Успокойся.— Он взял оба ее кулачка в свою ладонь, они свободно уместились в ней. Почему-то это его удивило: — Какие маленькие! И к тому

же холодные. Давай мы их погреем.— И сунул их под бушлат.

Они долго стояли так, боясь шелохнуться. Виктор чувствовал, как руки ее постепенно отогреваются, как тонко и стремительно бьется в них кровь, как они слабеют, и ощущал, как все чаще и сильнее начинает колотиться его сердце.

3

К шестому или седьмому представлению роль обкаталась, публика принимала Виктора хорошо, Валентина Георгиевна хотя и сдержанно, а все-таки иногда похваливала, и сам Виктор уже начал верить в успех, но относил его за счет всего лишь случая. «Роль получилась только потому, что Катю играет Марина, тут мне и притворяться не надо. А если бы играла другая или я играл бы другую роль — ничего и не получилось бы».

Но вот стали готовить новый спектакль, а у Марины как раз в это время начинались выпускные экзамены, а потом и вступительные, и, несмотря на ее настойчивые просьбы, Валентина Георгиевна роли ей не дала. Партнершей Владимирцева стала Нюра Астахова, разделочница с рыбзавода, девушка некрасивая и, как сперва показалось Виктору, весьма глуповатая. Но это впечатление сложилось от ее прежней роли, на самом же деле Нюра оказалась умной и безусловно одаренной, а главное, очень контактной. Видимо, ощутив антинастрой Виктора, она сначала послушно и терпеливо шла за ним до тех пор, пока Виктор не почувствовал, что он и сам не знает, куда ее вести дальше. И когда он приостановился в нерешительности, Нюра пошла сама, он неохотно, будто по инерции, потянулся за ней, а потом уже старался не отставать от нее.

И когда на него вновь обрушились аплодисменты, он отнес их опять же не на свой счет, а переадресовал очередному случаю, сведшему его с мудрой и талантливой Нюрой только потому, что у Марины в это время были экзамены.

Ко всем прочим талантам у Нюры был еще и голос, его Валентина Георгиевна обнаружила за кулисами, когда Нюра, перседеваясь, что-то напевала.

— А ну-ка, еще раз! — представ перед Нюрой, потребовала Валентина Георгиевна.

Нюра испугалась, но повторила.

— Теперь хуже! — разочарованно отметила Валентина Георгиевна и спросила: — А почему?

Нюра подумала и предложила:

— А вы уйдите куда-нибудь. А то я вас боюсь, оттого и... робею.

— Хорошо. Продолжай, — согласилась Валентина Георгиевна и ушла в ближайшую кулису.

— То-о не ве-е-тер ве-етку кло-нит, не-е ду-убра-вуш-ка шу-ум-ит, — затянула было Нюра, но тут же оборвала себя: — Нет, Валентина Георгиевна, не могу так. Вы уж совсем уйдите, а то я вас чувствую и все еще робею.

Валентина Георгиевна послушно перешла в более дальнюю кулису, и Нюра опять затянула:

— То-о не ве-е-тер ве-етку...

И надо же было, чтобы именно в это время вошел Виктор и подтянул:

— Не-е ду-убра-вуш-ка шу-ум-ит...

Когда они с Нюрой допели песню до конца, из-за кулисы вышла Валентина Георгиевна и, похлопав в ладоши, воскликнула:

— Bravo! Мо-лод-цы! — Сделав паузу, озабоченно сказала: — Однако петь вы не умеете! Витя, не знаю, есть ли у тебя верхнее «си», но в дуэте ты его не берешь. По-моему, слишком стараешься, потому и не берешь. А ну-ка, отпусти дыхание!

Вот тут-то он и выяснил, что не только ходить, а и дышать не умеет.

И Валентина Георгиевна стала учить их с Нюрой дышать. И начались бесконечные: «и-и-и», «а-а-а», «о-о-о», пока Валентина Георгиевна их с Нюрой «распевала». А потом шли по тексту — всего два куплета, но тогда они еще не знали, что Валентина Георгиевна на этих двух куплетах уже замесила тесто будущей оперетты и оттого так страстно кричала:

— На своей ноте дыхание не трогай. А верхнюю ноту бери коротким дыханием. Ключичным. Ах, не знаешь, что такое «ключичное»? Вот, слушай.

И Валентина Георгиевна вдруг выдала такое, что они с Нюрой обалдели.

Они и не подозревали, что Валентина Георгиевна потому и выдала, что увидела в них надежду на осуществление своей давней мечты — создание музыкально-драматического театра.

А Марина между тем первый же экзамен у той самой математички, только что вышедшей замуж, едва вытяну-

ла на тройку. Остальные, правда, сдала все на пятерки, но это уже ничего не меняло, в институт все равно пришлось вместо одного сдавать все экзамены. Как раз в этот год в институте культуры открывался актерский факультет, объявили творческий конкурс, но из-за неосведомленности претендентов оказалось не так много, и Марина преодолела этот конкурс легко.

— Теперь твоя очередь,— сказала она, показывая Виктору новенький, еще пахнувший типографской краской студенческий билет.

— Но, насколько мне известно, туда берут только после десятилетки. А у меня всего девять классов. И еще — творческий конкурс.

— Ну, за конкурс ты не волнуйся, а вот со школой... Может, в вечернюю?

Это начисто ломало все планы Виктора. Правда, на плавбазе крабоволовной флотилии работала заочная школа, но как быть с театром? Если у него нет призвания, то можно и театр бросить. Но тогда какой же смысл поступать на актерский факультет? А если не поступать, то зачем этот аттестат зрелости? Пальто для матери сейчас куда нужнее. Так что же бросать?

И он решил бросить... курить. Тридцать пачек «Примы» в месяц не ахти какая сумма — всего четыре двадцать. Но если еще и четыре воскресенья на товарной железнодорожной станции по червонцу за каждое — это почти ползарплаты еще. Плюс — здоровье. А главное — останутся и школа, и театр, и... Марина. Ей-то эту арифметику знать незачем.

Недовольной оказалась Валентина Георгиевна:

— Как это всего два вечера в неделю? А репетиции? Я же тебе такую роль предлагаю!

— Не возьму я эту роль, мне школу закончить надо.

— Надо,— согласилась Валентина Георгиевна и вздохнула: — А жаль!

— Чего жаль-то?

— Тебя! И роль. Ну да ладно, учись. Однако от текущего репертуара я тебя не освобождаю и двойника не дам!

— Ну уж с текущим-то я как-нибудь справлюсь.

— Вот-вот. И на том спасибо.

А текущий репертуар поглощал как раз те два свободных вечера, что оставались от школы и вокзала. Правда, к весне Валентина Георгиевна все-таки приго-

товила ему двойника, но тут начались экзамены. Сдал их Виктор хорошо, не сомневался, что и вступительные в институт сдаст не хуже, а за успех на творческом конкурсе Валентина Георгиевна абсолютно ручалась.

И напрасно!

К тому времени актерский факультет просуществовал в институте уже год, и количество абитуриентов возросло в двадцать четыре раза. Учиться «на актера» ринулась добрая половина выпускников школ не только города, а и близлежащих областей, и творческий конкурс начал стремительно перерождаться в конкурс влиятельных пап и знакомых. Служители муз, не терпящие суеты, стали поспешно воздвигать плотину, чтобы приостановить этот бурный поток, но у них еще не было опыта возведения прочных гидросооружений, и плотину то и дело прорывало то в одном, то в другом месте. И пока служители пытались залатать то один, то другой проран, кто-то заполнил списки, и служители вкупе с абитуриентами лишь слегка помахали кулаками после драки.

Но двое оказались на редкость настырными и снова полезли в драку, правда уже не в толпу, а в инстанции. Один из них был деканом актерского факультета, присланным из Москвы и еще недостаточно ощутившим влияние местного климата, другой — безоглядно категоричная Валентина Георгиевна Озерова. Лишь к середине учебного года им удалось добиться, чтобы Владимирцева в институт приняли. Но — вольнослушателем.

Виктора это устраивало даже больше, чем если бы его приняли студентом. Он мог посещать только те лекции и занятия, которые нужны были ему, остальное постигал самостоятельно и гораздо быстрее, чем другие студенты. Во всяком случае, к началу четвертого курса он уже догнал Марину, институт они окончили вместе и сразу же поженились. Но при распределении он не получил назначения, пришлось вернуться к Валентине Георгиевне в народный театр и подыскивать работу, ибо на зарплату Марины, получившей место в труппе областного драмтеатра, прожить было трудно. Правда, к тому времени закончила школу старшая из его сестер и тоже помогала матери.

И теперь институтский диплом только мешал. С дипломом ни в такелажники, ни в дворники, ни в кочегары не брали, а предлагали должности, которые могли занять лишь люди с высшим образованием. Но должности эти оплачивались по слишком низким ставкам, а устраи-

ваться по совместительству — значило оставить даже народный театр.

Но тут опять помогла Валентина Георгиевна. Когда стали формировать Верхнеозерский театр, она порекомендовала Виктора, и его приняли в труппу. Вскоре туда перевелась и Марина, им сразу дали комнату, хотя и в общей квартире, но все-таки свою. Казалось, все складывается хорошо. Но особенность этого театра заключалась в том, что он формировался из энтузиастов одного выпуска ГИТИСа, труппа давно сработалась, а Виктор и Марина оказались «варягами», их выпускали лишь в массовках и на второстепенных, зачастую бессловесных ролях. И сентенция о том, что маленьких ролей не бывает, слабо утешала.

И неизвестно, сколько бы все это продолжалось, если бы в труппе не появился Иван Сергеевич Порошин. Он-то и настоял, чтобы Виктору дали роль Незнамова, в которой и увидел его впервые Степан Александрович Заворонский. С тех пор прошло четыре года, и эти годы были для Виктора, может быть, самыми главными в жизни. Именно они определили его дальнейшую актерскую и человеческую судьбу.

Когда в театр пришел главным режиссером Светозаров, у Виктора и была-то всего одна эта крупная роль. Но вот Светозаров дал ему другую роль, третью, четвертую. И все разноплановые: то «трагического» любовника Дон Хуана из комедии Кальдерона «С любовью не шутят», то пожилого и степенного Родиона Николаевича в арбузовской «Старомодной комедии», то крупного ученого Ниточкина в спектакле по сценарию Габриловича «Твой современник».

Виктор жаловался Порошину:

— Но это же не мое амплуа, я не умею, я просто заваляю роль!

— А ты постарайся не завалить. Неужели тебе не интересно попробовать себя и в такой роли?

Виктор не догадывался, что именно Порошин и посоветовал Светозарову основательно покатать Владимирцева почти во всех амплуа, чтобы выявить его потенциальные возможности, проверить их на зрителе. Как всегда, театр много гастролировал, и в местных газетах о нем часто писали. И не только газетчики, а и профессиональные критики стали отмечать самобытность и разносторонность таланта Владимирцева, умение быстро войти в образ. И тотчас в труппе у Виктора появились завист-

ники. К сожалению, среди них оказались и талантливые актеры, которых Виктор не только уважал, а и многому учился у них. Он видел, как они играют в тех же ролях, и порой, искренне восхищаясь ими, не понимал, почему зрители предпочитают его, Владимирцева.

Иногда у зрителей вызывал чуть ли не восторг какой-нибудь его жест, но сам Виктор просто не знал, откуда он взялся, этот жест, он его не «нарабатывал», просто считал, что так и должно быть. Иногда он видел его у кого-то из знакомых или наблюдал где-нибудь на улице, в автобусе, в магазине. Тогда он и не пытался его запомнить, а вот сейчас он почему-то всплыл в памяти и оказался естественным. Но чаще всего жест или интонация возникали не от наблюдения и воспоминания, а от образа героя, о котором Владимирцев всегда знал немного больше, чем о нем написал автор.

Нет, вряд ли он каждый раз лепил персонаж сознательно. Просто он мысленно ставил не себя, а именно героя, которого играл, в обстоятельства пьесы и начинал жить его жизнью, думать и чувствовать, как он. Именно тогда начинали возникать какие-то детали поведения, штрихи характера, интонация и жесты, которые так поражали зрителя своей правдивостью. И скажи, что он их не подсмотрел, а угадал интуитивно, вряд ли кто поверил бы. Однако это было именно так.

Но нередко приходилось кроме интуиции употреблять и трезвый расчет, выверять линию поведения героя чуть ли не с математической точностью.

Особенно долго и мучительно пришлось работать над Ниточкиным. Чтобы не быть похожим на Николая Сергеевича Плотникова, игравшего эту роль в кино, Виктор решил снять эксцентричность Ниточкина. Но что-то надо найти взамен, иначе образ просто разваливается. А что найти? Сколько бессонных ночей провел Виктор, чтобы найти иной ключ к раскрытию этого образа.

Однако все роли были сыграны, с разным успехом, но все-таки успехом, и Виктор постепенно, но прочно утвердился как ведущий актер театра, к нему пришла если уж не громкая слава, то популярность, во всяком случае.

И вот теперь все это надо было бросать и практически начинать сначала. Конечно, не где-нибудь, а в столичном академическом театре, но там в ближайшие годы нечего и надеяться на более или менее приличную роль. К тому же Марине место в театре не обещают, значит,

она должна принести себя в жертву его сомнительной карьере. Смеет ли он даже предложить ей это?

Но Маринна откуда-то уже узнала о его разговоре с Заворонским и решительно заявила:

— Не вздумай отказываться! Такой шанс бывает раз в жизни.

— А как же ты?

— Да что я, в Москве работу не найду? Там же столько театров. А может, и не в театре. Знаешь, я ведь актриса-то никудышненькая. А у тебя — талант.

— Ты, как всегда, преувеличиваешь.

— Нет, Витя, я в этом твердо убеждена, — действительно твердо уверяла она.

— Но ведь мы здесь обжились, привыкли, да и к нам привыкли. И не поздно ли все начинать сначала? — усомнился Виктор.

— Нет, это даже интересно.

— А пищать не будешь, котенок?

— Ты все-таки плохо меня знаешь. Я гораздо сильнее, чем ты думаешь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Ежегодно труппа театра пополнялась четырьмя-пятью новичками, и появление Виктора Владимирцева не вызвало заметной реакции столичных актеров. Пока в нем не видели конкурента, и большинство относилось к нему с тем покровительственным вниманием, с каким относятся к любому новичку. Шел он на вторых ролях, чаще по замене, первое время в чем-то копируя основных исполнителей, внимательно выслушивал их снисходительные советы и замечания, партнеры его не очень старались тянуть на себя, давая ему возможность играть в привычной для них манере. Помня совет Заворонского поначалу «не высовываться», он терпеливо приглядывался ко всем и вся. Но иногда непроизвольно выходил и за рамки этой программы, что неизбежно расценивалось и пресекалось как недопустимое самовольство, а порой вызвало и откровенные намеки на его «провинциальность».

Впрочем, в этих намеках была и доля правды. Виктор и сам чувствовал, насколько высок здесь, в столице, по

сравнению с Верхнеозерским профессиональный уровень, и объяснял это не только школой и более высокой актерской квалификацией, а и тем, что спектакли здесь обкатывались годами, между тем как в Верхнеозерске держались в репертуаре в лучшем случае один-два сезона. Привыкший работать с перегрузкой, он сначала даже позавидовал столь легкой жизни столичных актеров.

Но вскоре это заблуждение развеялось, Владимирцев понял, что тут требуют не просто большей отточенности фразы, жеста, интонации, а и более глубокого постижения образа, не терпят даже малейшей приблизительности в его трактовке. Это требует размышления, вынашивания, а оно происходит меньше всего на сцене, оно пребывает в тебе всегда и всюду: на улице, в трамвае, в часы одиночных ночных бдений, когда появляется единственная возможность максимально сосредоточиться.

Даже репетиции здесь проводились иначе, чем в Верхнеозерске. Там сначала артисты несколько дней читали пьесу за столом. После этого начиналась разводка, когда актеры с тетрадками в руках передвигались по сцене.

Здесь все было иначе. Уже на первой читке режиссер требует от актера объяснить, что он делает в данной сцене, найти не только идею в каждом эпизоде и логику поведения героя, но и выстроить последовательную цепочку физических действий. К четвертой или пятой репетиции подаются реквизит, бутафория, все нужные в данной сцене предметы. Режиссер настойчиво требует все более углубленного понимания драматургического материала.

Но иногда более тяжелым в работе актера бывает не сам драматургический материал, а поиск взаимодействия с партнером, особенно знаменитым. А здесь их было немало, и порой становилось невероятно трудно выдержать их натиск. Они и зрителя-то приводили в трепет, но зритель сидит в зале, а ты тут, рядом с ними, по-настоящему большими актерами. Если сумеешь преодолеть робость, почти несокрушимую магию влияния их имени, то с ними играть вроде бы и легче. Но настолько же и труднее, ибо все время ощущаешь особую ответственность не только перед зрителем, а и перед ними.

Заворонский понимал, что игра на замене, на срочных вводах для Владимирцева отнюдь не благо. Степан Александрович на последнем курсе школы-студии и еще года два, будучи уже в труппе столичного театра, работал на замене и знал, что это такое.

Допустим, заболел кто-то из актеров. Возникает дилемма: или отменять спектакль, или срочно вводить нового исполнителя. Но отменить спектакль — значит, во-первых, нанести театру большой финансовый урон, а во-вторых, вызвать справедливое негодование зрителей. А они уже потратили несколько часов на прическу, на дорогу, отменили ранее назначенные встречи, отложили срочные дела, чтобы посмотреть именно этот спектакль.

Вот тут и начинается паника. При всем том, что театр умеет эту панику хорошо изображать, он бывает перед паническими обстоятельствами настолько же и бессилён. Ибо опытных актеров, свободных от спектакля, редко удастся отыскать: у них всего один выходной, и они почему-то предпочитают использовать его по своему усмотрению. Пенсионеров застанешь в городе только зимой, летом они уезжают на природу возмещать многолетнее с нею разобщение. Остаются молодые актеры или студийцы, и то если у театра есть собственная студия. Даже при наличии таковой срочно просматриваются списки студийцев и перед двумя или тремя фамилиями проставляются спасительные галочки. Затем следуют звонки. Нет одного, второй неизвестно где и когда будет, вся надежда на третьего. Но и его нет! Тогда снова читают списки, ставят еще две галочки (не бог весть что, но с надеждой). И опять одного нет. И только самый последний из не бог весть что отвечает.

В лучшем случае ему даются одна-две репетиции, а чаще всего обходятся и без них. Наспех подбираются костюм, грим, парик. Поскольку молодой актер не знает текста или после студийных экзерсисов начисто забыл его, сажают в «раковину» суфлера, и тот зловеще (его тоже едва отловили) шепчет этот текст; одновременно режиссер разводит по мизансценам, высказывает какие-то, может быть, и умные предложения и советы, но предназначенные явно не для новичка, а для заболевшего актера. А этот их не понимает, его сбивают с толку предназначенные не для него советы, как мешают гример, мебель, реквизит. А завпост требует, чтобы он сдвинулся на полметра вправо. Ошеломленный, он не знает, кого слушать, за что браться, с чего начинать и вообще зачем он тут. У него вертится в голове и повергает его в ужас всего одна мысль: «Завтра спектакль, а роли я совершенно не знаю, не представляю, как держать себя на сцене. Провалюсь один раз и — каюк — другого уже не будет!» — обреченно думает он.

Сколько это ни странно, однако всякий раз все как-то обходилось, но ни об искусстве, ни о режиссерском замысле, ни о великих театральных традициях, ни даже об элементарной актерской этике никто не думал. Но все радостно поражались, что молодой актер не провалился, что у него хватило сил не только дотянуть спектакль до финала, а и сорвать аплодисменты, и основные исполнители, к удивлению своему, трижды выходили на поклон, в то время как молодой актер, не веря в свой успех, стоял в кулисе и беззвучно плакал.

За три года работы на замене в каких только амплуа каких только возрастов не приходилось Заворонскому выступать! Случалось, что сегодня он исполнял роль молодого агронома, а завтра уже играл ведьму в «Макбете», через день — дряхлого генерала в «Дачниках», вскоре Гришку Редозубова в «Варварах», затем лорда в пьесе Уайльда, потом забулдыгу Баркина в «Иванове». И все это были роли, и роли немалые!

Его искренне хвалили не только руководство, а зачастую и большие актеры:

— Ты, Степа, растешь прямо-таки не по дням, а по часам. В театре без году неделя, а уже выходишь на такие роли. Да ведь в нашем театре и бессловесный выход, стояние целый акт с подносом на сцене — уже большое доверие. А ввод?! Да еще на ро-оль!

Эти похвалы не просто льстили его самолюбию, а и обнадеживали. Они уверили Заворонского в том, что он переживает время наиактивнейшего творческого роста, пребывает где-то на взлете.

Как знать, может, он так и остался бы актером на вводах, если бы не один случай...

В выходной день он пригласил одну из своих многочисленных юных поклонниц в парк культуры. Почти весь день они катались на лодке, крутились на карусели, ели мороженое и даже пили шампанское и пиво. Видимо, от этой смеси у Степана разболелась голова, он раньше обычного проводил девушку домой и в общежитие, где он так и жил со студенческой поры, шел с твердым намерением сразу же завалиться спать.

Но едва он вошел в подъезд, как вахтерша накинулась на него.

— Где же ты, Степка, пропадал? Тут весь телефон оборвали, тебя везде ищут. Звони в театр!

Он позвонил и услышал сначала облегченный вздох помрежа, а потом уже слова:

— Господи, наконец-то! Слушай, Степушка, голубчик, выручай!

Степан уже понял, что речь пойдет об очередной замене, не удивился и спросил:

— Кого заменять?

— Хромова. У старика прострел, не может не то что встать с постели, а даже разогнуться, а у него завтра и утром и вечером спектакли. И директор, и главреж, и я — все сошлись на тебе, только ты и можешь выручить. Замени, голубчик!

— В обоих спектаклях?

— Да уж так, дружок, ничего иного не получается, никого больше нет. Утром сыграешь Гаврилина в «Карточном домике», а вечером — Косых в чеховском «Иванове». Пьесы-то, надеюсь, читал?

Пьесы Заворонский читал еще в студии, но ни один спектакль с Хромовым не успел посмотреть и откровенно в этом признался.

— Как же так, голуба? — удивился помреж и упрекнул: — Уж то, что мы у себя ставим, надо обязательно смотреть.

— Не успел, потому что я параллельно в массовках был занят.

Помреж великолепно знал об этом и спорить не стал.

— Ну ладно, зато теперь роли сыграешь. Роли! Ты должен оценить такое доверие.

— Я понимаю, но как же я сыграю сразу две роли в один день?

— А ты сыграй! Старик-то Хромов играл же. А ты же почти на полвека моложе.

— Но ведь он занят в них столько лет...

— Сыграешь. Не боги горшки обжигают. Разумеется, тебе помогут. Ассистенты разведут.

— Когда же они разведут-то? — спросил Заворонский, произведя в уме несложные арифметические подсчеты.

— Да прямо перед спектаклем и разведут. Репетиций, конечно, не получится, придется с ходу. Пьесы-то у тебя под рукой есть?

— «Иванов», кажется, есть, а «Карточного домика» нет.

— Возьми в библиотеке.

— Так ведь она уже закрыта.

— Ах, да, уже поздно! Ну, ладно, учи Косых, а на утренний спектакль приходи пораньше, часа за два.

Правда, там роль Гаврилина по всем трем актам, на память не схватишь. Что же, придется под суфлера. Да и грим будет тяжелый, он ведь старик, семьдесят пять лет... Ну, ничего обойдется. Так что договорились? Впрочем, иного выхода нет. До завтра!

Отыскав томик Чехова, Заворонский бегло просмотрел роль и ужаснулся. Оказывается, этот Косых — старая развалина, заядлый картежник и законченный ту-неядец. Отсюда — специфическая карточная лексика, невыносимые аллегории, сногшибательные эпитеты, какие-то истерические междометия. Он всегда куда-то спешит, весь взопревший, невыспавшийся (только это и будет кстати), плаксивый.

Заворонский, вспомнив, кто занят в этом спектакле, обнаружил, что партнеры у него — в основном маститые актеры, на ролях этих сидят уже несколько лет. «Наверняка будут тянуть, а я и текста-то как следует не знаю — под суфлера буду играть».

Вот это было, пожалуй, самое неприятное, потому что под суфлера Заворонский не умел, привык учить роли наизусть. Он считал, что роль, даже сделанная блестяще, но державшаяся на суфлерской подсказке, — антипрофессиональная халтура, балаган, надувательство. И сейчас, не желая изменять своим принципам, взялся учить роль. Впереди была целая ночь, а его актерская память достаточно натренирована. Вот только голова трещала после адской смеси пива и шампанского.

«Но ведь на утреннем спектакле играть-то мне не Косых, а Гаврилина! Выходит, выучив сейчас роль Косых, утром я должен буду начисто отбросить ее, забыть напроочь. Как же быть?» — с ужасом думал он, разжевывая сразу три таблетки пирамидона, добытые из неприкосновенных запасов многоопытной вахтерши общепита.

И все-таки роль он выучил и утром, приняв душ и выпив пол-литровую кружку крепкого чая, пошел в театр. Пришел туда ровно в девять. Помреж был уже на месте и вручил ему пухлую потрепанную тетрадку с ролью Гаврилина. Заворонский глянул на последнюю страничку, увидел цифру 26, и в глазах у него пошли разноцветные круги.

— Что с тобой, голубчик? — встревожился помреж. — Ты не болен?

— Нет, но, кажется, я вам сегодня наиграю! — пообщал Степан.

— Только посмей! — пригрозил помреж. — Иди-ка лучше примерь костюм.

Костюм, сшитый на Хромова, оказался Заворонскому слишком короток и узок. Костюмеры долго рылись и наконец подобрали латаную-перелатаную, но модную в то время желто-зеленую трикотажную футболку, парусиновые туфли, засаленные кавалерийские галифе с кожаным задом и наколенниками и пальто, вывернутое драпой подкладкой наружу.

Потом за дело принялась гримерша. Для придания возраста молодому лицу Заворонского она настригла коротеньких волос, намазала лаком подбородок, верхнюю губу, скулы и горло и наклеила эти волосы, чтобы создать впечатление щетинистости.

Эта щетинистость потом дорого обошлась Заворонскому. Уже в первом акте от чрезмерного волнения и напряжения он вспотел, щетина начала отставать от лица и осыпаться за ворот. По всему телу распространился невыносимый зуд, от которого к концу спектакля, как потом выяснилось, у Степана даже подскочила температура. Но спектакль шел хорошо, никому из зрителей и в голову не пришло, что творилось с актером, с этим чесоточным Гаврилиным. Оказалось, что отлипшая щетина очень даже сыграла на внешний рисунок образа. И никому, разумеется, было невдомек, что уже к концу второго акта Степан, убедившись в том, что Гаврилин у него состоялся, начал потихоньку перерождаться в Косых.

Роль Косых, хотя и небольшая по погонному листажу, очень трудная, поэтому ее обычно исполняли самые опытные актеры, такие, как Хромов, знаменитые, со званиями. И партнеры их были тоже в раггах, а главную роль Ив́анова на этот раз исполнял сам главный режиссер. По своему служебному положению, а может, по инерции, он распорядительно, умело и тонко тянул весь спектакль на себя.

Когда в антракте прозвучал первый звонок и зрительный зал вновь начал заполняться, ассистент за занавесом все еще водил Заворонского по сцене, на ходу наставляя:

— Не вздумай сесть вот на этот стул, он предназначен вовсе не для тебя. Ни в коем случае не подавай руку Барсову, запомни, что ты с ним в ссоре.

Тем временем реквизиторы цепляли на нос Степану стальное пенсне, совали замусоленную колоду карт, карманные часы-луковицу, трость с набалдашником. Прохо-

дивший мимо Ива́нов-актер, он же главный режиссер театра, тронул Заворонского за плечо и строго предупредил:

— Ты вот что: больше не чешись! — И удалился в артистическую, чтобы сосредоточиться перед выходом во втором акте и заодно выпить сельтерской.

Заворонскому сосредоточиваться было уже некогда, он старался запомнить, где надо остановиться, с кем расцеловаться, а кому демонстративно не подать руки. Мешал ассистент, он все настаивал:

— Главное, Степа, не медли, все должно идти в темпе, центростремительно, тебе все время некогда, ты как вконец загнанный заяц.

На протяжении всего спектакля Заворонский и в самом деле чувствовал себя загнанным зайцем, и это опять же оказалось кстати. После спектакля все его поздравляли и удивлялись, как это ему удалось обе роли, а он еле держался на ногах и, даже не освободившись от грима, едва доплелся до общежития.

На следующее утро на доске объявлений висел приказ с объявлением благодарности артисту Степану Заворонскому. Но у него уже лежало в нагрудном кармане заявление об уходе. Он решил принять приглашение одного областного театра, где ему обещали первые роли.

Конечно, его не отпустили, а дали наконец-то роль, с которой он и пошел, если бы не посадил голос.

Позже, став режиссером, и еще позже, когда стал главным режиссером, Заворонский особо заботился о том, чтобы в театре был сильным не только первый, а и второй состав, ибо актеры болели и будут болеть, их и впредь придется заменять, но делать это надо, щадя не только их самолюбие, а и талант. Или хотя бы пределы их физических возможностей.

И сейчас он искренне жалел Владимирцева, но Виктор неминуемо должен был пройти этот тяжелый этап: и для себя, и для общественного мнения. А мнение это все еще оставалось предвзятым.

2

Лихорадочные вводы для Владимирцева усугублялись еще столь же лихорадочными и пока безуспешными поисками квартиры или хотя бы какой-нибудь пусть захудалой, но отдельной комнатенки. На квартирной толкучке возле Черемушкинского рынка предлагали сколь-

ко угодно углов, комнат и даже отдельных квартир, однако тотчас отказывали, когда узнавали, что у него полуторогодовалый сынишка. Если бы у него была собака или даже крокодил, ему сдали бы и квартиру, но ребенок, да еще и полуторогодовалый, был для хозяев прямо-таки стихийным бедствием, ибо представлял страшную угрозу для полированной мебели. Три с лишним месяца Владимирцевы жили в разных гостиницах, что окончательно сокрушило их семейный бюджет, если еще учесть, что Марина пока не работала, поскольку без постоянной прописки ее никуда не принимали.

О своих мытарствах Виктор никому не рассказывал: в конце концов, он сам пошел на эти лишения. Заворонский ему ничего не обещал, более того, еще в Верхнеозерске предупредил, что в ближайшие годы на жилье рассчитывать нечего.

Марина, как и обязалась, не пицала, а молча сносила все обрушившиеся на них невзгоды, подавляя в себе находившее порой раздражение. А Виктор замечал его и страдал от этого более, чем от всех прочих неудобств и неприятностей.

Видимо, его взвинченность каким-то образом отразилась и на работе. Его партнерша по очередной роли Антонина Владимировна Грибанова заметила однажды:

— Для этой роли вам не хватает внутренней уравновешенности. Я чувствую, что вам приходится бороться с собой. У вас что-то случилось?

— Нет, ничего не случилось.

— Ну, меня-то вы не обманете. Ну-ка, признавайтесь! — решительно потребовала Антонина Владимировна.

Пришлось признаться.

— Что же вы об этом раньше не сказали? — упрекнула Грибанова.

— А зачем?

— Ну хотя бы затем, что как раз я-то и могу вам помочь. У меня есть комната, в которой я практически не живу. Правда, там очень шумно, собственно, из-за этого я и перебралась к сестре. А вы пока и там перебьетесь, все-таки лучше, чем ничего.

После репетиции она повела его смотреть комнату.

Еще в начале двадцатых годов весь первый этаж этого старого двухэтажного дома на Плющихе был отведен

под общежитие пекарей. В нем было двенадцать комнат, в каждой вначале жило по три-четыре человека. Потом кто-то женился, кто-то вышел замуж, пошли дети, и к концу тридцатых годов население общежития увеличилось почти вчетверо. Миграция его была ограничена в основном территорией внутренней, кто-то просто перебирался из одной комнаты в другую. В результате многоходовых комбинаций отдельно стали размещаться холостяки и семейные, пока не начало приносить приплод очередное поколение. Тут уж никакие комбинации не помогли, в каждой комнате оказалось по две, а то и по три семьи, отделенных ситцевыми занавесками и самодельными фанерными ширмами.

В середине пятидесятих годов, когда началось массовое жилищное строительство, некоторые многодетные семьи получили квартиры, опять произошло великое переселение народов, в результате которого Грибановы получили отдельную комнату. В начале семидесятых годов, когда почти одновременно умерли родители Антонины Владимировны, комната осталась за ней.

Это была довольно большая угловая полукруглая комната с тремя огромными витринными окнами — говорят, когда-то здесь размещалась булочная. Тротуара возле дома не было, и поэтому казалось, что весь уличный транспорт проходит прямо через комнату.

— Вот почему я и не могу тут жить,— пояснила Антонина Владимировна.— Пыталась обменять хотя бы на малюсенькую, но никто переезжать сюда не соглашается. К тому же в квартире на сегодняшний день все еще проживает сорок два человека. Если это вас устроит, живите.

— Спасибо, Антонина Владимировна! — от души поблагодарил Виктор.— Признаться, я уже и не мечтал об отдельной комнате.

— Ну, мечтать тут не о чем, а теперь при большой нужде и это можно. Вот ключи. В коридоре висит график уборки мест общего пользования, примерно раз в два месяца вам придется этим заниматься. Несмотря на большую скученность, здесь поддерживают почти идеальную чистоту.

Только когда вышли на улицу, Виктор осмелился спросить о плате.

— Да вы что, какая плата! — возмутилась Антонина Владимировна.— Я же вам ее не сдаю, а приглашаю.

И не заикайтесь. Вот за свет и за газ будете вносить в общую казну, а остальное я сама оплачу.

— Но мне, право же, неудобно...

— Перестаньте! Может, жене вашей и не понравится еще...

3

Но Марина была в восторге. Ее не смущали ни страшный шум и грохот за окнами, ни толкотня в кухне, ни очереди в туалет по утрам. По натуре общительная, она не только быстро сошлась с соседками, а даже нашла среди них одинокую старушку, согласившуюся домовничать и приглядывать за Сережкой. Через два дня Марина уже устроилась работать диктором на радио.

Поскольку пекари работали в три смены, то жизнь в квартире не затихала ни на минуту. Круглосуточно на кухне гремели кастрюли и сковородки, а в коридоре по обшарпанному столу смачно шлепали донельзя засаленные карты. Пекари обожали играть в петушка и в девятку, они сражались денно и нощно, одна смена уходила на работу, ее место занимала другая. За стол садились прямо в нательных рубашках и малиновых кальсонах (пекари почему-то предпочитали именно этот цвет) и в выражениях не стеснялись, хотя тут же крутились дети.

В дни авансов и получек пекари сбрасывались по рублишку или по два, звали дворника дядю Петю, и он играл на балалайке. Иногда чуть не до рассвета пели старинные протяжные песни, но чаще всего дело кончалось всеобщей потасовкой. Поэтому в дни зарплаты в коридоре неотлучно находился участковый Леша и, если события развивались мирно, тоже играл в петушка. Поскольку в квартире почти все успели переродниться, то Леша был непременным гостем на свадьбах, поминках и крестинах, которые тоже отмечались исправно, хотя крестить давно уже перестали, да и песни пошли какие-то торопливые, дерганые. Впрочем, Леше они нравились.

Главной опорой Леши в квартире была «комендантша» Дуся. Лет тридцать назад она действительно была комендантом общежития, но потом должность эту упразднили, однако за Дусей остались все прежние права. Она собирала деньги за свет и за газ, вела график дежурств, следила за чистотой и порядком. В отличие от Леши она не старалась растащить дерущихся, а сама раздавала им такие оплеухи, после которых редко кто из мужиков мог устоять на ногах. Комнатка ее была от входа первой по

левую руку, на двери ее еще сохранилось квадратное комендантское окошечко. Правда, теперь оно было густо замазано коричневой краской.

...Но если Дуся представляла собой чисто административный орган, то всю духовную власть в квартире держал ее патриарх — дед Кузьма. Говорят, когда-то и он был весьма разбитным мужиком, но после двух инфарктов остепенился и обнаружил склонность к овощной диете и философии.

— Живем — как трава. Дожжик есть — растем, нету дождика — чахнем, — утверждал он. При этом невозможно было понять, что он имел в виду, а когда допытывались, отмахивался: — Не по твоим зубам это. Однако не так живем.

— А как надо?

— Кабы знать, — тоскливо и недоуменно вздыхал Кузьма и еще более убежденно утверждал: — А только не так.

Несмотря на столь явную неопределенность его суждений, к нему прислушивались, а иногда и прямо советовались в житейских делах.

— Слышь, Кузьма, может, мне Кольку-то в техникум отдать? Куда уж ему в институт, школу-то еле на тройки вытянул.

— А што школа? Школа — она и есть школа. А у Кольки — голова.

И, к удивлению всех, Колька все вступительные экзамены сдал на пятерки.

— Ты, Наталья, поменьше пили Вовку-то, — неназойливо наставлял Кузьма молодуху. — Характер у тебя, конечно, поганый, но постарайся пересилить себя. Вовка оттого и закладывал стал, што ему домой идти не хочется, слушать тебя тошно.

Неделю Наталья пересиливала себя, и неделю Вовка не пил. Правда, на больший срок Натальи не хватило, и дед Кузьма предсказал:

— Не будет у вас жизни, помани мое слово.

Не прошло и месяца, как Вовка ушел жить к матери, а вскоре женился на другой и, говорят, счастлив.

Однажды Владимирцев дал деду Кузьме контрамарку на новый спектакль.

— Ну как, понравился? — спросил деда в тот же вечер.

— Кхм! — уклонился дед, будто бы прочищая горло.

Но в горле у него и без того было чисто, и, заподозрив, что Виктор об этом сразу догадался, Кузьма стал уводить разговор в сторону: — Надысь Дуська велела в сенках прибрать, дак я пойду.

— Да ведь я не об этом! — Виктор удержал его. — Я же о спектакле.

— А-а,— протянул Кузьма и, убедившись, что разговора уже не избежать, неохотно признался: — Если вправду, то даже и красиво. А пустячок! Поглядел и забыл. Это не про жизнь, а так, возля жизни. Мусорят разными словами, а для чего?

Пьеса и в самом деле была пустяковая, обо всем понемногу и ни о чем глубоко. И Виктор с Кузьмой был вполне согласен.

— А как Антонина Владимировна?

— Тошка-то? Тошка она и есть Тошка, однако и ей там не выделили хорошего места.

И это было тоже верно, Антонина Владимировна сама жаловалась Виктору, что не может понять, для чего эту пьесу ставят, ибо за конъюнктурной темой пьесы не просматривается ни одного достойного характера.

Однако Кузьма не осудил ее за то, что она согласилась играть в этой пьесе.

— Работа она и есть работа. Сегодня по душе, а завтра обрыдлая, сегодня пышки, а завтра шишки. А Тошка... Она, брат, особостатейная. Вот ведь дал же бог! А, кажись, откуда все взялось? Отец с матерью такие же пекаря, как и мы, были, а она из чего все взяла?

— Талант.

— То-то и оно, что талант! А вот почему зарплата у нее меньше, чем у пекаря?

Вот этого Виктор не мог объяснить. Кузьма, убедившись, что тот все равно не объяснит, вздохнул:

— Что-то неладно у нас с этим делом.

Дед Кузьма был для всех обитателей пекарного общежития не только добродушным и рассудительным советчиком, а иногда и строгим судьей.

Как-то кондитерша Настя вынесла за пазухой десяток яиц. Но в автобусе ее притиснули, и она «потекла». Прибежав домой, начала было в кухне выгребать остатки яиц, но тут явился дед Кузьма, хмуро оглядел ее и крикнул в замазанное коричневой краской окошечко:

— Дуська, созывай-ко народ.

А народ, уже прослышавший о Настинном конфузе, и без зова набивался в кухню. Настя, поспешно застегнув кофту, хотела было улизнуть, но дед схватил ее за руку, вывел на середину кухни и сурово сказал:

— Вот тут и стой!

Окинув всех пристальным взглядом, дед Кузьма так же сурово спросил:

— Видите?

Кто-то хихикнул в углу, но дед сердито зыркнул туда и гневно рявкнул:

— Цыть!

Все сразу притихли, выжидательно глядя на Кузьму. А Настя как-то вдруг съежилась, будто ожидая, что ее ударят. С нее капало, и в наступившей недоброй тишине капли звонко шлепались о линолеум.

— Тьфу, какая страмотища! — сплюнул Кузьма и снова обвел всех суровым взглядом. — Такого заведения у нас даже в войну не бывало. Что делать-то с ей будем?

Настя захлюпала носом и пролепетала:

— Дедушка, я больше не буду.

— Ты не мне, а людям говори. Я те не судья и не прокурор.

Но к людям Настя не посмела обратиться, стояла потупившись, изредка подбирая ладонью слезы с бордовых щек. Наконец выдавила:

— Совестно мне... — И, не встретив отзыва, повторила еще тише: — Ей-богу, совестно...

— Слава те... Хотя это осознала, — удовлетворенно всхмыкнул дед и, обернувшись к остальным, спросил: — Дак чо делать-то будем с подобным поступком?

Все подавленно молчали. Наконец комендантша Дуся нерешительно предложила:

— Может, на первый раз простим, Кузьма Федотыч?

— Это уж как сами решите! — недовольно сказал дед и не по возрасту четким шагом вышел из кухни.

Вслед за ним, зарыдав, выскочила и Настя.

Несколько дней она не показывалась на людях, и Виктор нечаянно услышал, как дед Кузьма полупшепотом наказывал Дусе:

— Ты сходи-ка к ей. Как бы она над собой чего не исделала. И супу отнеси, а то третий день на сухомятке... А вообще-то, похлопочи. У не вон старшой-то парнишка не одну ваниль кушать хочет. Давеча вон девчушку за титьки лапал. — Вот тут Кузьма не сдержался и, хихикнув, шепотом сообщил: — Было бы за што! А то ведь одни

пупырышки. Вот у тебя — да, прямо-таки пушечны ядра! — И он, не дожидаясь, пока Дуська влепит ему не первую уже оплеуху, поспешно ретировался, бросив, однако, на бегу: — Ты имя, этими ядрами-то, лучше в Петьку стрельни!

4

Время шло, а роли Виктору пока не давали. Сначала он относился к этому спокойно, считал, что так и должно быть. Утешало и то, что театр готовил всего две новые постановки и не один Виктор Владимирцев не получал роли. В труппе было около четырехсот человек, и всех их в двух спектаклях никак нельзя занять.

То ли дело Верхнеозерский театр! Там в зависимости от категории актер даже обязан был играть от шестнадцати до двадцати трех спектаклей в месяц. А Виктор последнее время там, особенно в дни школьных каникул, когда шли и утренние представления, и чаще приходилось работать на выезде, участвовал и в тридцати представлениях. Такая переработка для дирекции была нежелательной, но дирекция помалкивала, ибо оплата тому или иному актеру за переработку была мизерной по сравнению с общим финансовым планом, к тому же вполне компенсировалась за счет недозанятости других артистов.

Привыкший работать с напряжением, Виктор сейчас считал себя бездельником, тунеядцем, его мучили не только угрызения совести, он ощущал какую-то почти безнадежную опустошенность в душе, а порой и отчаяние. Где-то подспудно он понимал, что его в Верхнеозерске просто зацеловали, что вот именно сейчас наступает испытание успехом, но сопротивлялся этому испытанию то ли из чувства самосохранения, то ли начинало извергаться уязвленное самолюбие.

Наконец объявили, что театр будет готовить еще один спектакль, и к началу заседания художественного совета собралась почти вся труппа, хотя все знали, что в этот день они все равно ни у кого из членов худсовета ничего не выведают, пока на стенде, мудро расположенном возле бухгалтерии, не появится приказ о распределении ролей.

Назавтра все пришли на репетицию раньше обычного, и возле бухгалтерии было так же многолюдно, как в дни авансов и получки.

И Виктор Владимирцев проснулся в это утро раньше обычного, но, сдерживая себя, не спешил в театр: поговорил с комендантшей Дусей о размахе жилищного стро-

ительства, два коня следил за игрой малиновых подштанников и терпеливо выслушал рассуждения деда Кузьмы о влиянии космических полетов на климат планеты.

В театре он появился к одиннадцати — к началу репетиций. Но репетиции еще не начинались, все толпилось возле стенда с приказами, и Виктору даже не пришлось добираться до него: молодой актер Олег Пальчиков сообщил еще на лестнице:

— Витек, не спеши. Худсовет решил зарезервировать нас с тобой для более выдающихся ролей. У тебя не найдется что-нибудь покурить?

Виктор знал, что Олег не курит, но протянул ему пачку «Примы». Тот долго не мог извлечь из нее сигарету.

— Переходи на «Дымок», он крепче, — посоветовал Олег, неумело прикуривая. Закашлявшись и вытерев тыльной стороной кисти выступившие слезы, пояснил: — Выдающихся-то нам еще неизвестно сколько ждать. Так что экономь и оставшиеся деньги храни в сберкассе. Это удобно и выгодно!

Вот тогда Виктор впервые пожалел, что ушел из Верхнеозерского театра.

Как назло, в тот день Марина после ночной смены оказалась дома, и Виктору не удалось скрыть свое настроение, близкое к смятению, а может быть, даже к отчаянию. Едва взглянув на него, Марина не стала спрашивать, дали ему роль или не дали, а сразу начала утешать:

— Да разве один ты в Москве без ролей? Ты только посчитай, сколько даже именитых актеров годами не выходят на сцену.

— Но ведь это же плохо!

— Чего уж хорошего, — согласилась Марина. — Только ведь и тут разные причины. Одних и впрямь зажимают, а другие и сами не выходят, потому что не хотят играть в плохих пьесах... А вот я бы на любую роль согласилась, — тяжело вздохнула она. — Да вот не берут...

И Виктор лишь теперь и понял, что ее беда куда больше, чем его. Он-то лишь жаждал прежней популярности, а Марина теряла всякую надежду. В Верхнеозерском театре ей давали роли хотя и не главные, но порой все же достаточно значительные. И она играла их довольно сносно, не более. Но в ней еще жила надежда на удачу, может быть, и на случай. Пожалуй, надежду эту подогревало то, что у Валентины Георгиевны Озеровой в народном театре она шла хорошо. Но там был другой уро-

вень, и пределы творческих возможностей Марины, видимо, не превышали этот уровень.

— Видно, не получилось из меня актрисы,— с грустью, но без горечи сказала Марина.

«Хорошо, что она сама это поняла»,— подумал Виктор, и собственная его боль как-то поутихла.

Но не насовсем. Она возродилась еще более жгуче, когда его не взяли в гастрольную поездку в Чехословакию, тем более что в репертуаре гастролей была и пьеса, в которой он исполнял хотя и маленькую, но не бессловесную роль. Сослались на нехватку денег, а его роль взял Семен Подбельский, тоже занятый в этом спектакле, но в еще более незначительной роли.

Тогда-то Виктор и написал письмо Светозарову и Пошину. Но сразу не отправил, носил его дня три или четыре в кармане, а потом порвал, обвинив себя в малодушии и трусости. Однако обида, видимо, осталась, и, когда театр вернулся из-за границы и Виктору пришлось выходить в той же роли, Заворонский в антракте зашел в гримерную и сердито сказал:

— А ну-ка, посмотри на себя в зеркало!

Полагая, что у него что-то не в порядке с гримом, Виктор бегло глянул в зеркало. Не обнаружив ничего криминального, спросил:

— А что?

— Нет, ты в глаза себе посмотри! — еще более сердито потребовал Заворонский.

Виктор посмотрел в зеркало внимательнее:

— А что? Глаза как глаза. Как всегда, слегка глуповатые. По крайней мере, так утверждает моя жена,— попытался было пошутить он.

Но Заворонский шутки не принял:

— Ты в каких отношениях с Тишковым?

— В самых добрых.

— А что у тебя получается? У тебя же в глазах злость, как у пантеры, бросающейся на свою жертву. А почему?

— Не знаю.

— А я знаю! — Заворонский как-то нехорошо ухмыльнулся и уже мягче, но более ехидно пояснил: — Потому что ты видишь не героя пьесы Тишкова, а исполнителя этой роли Подбельского. А Подбельского ты невзлюбил лишь за то, что в гастроли он взял и твою роль. Но он же взял не по своей инициативе, а по моему указанию. Вот это запомни и не мечи свои хиновские стрелы в ясные Семкины очи. Усек?

— Вполне.

— Вот и перестраивайся.— Заворонский устало побрел к двери, распахнул ее, но, прежде чем прикрыть, вдруг совсем уж мягко спросил: — Думаешь, застоялся конь?

— «Душа обязана трудиться», — со вздохом процитировал Виктор.

— Вот это уже другой разговор! — удовлетворенно сказал Заворонский и, тихо прикрывая дверь, пообещал: — Потрудишься. Да еще как!

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

На другой день Заворонский дал Виктору почитать пьесу Половникова.

— Это не окончательный вариант, автор еще работает над ней, — предупредил Степан Александрович. — Но контуры в основном просматриваются. Возможно, мы ее и примем. А может, и нет, — добавил он настолько нейтрально, что Виктор тотчас догадался, что Заворонский в этой пьесе заинтересован.

Пьеса Владимирцеву не понравилась, она показалась ему риторичной, события в ней развивались как-то вяло, драматический конфликт, по существу, был лишь обозначен и вовсе не подкреплен действием, а разговоры, хотя и умные, но длинные и скучноватые. «И что в ней нашел Степан Александрович? — удивлялся Владимирцев. — Однако что-то же нашел? Может, я не заметил чего-то значительного, что привлекло в этой пьесе Заворонского?»

Он стал перечитывать пьесу, теперь уже внимательнее, и вскоре понял, в чем была его ошибка: читая первый раз, он искал в пьесе то, чего в ней не было, и не заметил многого из того, что в ней было. Вот, скажем, этой побочной, но очень важной линии о том, как постепенно размываются нравственные критерии. Виктор вспомнил, как в «Доходном месте» у Островского в финале Жадов говорит Полиньке: «Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного».

У Половникова эта мысль трансформировалась таким образом, что вот в наше время, когда по идее взяточник должен бояться больше суда общественного, он

его перестает бояться, потому что кто-то хочет, чтобы взяточничество, блат стали явлением чуть ли не массовым, привычным, не подвергающимся осуждению, хочет размыть критерии оценок нравственного поведения людей. В пьесе апологетом этой мысли выступает не какой-то простачок с немудреной философией: «Все берут и я беру», а интеллигент, доктор технических наук, директор научно-исследовательского института. Его философия более завуалирована такими, например, логическими посылами:

«При чем тут подбор кадров по кумовству и знакомству? Просто я беру человека, которого хорошо знаю. Знаю все его достоинства и недостатки, знаю, чего он может, а чего нет. А возьми я со стороны? Еще неизвестно, есть ли у него хотя бы те достоинства, которыми обладает известный мне человек и которые я с первого дня могу эксплуатировать. Ну а уж о недостатках и говорить нечего. Пока я их выявлю и найду средства борьбы с ними, уйдет уйма времени и сил. Это по меньшей мере бесхозяйственно...»

Конечно, в этой линии лежит актуальная проблема, на ней одной можно было бы построить пьесу, но автор, оставив ее побочной, пошел куда глубже и дальше, вознеся проблему до масштабов поистине глобальных: до сознания личной ответственности каждого аж перед человечеством. Мысль эта исходила от военных, и тут начинали переплетаться две линии — военная и гражданская. Но обе эти линии утверждали высокую гражданственность, доводя ее ощущение до личной ответственности каждого за судьбу целой планеты.

В памяти Виктора Владимирцева удержались лишь две-три пьесы, в которых ставились именно такие задачи. Пусть пока и декларативно, но так же глобально, как ставила эти задачи сама жизнь, доведя их до последней грани бытия или самоуничтожения.

И Виктор вдруг понял, почему отодвинулись на второй план все частные вопросы, почему стали побочными даже столь актуальные линии, как размывание нравственных критериев.

Но автор лишь интуитивно разделил линии на главные и второстепенные. За той же побочной линией лихоимства стояла большая тревога за духовную чистоту нынешнего поколения.

Однако это была лишь глобальность замысла. Замысел остался еще бесплотным, не воплотившимся в жи-

вой образ, в характер, способный убедить, он лишь провозглашал и потому казался слишком плакатным, и от него осталась в памяти чуть ли не одна фамилия главного героя — Маслов.

Обстоятельства сложились так, что в течение ближайшей недели Владимирцев даже не имел возможности вернуться к пьесе еще раз: заболел Федор Севастьянович Глушков. Двойника он не имел, роль генерала Печенегова во «Врагах» Горького играть было некому, а заменять спектакль почему-то оказалось невозможно, и Заворонский вдруг даже не предложил, а категорически приказал Виктору:

— Заменишь Глушкова, сегодня в одиннадцать репетиция, завтра — прогон, а послезавтра вечером — выход.

— Хорошо, — согласился Виктор, зная наизусть почти весь текст, но, не подозревая даже, что знание текста не только не избавит его от дополнительной работы, а еще и заставит кое-что переосмыслить и по роли, и особенно по так называемым связкам. Пьесу гнали давно, все было отработано, поэтому на репетицию пришли только партнеры по мизансценам, и то не по всем, а лишь по наиболее ответственным. Репетиция прошла сносно, но Владимирцеву пришлось всю ночь шлифовать движения, жесты, интонацию. На следующий день прогнали всю пьесу. Заворонский, кажется, остался доволен, однако предложил еще отработать некоторые мизансцены с Антониной Владимировной и Олегом Пальчиковым. Договорились, что они еще раз пройдут их утром в день спектакля.

Виктор, успокоенный оценкой Степана Александровича и полагая, что утром все само собой дойдет до нужной кондиции, решил развяться и отправился с сыном на речном трамвае в парк. Сережка, не привыкший к такому вниманию отца, восторгался всем: и трамваем, и Москвой-рекой, и каруселью в парке, замирал от страха и восторга в колесе обозрения, беспрестанно щебетал и признательно прижимался к отцу, не отважившись, однако, поцеловать, а точнее — не снизойдя до столь сентиментального, свойственного только девчонкам выражения чувств. А Виктор никак не мог отвлечься от роли, досадовал, пытался уйти от нахлынувших вдруг мыслей и... не смог.

«Собственно, для идеи пьесы Печенегов — фигура почти ничего не значащая. По крайней мере, меньше, чем

Яков Бардин, Татьяна Луговая, Полина, Захар... Его выходы, несомненно, вызовут смех в зале. Но нельзя ли уйти от чисто фарсовой трактовки его роли? Ведь при всей своей ничтожности должен же он отражать мир, который его породил? А как?»

И Владимирцев попытался представить всю его судьбу, домыслить его биографию, объяснить то его состояние, которое автор дал как уже свершившийся факт.

«Он же весь в прошлом, вот в чем суть! — думал Виктор. — Он не воспринимает настоящего, все, что происходит вокруг, далеко от него, он не хочет участвовать в нем, ему хочется вернуться к привычному образу жизни...»

И тут для Владимирцева стало важным в тексте роли мимолетное упоминание Печенегова о кадетском корпусе. Сначала он не обратил на эту реплику никакого внимания, а сейчас, вспомнив ее, именно в ней стал искать ключ ко всей трактовке роли генерала. В том, что генерал сочиняет нелепые розыгрыши в виде протянутой веревки, обливания спящих холодной водой, Владимирцев увидел отрезок жизни, биографии Печенегова: наверное, в таких мальчишеских выходах и забавах прошли его молодые годы. А значит, и в последующие годы службы он не совершил ничего такого, что запомнилось бы ему лучше, чем забавы молодости.

«А из этого следует, что генерал он не боевой, а паркетный, ну, скажем, штабной. Стало быть, во внешнем рисунке роли я должен подчеркнуть отсутствие строевой выправки. Как это подчеркнуть? Допустим, через мешковатость фигуры, несвойственное военным размахивание руками... Надо предупредить Антонину Владимировну и Олега, что я кое-что изменю, дабы это не было для них неожиданным...»

Но утром, когда Виктор пришел в театр, выяснилось, что Грибанова и Пальчиков внезапно уехали в Останкино что-то срочно перезаписывать для телевидения. Однако они не забыли о нем, предупредили руководство. Но утром был еще спектакль на выезде, во Дворце пионеров, и Заворонский, успокоенный предыдущей репетицией и не подозревавший о несколько иной трактовке образа генерала, выношенной Владимирцевым накануне, перепоручил дело помрежу:

— Займитесь с Владимирцевым, текст он знает, вы его просто поводите.

И вот теперь обе роли за Антонину Владимировну и Олега Пальчикова исполняла помощник режиссера Эми-

лия Давыдовна — человек несокрушимой энергии и преданности театру. В театре она работала около сорока лет, знала наизусть не только почти все роли, а и родословную актеров вплоть до седьмого колена, и заведующий художественно-постановочной частью молодой очкарик Юра растерянно топтался перед ней как нечто инородное театру.

Вообще-то завпост — фигура в театре значительная. Он руководит изготовлением декораций, костюмов, бутафории, подборкой реквизита (вот тут даже неумолимая бухгалтерия от него зависит), свето- и звукооформлением. Еще он отвечает за то, чтобы сцена была готова к началу представления, вращалась именно тогда, когда ей положено вращаться, а занавес открывался именно в тот момент, когда ему положено, и раздвигался именно на ту ширину, на которую тоже положено.

По залу и сцене гулял ветер, подбирая пыль и бумажные обертки конфет, оставшиеся после вчерашнего представления. Дуло из «кармана», через который сейчас рабочие сцены (для престижа их называли монтировщиками) вносили декорации для утреннего спектакля. Собирали второй акт, уже развешаны были кулисы, задники и прочая мягкая одежда, сейчас расставлялись жесткие конструкции и мебель.

Бригада осветителей ставила свет. Из регулятора высунулась взлохмаченная голова заведующего светоцехом Миши Задорнова, с которым у Виктора как-то сразу сложились приятельские отношения.

— Привет, Витек!

— Привет, светило.

— Растешь над собой?

— В каком смысле?

— Ну как же, до генерала дослужился.

— А, это.

— Извините, ваше превосходительство, что-то там Валентина портачит.— Голова Миши нырнула в регулятор, и оттуда, усиленный динамиками, прогремел железный голос: — Эй, Валентина, что у тебя там в добавочном ярусе?

— А что? — спросила сверху девушка в комбинезоне и красной косыночке.

— Рамочка какая?

— Сороковая,— не очень уверенно ответила девушка.

— А не сорок третья? Ты разуи-ка свои крашенные глазки да погляди как следует.

— Сейчас посмотрю. И верно, сорок третья. Извини.

— То-то же,— удовлетворенно сказал Миша и, высунувшись из регулятора, сообщил Виктору: — Вот так и работаем.— И тут же заорал: — Контр-ажур! Ярусы основной и добавочной левой логи!

Вспыхнули прожектора левой логи, а Миша уже командовал в правый бельэтаж:

— Вася, давай «листву».

— Даю,— ответил Вася и напомнил: — Миш, а буфет уже распечатывают.

При этом известии мгновенно исчезли со сцены монтировщики: они начали работу в восемь утра и уже успели проголодаться. Навострились и осветители, но Юра сделал вид, что не заметил их порыва, и сказал Мише:

— Подсинь слегка задник.

Эмилия Давыдовна как бы резолюцию наложила:

— Миша, подсинь!

Миша слегка подсинил задник и хихикнул в кулак, когда Эмилия одобрила:

— Вот это уже лучше.

— Эмилия Давыдовна, мы все сделаем как надо,— заверил Миша.— Займитесь Владимирцевым.

При этом у Миши не проклюнулось ни одной иронической нотки: он, как, пожалуй, и все в театре, любил Эмилию Давыдовну, прощая ей даже вмешательство в его внутренние дела, усматривая и в этом вмешательстве ее беспредельную преданность театру.

— Спасибо, мальчики,— искренне поблагодарила Эмилия Давыдовна, и, осветители, не ожидая разрешения Юры, исчезли; на сцене остался лишь один, ему поочередно опускали софиты, и он заряжал их.

Схватив Виктора за руку, Эмилия Давыдовна потянула его за кулисы, на ходу поясняя:

— Знаешь, получилась небольшая накладка, почти весь состав уехал в телестудию на перезапись и параллельный спектакль во Дворец пионеров, придется мне одной с тобой работать, но я все реплики помню. Однако на всякий случай прихватила тексты, пусть это тебя не смущает.

Она начала рыться в своей неизменной, сшитой из портьеры хозяйственной сумке. Виктор невольно обратил внимание на ее содержимое. Чего тут только не было!

Сверху лежали последний номер журнала «Театральная жизнь» и пронзенный белыми пластмассовыми спицами черный клубок с шерстью и недовязанной не то кофточкой, не то шапочкой для внучки, фотография которой лежала в истрепанной записной книжке, завалившейся между старыми, обмявшимися по распухшим подагрическим ногам, вконец стоптанными туфлями, которые Эмилия Давыдовна надевала только за кулисами; подтаявшая импортная курица в целлофановом мешке и два прослезившихся бумажных пакета с шестипроцентным молоком; массажная щетка и пузырек с каплями Вотчала, патрончики с валидолом, губной помадой и блеском для губ — Эмилия Давыдовна все эти сорок лет старалась выглядеть блестяще.

Как это бывает почти всегда, крайне нужная в данный момент вещь находилась в самом низу, и Эмилии Давыдовне пришлось вытряхнуть содержимое сумки в протертое до белизны кожаное кресло, еще раз позволив Владимирцеву произвести почти полную инвентаризацию ее состояния. Обнаружив донельзя замусоленный экземпляр пьесы, Эмилия Давыдовна победно вознесла его над собой и воскликнула:

— Вот!

И Виктор догадался, что она до самого последнего мгновения не была уверена, что не забыла его дома, что она — всегда такая аккуратная и собранная — ужасно боится склероза.

Эмилия Давыдовна одним движением сгребла все с кресла в сумку, небрежно бросила ее в угол и, схватив с подоконника мел, прочертила им почти идеальную прямую на застилавшем вестибюль мужских гримерных паласе. Этот вестибюль уже при Владимирцеве превратился в малый репетиционный зал, после того как большой дирекция отняла под зрительский буфет. Сей акт не вызвал почти никаких протестов, ибо теперь актеры получили возможность в этом буфете, снабжаемом одним из лучших ресторанов столицы, доставать бутерброды с сырокопченой колбасой, в то время как в актерском буфете их кормили перепревшими биточками из соседней общепитовской столовой.

— Вот это рампа, — сказала Эмилия Давыдовна, доведя черту от стены до стены. — Перешагнешь — упадешь в оркестровую яму.

— Простите, я забыл застраховать свою жизнь, — пошутил было Виктор, но Эмилия Давыдовна шутки не

приняла и, посмотрев на стоявшие, как в гробу, в узком футляре из красного дерева часы, сказала:

— У нас совершенно нет времени.— И, еще не долив до нужной страницы, подала первую реплику от имени Николая:

— «Однако! Куда вы метнули».

Виктор, еще не успев вжиться в роль генерала Печенегова, ответил по тексту:

— «Полина! Молока генералу,— х-хо! Холодного молока!..»

— Стоп! — режиссерски властно остановила Эмилия Давыдовна.— Я же не Полина, я пока еще Николай. А Полина, то есть Тоша Грибанова, будет стоять вот тут,— Эмилия Давыдовна нарисовала мелом круг на паласе.— Следовательно, ты обращаешься сюда. Начали снова. Да нет же, ты должен кричать на подходе. А потом уже повернетесь ко мне, то есть к Николаю, будто только что меня, то есть Николая, заметили. Пошли!

— «А-а, гроб законов!..» — повернулся Виктор к Эмилии Давыдовне.

— Не так! Не надо удивления, вы его заметили раньше. Лучше пренебрежительно. И всю свою пренебрежительность надо выразить вот в этом «А-а». А потом уже про гроб. Повторяем! Уже лучше. И опять к Полине. Пошли!

— «Моя превосходная племянница, ручку!»

— Ну кто же так целует ручку племяннице? Она же не любовница! Повторяем.

— «Моя превосходная племянница, ручку!»

— Вот это уже лучше. Но вы не Глушков. Может, возраст? Для генерала вы, пожалуй, и в самом деле слишком молоды. Так постарайтесь, черт вас возьми!

— «Моя превосходная племянница, ручку!»

— Еще лучше! Вот этой тональности и придерживайтесь. А теперь у нас кто? — Эмилия Давыдовна заглянула в текст и вдруг расправила плечи: — Отставной солдат Конь! Он будет стоять вот тут.— Еще один круг мелом, и в центре его — набравшая полную грудь воздуха Эмилия Давыдовна.

— «Конь, отвечай урок: что есть солдат?»

При слове «урок» Эмилия Давыдовна вдруг расслабилась и скучно отвечала:

— «Как угодно начальству, ваше превосходительство!»

«Может солдат быть рыбой, а?»

— Стоп! — опять недовольно воскликнула Эмилия Давыдовна. — Для чего тут поставлено это «а»? Для ехидства. Вот и давай с ехидством, голубчик...

Они закончили всего за три часа до начала спектакля, когда уже вернулся из Останкина автобус с актерами. Зрительский буфет еще не работал, все пошли в актерский, собрался туда и Виктор, но Эмилия Давыдовна втолкнула его в гримерную Глушкова и закрыла снаружи на ключ, крикнув из-за двери:

— Настраивайся.

Ему ничего не оставалось делать, как сесть за гримировальный столик и попытаться настроиться. Но сколько он ни «напущал» на себя важности, сколько ни корчил рож перед зеркалом, ничего у него не получалось. Тогда он облачился в генеральский мундир и стал искать перед зеркалом лицо и голос. И опять не нашел ни того, ни другого. Но тут Эмилия Давыдовна втолкнула в уборную гримершу, та разложила на столике все свои аксессуары и принялась за лицо. Виктор накануне почти всю ночь не спал, улаживая конфликт между комендантшей Дусей и женой дяди Пети, внезапно вторгшейся в квартиру и за считанные минуты приведшей в смятение и обратившей в бегство почти всех обладателей малиновых подштанников в коридоре, за исключением деда Кузмы. А с одиннадцати началась репетиция с Эмилией Давыдовной...

«И надо же случиться, что заболел именно Глушков!» — с досадой подумал Владимирцев, отдавая себя в проворные руки гримерши. К счастью, она была нема как рыба и, сделав свое дело, спросила:

— Ну как?

Он открыл глаза, посмотрел на себя в зеркало и не узнал: перед ним сидел старик, почти лысый, с аккуратно зачесанными с затылка через темечко двумя жидкими седыми прядями. Этой прическе молодых стариков кто-то дал остроумное название «внутренний заем»... Из уголков глаз разбегались веером тонкие черные полосы, сейчас они слишком яркие и грубоваты, но из зрительного зала они будут смотреться как те самые знаменитые «кустики морщин», без которых не обходится ни один начинающий писатель. Носу была придана вполне грушевидная форма, он был слегка вздернут, что должно было свидетельствовать о недалекости его обладателя.

— А у Глушкова он был загнут книзу, — заметил Виктор, дотронувшись до нашлепки на носу.

— Так то у Глушкова, у него же совершенно иной овал,— пояснила гримерша.

Владимирцев представил, как бы он выглядел с носом, хищно загнутым книзу, и согласился:

— Да, пожалуй.

Когда гримерша ушла, он еще раз пристально оглядел себя в зеркало и начал проходить по всей роли, сглатывая все незначительные, промежуточные фразы, спотыкаясь лишь на связках, повторяя по нескольку раз наиболее ответственные места.

Первый звонок прозвучал для него как набатный колокол, он выскочил в коридор и увидел, что уборщица тетя Маша стирает с паласа нарисованные Эмилией Давыдовой круги. Его это почему-то испугало, ему показалось, что без этих кругов он совсем пропадет, все перепутает и вообще провалится. Но вскоре он сообразил, что играть станет не тут, в вестибюле, а на сцене, где этих кругов не будет, а будут его партнеры: Антонина Владимовна, Олег Пальчиков, Саша Сидорчук... Кто же еще?

Теперь он начисто забыл, кто играет Татьяну и Синцова, Надю и Захара. Вспомнил лишь, что Грекова играет Семен Подбельский, и окончательно растерялся. С Подбельским он уже выходил в нескольких ролях и чувствовал, что тот упорно тянет на себя. Скорее всего он потянет и сегодня...

Но тут в вестибюль вышел Олег Пальчиков и, вытянувшись, поприветствовал:

— Здравия желаю, ваше превосходительство! — И, хлопнув по плечу, сказал: — Держи, Витек, хвост морковкой! Где наша не пропадала!

Странно, но этот его жест и упоминание о морковке вдруг привели Виктора в то состояние душевного равновесия, которое он обычно обретал сразу после выхода. Но до выхода было еще минут шестнадцать-семнадцать, Виктор опять испугался, как бы не растерять это состояние, и, весь сгруппировавшись, как спортсмен перед прыжком, укрылся в ближайшей пустующей гримерной, включив до предела звук в динамике внутренней трансляции.

А спектакль уже начался, и Пологий жаловался Коню на свою мелкую жизнь...

2

В антракте за кулисами появился Заворонский, мимоходом заметил:

— Ребята, все идет нормально! — И тотчас ушел на

женскую половину, не удостоив Владимирцева даже взглядом.

Виктора это обидело, он начал мысленно упрекать Степана Александровича: «Знает ведь, что я первый раз выхожу на роль, причем столь внезапно, мог бы и сказать хоть пару слов...»

Но тут вбежала Эмилия Давыдовна и поторопила:

— Витя, твой выход. Не забудь первую фразу: «Или протянуть через дорогу веревку...» А вспомнишь первую — остальное само пойдет. Уж я-то знаю!

На этом проходе через сцену Виктор произносил всего две фразы, потом до следующего выхода у него был довольно большой перерыв, он укрылся в кулисе и стал наблюдать за зрительным залом. Он любил до начала спектакля или в антракте через щель в занавесе разглядывать зрителей, по выражению их лиц, по глазам, по жестам определять их впечатление, угадывать настрой.

Он тоже разделял зрителей на категории, но совсем не на те, на какие делил Заворонский. Для Владимирцева существовало лишь два типа зрителей: контактные и неконтактные. Одни сразу относились с доверием, недоверие других приходилось преодолевать постепенно, втягивая их в сопереживание, иногда этого удавалось добиться лишь к середине спектакля, а иногда так и не удавалось. Впрочем, это зависело не только от актеров, но и от пьесы.

Классику обычно смотрели постоянные зрители, наиболее контактные, они могли один и тот же спектакль посещать несколько раз, нередко ходили просто на нового исполнителя той или иной роли или на кумира. Сегодня к ним добавились еще и школьники старших классов, их привели для усвоения программы учителя литературы, сидевшие в проходах как сторожа. Галерку, как всегда, занимали студийцы, знакомые и родственники актеров и администрации, пришедшие по контрамаркам, а также студенты близлежащих вузов, тоже наиболее постоянные и наиболее категоричные в своих оценках зрители.

И вдруг Владимирцев увидел среди них Федора Севастьяновича Глушкова и сначала даже не поверил своим глазам. Всю концовку второго акта он был свободен и, выждав, когда в зале вспыхнет свет, окончательно убедился, что не обознался: на галерке среди студийцев действительно сидел Федор Севастьянович Глушков.

«Неужели он пришел большой? Зачем? Волнуется за

меня? Но он мог бы сесть и в партере, и даже в директорской ложе, а не лезть на галерку... А может, он и не болен вовсе? Может, он специально все это подстроил? А зачем?»

В антракте он пытался отыскать Заворонского, но тот за кулисы не заходил.

— Вы не видели Степана Александровича? — спросил Виктор Эмилию Давыдовну.

— Он с гостями занят. Опять какие-то представители прибыли из республиканского Министерства культуры.

Сегодня и вправду директорская ложе была полным-полна, и Степан Александрович сидел не на своем привычном месте, а в дальнем углу ложи.

— А я только что видел Федора Севастьяновича! — сообщил Владимирцев. — На галерке!

— Не может быть! — притворно удивилась Эмилия Давыдовна. Она притворилась настолько естественно, что Виктор сразу догадался обо всем.

— Я видел его собственными очами и даже имел удовольствие говорить с ним, — рассчитанно соврал Владимирцев.

— Я же ему говорила, чтобы он ни в коем случае не слезал с галерки! — возмутилась Эмилия Давыдовна, и Виктор убедился, что она действительно в курсе дела. Эмилия Давыдовна, поняв, что она слишком легко попала на эту приманку, запоздало спохватилась.

— Вот паршивец! — патетически воскликнула она. — Он же мне сказал, что у него температура... — Тут Эмилия Давыдовна окончательно сконфузилась и неуверенно добавила: — Витя, я, право же, тут совершенно ни при чем... — чем окончательно убедила его в том, что против него был затеян какой-то заговор, инициатором и вдохновителем которого скорее всего является Федор Севастьянович Глушков...

Он даже и не мог подозревать, что инициатором и вдохновителем этого заговора был Степан Александрович Заворонский.

А произошло все так.

О том, что Заворонский притащил из Верхнеозерского театра Владимирцева именно на главную роль в пьесе Половникова, догадывался пока только Глушков. Когда он увидел, что Заворонский преднамеренно обхаживает Владимирцева пусть даже на проходных ролях,

но вписывая его именно в тот состав, которому скорее всего и предстоит играть в пьесе Половникова, то спросил прямо:

— Степка, а ты не хитришь?

— Хитрю,— честно признался Степан Александрович.— Иначе нельзя. Иначе его сразу сожрут завистники.

— Да уж потихоньку начинает обглаживать его кости.

— Знаю. Подбельский обнюхивает. Пока, правда, чисто интуитивно. Без озлобления.

— Семка — хороший актер.

— Не спорю,— согласился Заворонский.

— Тем более у него нет оснований для зависти. Но он наловчился пользоваться чужой добротой и чужой глупостью. Ибо доброта бессильна даже перед подлостью, а подлость всесильна. Если глупостью она пользуется привычно и повседневно, как зубной пастой, то доброта ее шокирует и озлобляет. Вот почему так ненавидят люди злые людей добрых. Ненавидят за чувство, на которое не способны сами.

— Что-то уж больно мудрено ты завернул, Федор Севастьянович. Я никак не расшифрую.

— И все-таки попытайся расшифровать. Знаешь ли ты, например, почему Подбельский, неплохой в общем-то актер, решил стать режиссером?

— Это разные профессии,— уклончиво ответил Степан Александрович.

— Но ты ведь тоже из актеров, а вот стал даже не просто режиссером, а главным.

— Я-то совсем по другой причине,— вздохнул Степан Александрович.— Ты же знаешь.

— Знаю, голос сел.

— И не только. Хотя и это. Может быть, это — главное. Но не только это. Знаешь, иногда хочется попробовать себя и в чем-то ином: а получится ли?

— Ну, получилось. Ты доволен? — Глушков пристально посмотрел в глаза Заворонскому и повторил: — Доволен?

— Нет.

— То-то и оно! А все-таки почему Семка Подбельский, хороший актер, обласканный и в театре, и в кино, и на телевидении, скажем так — признанный актер, решил стать режиссером?

— Очень просто: он захотел, чтобы в нем умирали все актеры,— усмехнулся Степан Александрович.

— Но не из зависти же!

— Не только, конечно. И пожалуй, не столько. Из желания властвовать. Если хочешь — из честолюбия. А честолюбие может стать или великим стимулом, или орудием убийства, особенно честолюбие уязвленное.

— Ну, это надо еще доказать, — усомнился Глушков.

— А ты возьми и докажи.

— Каким образом?

— Возьми да и заболей, скажем, послезавтра.

— Ты с ума сошел? А кто же заменит?

— Ну, скажем, Подбельский.

Федор Севастьянович подумал и согласился, хотя и не совсем охотно:

— Быть может. Роль он знает...

— Или Владимирцев, — прервал его Степан Александрович.

— Да ты совсем спятил! — испугался Глушков. — Ты его же и провалишь!

— Спасибо и за то, Федор Севастьянович, что ты подумал о провале Владимирцева. Но он не провалится.

— Ой ли? — усомнился Глушков. — Степка, а ведь ты не собой рискуешь, а им. Не совестно?

— И собой тоже...

— Но в меньшей степени. Ты уверен, что имеешь право?

— Я в него верю.

— А если ошибешься? — Федор Севастьянович пристально посмотрел Заворонскому в глаза.

— Ва-банк!

— Для него. А ты отделаешься легким испугом, — задумчиво подытожил Глушков и решительно возразил: — Ты не имеешь права!

— Не имею, — согласился Заворонский.

— Тогда зачем же рисковать? Им рисковать! И не собой, а им! — Глушков даже стукнул ладонью по столу.

— Видишь ли, Федор Севастьянович, ты сам когда-то спросил — помнишь? «А может, Степа, рискнуть?»

— Помню. И ты рискнул. Молодец! — уже спокойнее заметил Федор Севастьянович. — Но...

— Теперь, Федор Севастьянович, рискни ты, — опять прервал его Заворонский. — Отдай Владимирцеву всего на одно представление генерала Печенегова.

— Да ты спятил!

— Федор, повторяешься...

Глушков исподлобья глянул на Заворонского:

— Тогда дай хотя бы подумать.

— Думай на здоровье, — согласился Заворонский. — Только недолго! — И вышел из кабинета, оставив там Глушкова одного.

Отыскав Эмилию Давыдовну, сообщил ей:

— Федор Севастьянович заболел. Прошу вас завтра не беспокоить его телефонными звонками.

— А зачем мне его беспокоить завтра, если я могу с ним договориться сегодня. В вашем кабинете! — торжествующе сообщила Эмилия Давыдовна.

— Ах вы, старая лиса! — ласково сказал Заворонский и, посерьезнев, предупредил: — И чтобы ни одна душа...

— Ну одну-то душу на заклятие выдайте. Кто заменит?

— Владимирцев.

Эмилия Давыдовна изобразила знаменитую немую сцену, которую много раз наблюдала в гоголевском «Ревизоре».

— Блестяще! — похвалил Заворонский.

— Что? — не поняла Эмилия Давыдовна.

— Вы очень большая актриса, Эмилия Давыдовна, — сказал Степан Александрович и повернулся к ней спиной, направляясь в свой кабинет, где пребывал в тяжелых раздумьях Федор Севастьянович Глушков.

А Эмилия Давыдовна не спала всю ночь.

3

Виктор Владимирцев после спектакля тоже не спал почти всю ночь.

Но если Эмилии Давыдовне не давали уснуть сугубо честолюбивые мысли, то Владимирцева мучили лишь сомнения.

Он засомневался и в искренности Аркадия Борисовича Светозарова, так легко отпустившего его из своего театра, и в благожелательности Степана Александровича Заворонского, тоже легко переманившего его в Москву, и в доброте Антонины Владимировны, отдавшей ему эту комнату, которую Марина теперь уже раздраженно именует аквариумом, и в честности деда Кузьмы, так непримиримо отнесшегося к Насте, которой надо было как-то прокормить двоих неизвестно от кого прижитых детей, и особенно в Федоре Севастьяновиче Глушкове, его учителе и даже кумире, хотя у актеров кумиры бывают куда реже, чем у зрителей.

Наверное, автор очень душещипательной драмы выразил бы это в ремарке так: «В нем все клокотало, как в извергающемся вулкане...»

Как ни странно, это было почти верно. Когда сомнения, накопившись, стали распира́ть Виктора, он вышел в коридор и обнаружил, что все малиновые подштанники скучились возле черной картонной тарелки еще довоенного репродуктора в ожидании чего-то особенно важного. И сердце его вдруг начало биться где-то в горле, он тоже примкнул к этим малиновым подштанникам в тревожном ожидании голоса Левитана.

Но из репродуктора донесся хоть и надтреснутый, но вполне узнаваемый голос Марины:

— Доброе утро, товарищи!

Он машинально взглянул на часы, машинально же отметил, что сейчас действительно шесть часов, что ночь уже прошла, он заснул лишь под утро и потому не заметил, как часа в четыре, упершись фарами в среднее — самое большое — витринное окно, коротко просигналила приехавшая за женой машина, как неслышно, держа туфли в руках, прошла на цыпочках к выходу Марина и, придерживав тугую пружину, тихо отпустила входную дверь, не разбудив даже чуткой комендантши Дуси.

Его удивило и растрогало то, что вот эти простые, работающие люди столь трогательно ждали ее голоса. Ждали! Значит, они видели в ней то, чего не видел он. Или перестал видеть?

Еще в Верхнеозерске Заворонский предупредил Владимирцева, что места в театре Марине не обещает. Когда Виктор сообщил об этом Марине, она ничуть не огорчилась:

— Я и тут-то на проходных ролях, а ты хочешь, чтобы и меня взяли в труппу академического. Не настаивай. И вообще мне не нравится, что ты как бы вроде торгуешься с Заворонским, в то время когда тебе оказана честь.

— А может, одолжение?

— Дурачок ты, Витька! — Марина разворошила его волосы и со вздохом сожаления сказала: — Ничего-то ты не понимаешь... Себя не знаешь... А может, это и хорошо, что не знаешь? А то бы зазнался еще... Вот когда зазнаешься, я от тебя уйду.

— Только попробуй! — Виктор погрозил ей кулаком, потом подхватил ее, приподнял, закружил, напевая: — Я пригласить хочу на танец вас и только вас...

— И не случайно этот танец — вальс, — подхватила Марина и вдруг серьезно сказала: — Витя, я же за тобой... ну, куда угодно. Ты обо мне не думай...

И он не думал. Не думал о том, каково ей тут в Москве, на этой Плющихе, среди этих малиновых подштанников, круглосуточно шлепающих засаленными картами. А они, оказывается, ждут ее голоса!

И если раньше он эту многолюдную квартиру на Плющихе мог еще как-то сравнивать с костылевской ночлежкой из пьесы Горького «На дне», то теперь вдруг осознал, что тут все иначе: и Настя — не Василиса, и дед Кузьма — не Лука, и враждебности, даже отчужденности тут вовсе нет, тут витает дух общежития, еще или уже не разъятого эгоизмом, надувательством, жаждой наживы. И что только здесь мог произойти тот самый страшный человеческий суд над Настей, о котором мечтал Жадов: суд общественный, который был поистине страшнее суда уголовного...

И почему-то вдруг захотелось, чтобы на этом суде присутствовал Половников, автор той пьесы, которую Заворонский дал почитать еще в черновом варианте именно ему, Владимирцеву. Почему именно ему? С прицелом на будущую роль? Пожалуй. Но на какую?

Он решил перечитать пьесу еще раз.

Он уже знал всю незамысловатость ее фабулы, оскомную примитивность сюжетных поворотов и стал следить не за ними, а за изгибами мысли и обнаружил вдруг, что именно в этих изгибах есть нечто неординарное, составляющее задуматься. «Что же?» — мучительно думал он.

В ту ночь и в то утро он так ни до чего и не додумался, отправился на репетицию, хотя и с тяжелой, но совершенно пустой головой. На углу Садовой и Ружейного переулков, возле старого, встроенного кинотеатра «Стрела», увидев долбивших асфальт рабочих в касках, неумело владеющих отбойными молотками, подошел к одному из них и сказал:

— А ну-ка, дай я попробую!

Перед тем как устроиться в порт такелажником, Виктор четыре месяца работал на ремонте дорог с молотком научился обращаться. «Небось сейчас уже и забыл», — подумал он и сразу нажал гашетку, ожидая, что его непременно затрясет, и, когда его действительно затрясло, быстро приноровился к вибрации, привычно овладел молотком и, точно придерживаясь нарисованной ме-

лом линии, прошил ее частой строчкой, обозначая границы, оберегая от разрушения ту часть мостовой, которую не следовало трогать.

— Это и мы умеем,— усмехнулся каскадер, как мысленно обозвал его Виктор.— А ты подыми ровно.

— Попробую.

Виктор был уверен, что, прошив строчку, он не залезет за прочерченную прорабом линию. Но и гарантий никаких выдать не мог: иногда щепка, лежавшая поперек линии, могла поднять асфальт и за пределами этой линии.

Как назло, попало целое полено, однако Виктор почувствовал его загодя и, обшив его с трех сторон, отдал молоток каскадеру:

— Извлекай сам.

— А как? — спросил тот, испуганно глядя на оказавшееся под серым панцирем асфальта, сохранившее в неисточенности березовую дубленку полено.

— А вот как забыл его; так и вытаскивай...

— Так ведь не я его забыл! — досадливо воскликнул рабочий, сдвинув оранжевую каску на затылок так, что она лишь чудом удержалась на нем.

— Не ты, так другой такой же деятель.

До самой «Стрелы» за Виктором бежал прораб, угваривая:

— Ты вот хотя и в шляпе, а соображаешь. Нет, не в том смысле, что на троих. Я вижу, ты это дело знаешь.

— Немного.

— Какое там немного! Рука у тебя твердая, видать, привычная. А шляпам, между прочим, нынче больше ста двадцати рэ не платят. Так-то.

Видимо, бригадир знал уязвимые места и бил наотмашь.

Но и Виктор знал уязвимые места...

Последний год в порту Виктор работал уже бригадиром, хорошо зарабатывал и ребят подобрал в бригаду стоящих, хотя самому ему стоило дорого, чтобы избавиться от шабашников, гонявшихся только за длинным рублем. В общем, сколотился хороший коллектив, поэтому ребята искренне недоумевали и страшно переживали, когда Виктор сказал им, что решил «пойти в актеры». И очень обрадовались, когда, первый раз поступая в институт, он провалился.

— Триста рэ в месяц хочешь? — предложил сейчас бригадир.

— Хочу. Но не буду.

— Брезгуешь?.. Или чураться? Деньги, они, брат, на улице не валяются.

— А у тебя вот валяются! — Виктор надвинул бригадирскую каску на глаза и резюмировал: — Лопух ты, парень! Ни фиги ты в этом деле не смыслишь.

— А если назначили? — резонно спросил тот.

— Ну если назначили, так исполняй! — Виктор погрозил пальцем, и этот жест окончательно убедил бригадира в том, что его посетило какое-то начальство. Приотстав и убедившись, что начальство не намерено возвращаться, он обернулся и погрозил рабочим кулаком. В ответ дружно зарычали отбойные молотки.

Как ни странно, их рокот вселил уверенность, и Виктор вошел в актерский гардероб весьма решительно. Однако, обнаружив совершенно пустую вешалку, только сейчас и вспомнил, что в театре сегодня выходной. Он поспешно повернул обратно, но тут за спиной услышал:

— Простите, вы — Владимирцев?

— Да, — он оказался как раз в шлюзе, между дверями.

Очень невыразительный, мешковатый человек, похожий на ночного сторожа (ему не хватало только берданки), приоткрыв внутреннюю дверь, сказал:

— А я, извините, автор. С вашего разрешения — Половников.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Александр Васильевич Половников чувствовал себя должником, ибо пропустил все сроки, выделенные ему Заворонским и завлитом на доработку пьесы. Половникова это очень угнетало, в своих прозаических делах он никогда не брал авансов под договор, а представлял в издательство готовую рукопись.

Он уже жалел, что взялся за пьесу. И как это тогда получилось? После звонка Заворонского он согласился встретиться с ним просто ради любопытства, заранее убедив себя не браться за пьесу.

Он приехал на двадцать минут раньше, Заворонский был еще на репетиции, и секретарь-машинистка — пожи-

лая женщина с гладко зачесанными и уложенными в тугой узел на затылке седыми волосами, с хорошо сохранившейся, почти спортивной фигурой, с проницательным взглядом чуть выцветших глаз — предложила Половникову кофе.

— Спасибо, я уже пил.

— В таком случае почитайте пока свежие газеты, — она указала на стоявший в углу приемной треугольный журнальный столик. — Степан Александрович знает о том, что вы придете, и будет вовремя. А я, извините, займусь делами.

Но не успела она заложить в машинку чистый лист, как зазвонил один из четырех стоявших рядом с панелью селектора на низеньком столике телефонов.

— Театр. Нет, не отменяется. Пожалуйста.

Не успела она положить трубку, как почти одновременно зазвонили два других телефона.

— Театр. Нет, он на репетиции. Заседание бюро? Когда? Записываю, непременно передам. — Она сделала пометку в настольном календаре и взяла другую трубку: — Да нет, ничем помочь не могу, обращайтесь в кассу...

Ворвался всклоченный молодой человек, еще от порога возбужденно затараторил:

— Анастасия Николаевна, голубушка, только вы можете меня спасти, иначе я погибну!

Но тут дружно затрезвонили сразу все телефоны. Анастасия Николаевна сунула одну трубку молодому человеку, две другие взяла сама:

— Театр. Одну минутку.

Молодой человек вертел в руках трубку и наседа на Анастасию Николаевну:

— Поймите, у меня нет ни секунды времени. Через сорок минут у меня тракт на Шаболовке!

— Обращайтесь к Сергею Петровичу, он заведует транспортом. — Анастасия Николаевна взяла из рук молодого человека трубку, положила на стол и сообщила в обе другие трубки: — Это я не вам. Да, да, слушаю...

— Но у Сергея Петровича ничего нет, все в разгоне! — с отчаянием воскликнул молодой человек.

— Машину Степана Александровича я не дам. Вдруг она ему понадобится?

— Что же делать? — растерянно спросил молодой человек и еще больше взъерошил пятерней волосы. И, толь-

ко сейчас заметив Половникова, спросил: — Вы к Заворонскому?

— Да.

— Ага, значит, он пока никуда не поедет. А я успею. Анастасия Николаевна, я поехал! — Он стремительно бросился к двери и чуть не сбил с ног входящего Глушкова: Половников узнал его сразу по портретам, когда то довольно часто печатавшимся в газетах и журналах.

— Олег, стой! — отрываясь от телефонов, крикнула Анастасия Николаевна, но молодой человек уже исчез в глубине коридора. Нажав клавишу селектора, она сказала в микрофон: — Коля, отвезешь Пальчикова на Шаболовку и тотчас обратно, — одновременно открыла верхний ящик стола, вынула из него конверт и протянула Глушкову. Тот взял конверт, поцеловал ее опять ухватившуюся за телефонную трубку руку, поклонился Половникову и направился к двери, но дойти до нее не успел: вошла актриса, которую Половников тоже узнал сразу, она снималась в двух или трех фильмах, но фамилия ее почему-то Половникову не запомнилась.

— Федор Севастьянович! — обрадовалась она Глушкову. — А я вас везде ищу.

— А, Тоша! — похоже, Глушков тоже обрадовался ей. — Извини, я сбежал сразу, у меня вот к Анастасии Николаевне дело было. Мы где-то в шестой картине с тобой споткнулись, и я не понял почему.

— Там одна фраза очень неуклюжая, тяжелая для произношения, что-то вроде «ехал грека через реку». Помоему, ее надо изменить.

— А ну-ка, давай пройдемся по тексту. — Глушков усадил актрису на диван, сам остался стоять и скороговоркой, без всякого выражения произнес: — «Я ей говорю, что нельзя так, а она настаивает: только так и можно прожить».

— «А вы бы ее не слушали, мало ли что она наговорит», — тоже скороговоркой и без всякого выражения произнесла актриса, покосившись на Половникова.

— «Так ведь как же не слушать?»

— «А вот так и не слушайте! Или слушайте, но поступайте по-своему. Женщина хитра, а мужчина умнее. Уступая десять раз в мелочах, он лишь усыпляет бдительность женщины, чтобы она легко уступила всего один раз, но в главном...»

Половников невольно прислушивался к тому, как они даже не проходились по тексту, а гнали его, сглатыв-

вая окончания слов. Но вот актриса подняла указательный палец, откинулась на спинку дивана, ее лицо стало вдруг строгим, высокомерным, она с едва скрытым презрением произнесла:

— «Уж и немолоды вы, а все учить вас надобно!»

Глушков тоже вдруг преобразился: ссутулился, глаза его искательно забегали, голос стал глухим, виноватым:

— «Так ведь недаром сказано: «Век живи — век учись». Я вам премного...»

— «Ах, оставьте! Льстивость у вас от лени у ума. Однако мне пора в путь. В путь, в путь!» — Актриса села прямо и обыденным голосом пояснила: — Вот это место. Во-первых, само слово «льстивость» трудно произносится, да еще рядом с ленью. И потом это «в путь, в путь!» слышится как «тьфуть!..»

Тут внимание Половникова отвлек новый посетитель: в кивере с пером, красном кафтане, сапогах с голенищами до самого паха и при шпаге. Сдернув кивер и помахав им в поклоне, он произнес густым басом:

— Позвольте засвидетельствовать вам наше глубочайшее...

— Саша, потише, я и без тебя оглохла, — сказала Анастасия Николаевна и тут же в трубку: — Извините, это я не вам.

Но Саша не обратил на ее предупреждение никакого внимания и еще более оглушительно произнес:

— О владычица наша всесильная! — и, опрокинув кивер, протянул его Анастасии Николаевне.

Она, не прерывая разговора по телефону, опять выдвинула верхний ящик стола, достала оттуда две узенькие полоски каких-то бумажек, вероятно контрамарки, и бросила их в кивер. Владелец его склонился еще ниже и попятился к двери, пока не уперся оттопыренной шпагой в живот вошедшему человеку среднего роста в сером костюме и желтых остроносых ботинках с модным нынче высоким каблуком. Судя по тому, как отпрянул в сторону владелец густого баса и кивера, как примолкли Глушков и актриса, как собралась, будто перед прыжком, Анастасия Николаевна, это и был Заворонский.

Он быстрым взглядом окинул приемную и тотчас направился к Половникову:

— Александр Васильевич?

— Так точно! — по-военному ответил Половников и встал.

В это время в дверь просунул голову кто-то и, видимо не заметив Заворонского, крикнул:

— Эй, люди! В нижнем буфете выбросили кур. Парные и к тому же отечественные.

Люди встрепенулись, мелькнул в проеме двери кивер, за ним исчезла Анастасия Николаевна, крикнув на ходу: «Степан Александрович, я на минутку отлучусь!» Глушковых, пропуская вперед актрису, говорил:

— Тошенька, а что, если мы эту фразу переделывать не будем, а выкинем совсем? Тогда это «Ах, оставьте!» прозвучит даже лучше, можно чуть прибавить наигранного раздражения...

Когда все вышли, Заворонский распахнул дверь в кабинет и предложил:

— Прошу!

Кабинет был большой, но всего об одно окно, и в нем царил полумрак. Однако Половников успел одним взглядом оценить роскошь его убранства: громадный резной письменный стол из красного дерева, инкрустированный перламутром, кресла на тонких гнутых ножках, обтянутые шелком и отделанные бронзовыми узорами, диван с высокой резной спинкой, над ним овальное зеркало, оправленное в бронзовую раму, и старинная хрустальная люстра, в подвесках которой переливались все цвета радуги,— все было музейно и таинственно, даже воздух казался каким-то старым и тяжелым.

И Половников вдруг почувствовал, что робеет,

2

Должно быть, Заворонский догадался о его состоянии и, давая ему возможность освоиться, не сразу начал разговор, а сперва зажег люстру, переставил на окно гжельских мастеров фарфоровую вазочку с красными гвоздиками, перекинув маленький рубильничек, отключил телефоны, переложил с одного края письменного стола на другой стопку бумаг, достал из инкрустированной перламутром же деревянной сигаретницы пачку «Мальборо», ронсоновскую газовую зажигалку, положил их перед Половниковым и опустился в стоявшее напротив кресло.

— Я прочитал вашу последнюю повесть, и она мне понравилась...

— Спасибо.

— Мне бы следовало самому к вам поехать, да как-

то не выбрался. Поэтому я решил пригласить вас сюда. Как вы, очевидно, догадываетесь, вовсе не для того, чтобы сказать вам мое мнение о вашей книге.

— Догадываюсь. Но я пьес не пишу.

— А если попробуете? — Заворонский испытующе посмотрел на Александра Васильевича и улыбнулся.

— Не мое это дело, я прозаик. Нет, нет, я и пробовать не стану, — решительно заявил Половников.

— Но у вас же в повести все есть для пьесы. Не надо ничего добавлять, выдумывать, необходимо лишь перевести ее на язык драматургии, по существу, сделать инсценировку.

— Вот этого-то я и не умею делать.

— Конечно, у драматургии есть свои особенности... — И Заворонский стал подробно объяснять эти особенности. Половников слушал с интересом, хотя ничего нового в принципе для него Степан Александрович не сообщил, но он говорил так увлеченно и убедительно, что вопреки своему первоначальному намерению категорически отказаться Половников вдруг уступил:

— Можно попробовать. Но я не уверен, что у меня получится что-нибудь путное.

— А я почему-то уверен, но не хочу вам сейчас навязывать свои рекомендации, ибо они могут оказаться не только полезными вам, а иногда могут и повредить. Боюсь, что за многие годы работы я уже к чему-то притерпелся и начал мыслить стандартно. А штамп в драматургии особенно опасен. Вы же человек свежий, возможно, и форму найдете какую-то свою, и стиль...

Но Половников ни формы, ни какого-то особого стиля не искал, а просто перелицевал повесть, сделал ее инсценировку. Но и эта, казалось бы, элементарная работа шла у него трудно. Повесть просто даже по объему не укладывалась в те семьдесят — восемьдесят страниц, которые нужны для пьесы, пришлось сокращать какие-то второстепенные сюжетные линии, но стоило их убрать, как вдруг обнаружилось, что порваны весьма важные внутренние связи, без которых сюжет разваливается, поступки становятся недостаточно мотивированными. Он даже и не предполагал, что повесть его написана так плотно, что все в ней так взаимосвязано и логично, каждый эпизод уложен именно в то место, какое ему и надлежит, все выверено и продумано. А ведь когда он писал ее, то вовсе и не мучился над тем, куда положить эти эпизоды, они ложились сами как-то естественно, и внут-

ренные взаимосвязи тоже устанавливались как бы сами собой по мере развития характеров, в соответствии с поступками героев.

И вот теперь пришлось что-то разрушать и на руинах возводить нечто уже иное, не вполне вписывающееся в ранее созданный архитектурный ансамбль, создавать что-то среднее, и это среднее лежало где-то между барокко и бараком. Поэтому первый вариант пьесы он дал Заворонскому как черновой, но тот почему-то сразу поставил его на обсуждение. И то, что его разругали, не удивило и не очень огорчило Александра Васильевича, этого и следовало ожидать. Конкретных замечаний и предложений было высказано не так уж много, с одними можно было соглашаться, с другими спорить, но что следовало признать безоговорочно, так это излишнюю умозрительность и разговорность пьесы.

Поначалу Александру Васильевичу казалось, что стоит пьесу насытить действием, как все сразу станет на свои места, будут соблюдены какие-то необходимые театру пропорции, и он начал переводить размышления в поступки. Но они не всегда переводились, что-то вдруг смазывалось и блекло, терялась какая-то важная мысль, которую просто невозможно было выразить иначе. И прошло много времени, прежде чем он понял, что надо отказаться от инсценировки и вообще от повести, а писать пьесу как таковую, как совершенно иное, самостоятельное произведение, начинать все заново.

Александр Васильевич уже не раз пожалел о том, что согласился на уговоры Заворонского. Еще до того, как сесть за второй вариант, он окончательно убедился, что пьес писать не умеет. Но что-то помешало ему отказаться тогда же, может быть, он надеялся, что дело тут только в технологии, а технологию освоить можно, стоит лишь набить руку. И он стал работать, написал еще один вариант, второй, третий, потом, как это делал со своей прозой, дал ему вылежаться, написал два рассказа и лишь после этого прочитал последний вариант. И опять остался недоволен им, но переделывать его не стал, ибо понял, что еще не готов к этому, что дело тут вовсе не в технологии, а в чем-то ином.

Но в чем именно?

Чтобы понять это, он стал перечитывать классические пьесы, просматривать спектакли, испросил у Заворонского разрешение присутствовать на репетициях. Усевшись где-нибудь в глубине темного и пустого зрительного за-

ла, он наблюдал за работой актеров, прислушивался к советам режиссеров и размышлял, размышлял, стараясь постичь природу и роль театра, специфику актерского таланта.

Как-то он вычитал у Станиславского: «...всякий другой художник может творить, только когда им владеет вдохновение. Но художник сцены должен сам владеть вдохновением и уметь вызывать его тогда, когда оно значится на афише спектакля».

Конечно, вся жизнь актера расписана по часам и минутам, он не может ждать вдохновения даже до завтрашнего дня, если ему надо выходить на сцену уже сегодня вечером. Значит, он должен уметь вызвать в себе вдохновение. Половникову уже не один раз пришлось быть свидетелем того, как тот или иной актер, будучи не в настроении, сумел мобилизовать все физические ресурсы организма, настроить себя, вызвать в себе тот необыкновенный подъем духа, который, наверное, и называется вдохновением.

Но разве так бывает только у актеров?

По своему опыту Александр Васильевич Половников хорошо знал, что вдохновение приходит, как правило, в процессе труда, что все разговоры о безотчетности порывов вдохновения, ниспосылаемых писателю неизвестно кем и как, просто фантазия, легенда, затуманивающая суть творчества.

По своему же собственному опыту Александр Васильевич знал, что в творческий процесс просто приходится втягиваться, что это требует физических и моральных усилий, порой не просто утомляет, а измучивает. Но в один прекрасный момент, словно в награду за это, наступает такая святая, неповторимая минута, когда утомление вдруг спадает, напряжение перестает быть напряжением и дальнейшая работа уже как бы не требует больших усилий, все начинает получаться, твориться как бы само собою — теперь действительно как бы по наитию свыше. Возникает ощущение необыкновенной легкости, радости и восторга. И вот тут уже нужен навык, ибо о технической стороне дела думать просто некогда, надо воплощать замысел, то есть решать ту задачу, ради которой берешься за книгу. Собственно, это и есть наитие, вдохновение.

А как это происходит у актера? Ведь он, собственно, не сам создает образ, ему дает его драматург, пусть не всегда готовый, но хотя бы отчетливо задуманный. Ак-

тер может вносить что-то свое в его трактовку, но выйти за пределы авторского замысла ему нельзя. Именно в авторском толковании он должен донести образ до зрителя. И в этом смысле профессия актера даже не вторична, а третична, ибо между актером и зрителем стоят драматург и режиссер. Александр Васильевич припомнил, как Федор Севастьянович Глушков как-то сравнил свою профессию с ролью бегуна, несущего эстафету на последнем этапе. Как бы хорошо ни прошли свою дистанцию предыдущие участники, донести ее до финиша может только он, актер.

Половников интуитивно догадывался, что не сможет написать пьесу, пока не постигнет, как именно происходит перевоплощение актера в задуманный драматургом образ.

Александр Васильевич спрашивал об этом у многих. Одни пожимали плечами, другие соглашались с его представлениями, третьи возражали, и Половников понял, что у каждого из актеров есть какой-то собственный способ постижения образа, свой путь, куда более сложный, чем в намеченной Александром Васильевичем схеме.

Он вспомнил даже о своем актерском опыте. В десятом классе они решили поставить инсценировку по чеховскому рассказу. Половникову досталась роль помещика, он добросовестно вызубрил ее и даже научился говорить с легкой картавинкой, перед зеркалом отработал кое-какие жесты. Костюмов они не достали, но Половникова облагородили сделанным из картона цилиндром и бабочкой. Все сходились на том, что роль ему удалась, предрекали шумный успех. Но когда он вышел на сцену, послышался шепот, потом легкие смешки, а затем и откровенный гогот. А роль была серьезная, он не понимал, над чем тут можно смеяться, стал еще серьезнее, потом сбился с текста и убежал со сцены раньше, чем полагалось.

Оказалось, что, нахлобучив на него цилиндр и нацепив бабочку, их самодеятельный костюмер забыл снять с лацкана его пиджака комсомольский значок. Он-то и был причиной столь веселой реакции зрителей. Курьез сей напроць отлучил Половникова от сцены, даже суровым армейским организаторам самодеятельности не удалось его уломать.

А вот теперь ему пришлось иметь дело с настоящим театром, с настоящими актерами.

Когда он пожаловался Заворонскому, что не может

понять до конца природу актерского таланта, тот сказал:

— В искусстве не все можно объяснить, есть явления просто неуловимые. А в актерской работе есть еще и нечто таинственное. И чем крупнее актер, тем эта тайна больше, непостижимее. Конечно, есть какие-то и общие закономерности, но это уже технология. А индивидуальные свойства каждого таланта всегда за семью печатями.

— А как же мне теперь быть? — растерянно спросил Половников.

— Присматривайтесь, размышляйте. Общие закономерности вам уже ясны. Теперь вглядывайтесь попристальнее в лица. Кстати, присмотритесь-ка к Виктору Владимирцеву.

«Почему именно к Владимирцеву?» — недоумевал Александр Васильевич. Он знал, что молодой актер в труппу приглашен недавно, идет на проходных ролях, ничем особенно не выделяется. Наверное, Половников и не воспользовался бы этим вскользь брошенным советом Заворонского, если бы во вторник случайно не заглянул в театр, забыв, что этот день у театра — выходной.

3

Они вышли на улицу и невольно остановились у подъезда.

Владимирцев, полагая, что Половников сейчас станет спрашивать мнение о своей пьесе, выжидательно молчал. Собственно, несмотря на то что он дважды прочитал пьесу, мнение о ней как-то не сложилось, впечатления не устоялись и оказались противоречивыми, сказать о пьесе однозначно он не мог и опасался, что неопределенность его суждений, ни в чем не убедив автора, только обидит его.

А Половников молчал потому, что не знал, куда бы ему позвать Владимирцева, где можно спокойно поговорить. Дома не даст поговорить мать, она непременно вмешается в разговор, как вмешивается во все его дела. Пойти в какой-нибудь ресторан? Но там вряд ли удастся раздобыть столик на двоих, а подсадят какого-нибудь выпивоху, от него вряд ли отделаешься.

«Может, в ЦДЛ?»

В Центральном Доме литераторов он бывал часто не только потому, что состоял членом партийного бюро и

по четвергам принимал взносы, а и по той потребности общаться с собратьями по перу, каковую неизбежно испытывают почти все писатели, ибо в самом процессе труда они разъединены, каждый из них, как говорится, умирает в одиночку. Те, что пишут по ночам, — «совы» — до обеда успевают выспаться, а те, что работают по утрам — «жаворонки» — к обеду уже изматываются, и где-то часам к трем-четырем дня начинается стечение в писательский клуб знаменитых и начинающих, и в этом стечении, в обоюдной тяге есть великий смысл. Племя младое и незнакомое, наострив уши, набирается опыта, а старшее поколение пополняет иссякающие запасы дерзости и задора. Нередко в Дом литераторов забредают и люди из смежных цехов — актеры, художники, композиторы — опять по той же потребности общения. В этой диффузии тоже есть великий смысл духовного взаимообогащения.

Но Половникову сегодня не хотелось обрести компанию, разговор предполагался сугубо конфиденциальный.

Можно еще пойти в Дом актера, вряд ли Владимирцев там широко известен, а Половникова там вообще не знают, хотя последнее время он несколько раз заходил туда, присматривался, прислушивался к разговорам, пытаясь постичь все ту же природу актерского дарования. Но однажды за одним столом с ним оказались три розовощекие девицы, они громко восклицали: «Смотрите, вон в том углу инспектор Лосев!.. А вон тот играл в «Председателе»! Вскоре выяснилось, что это продавщицы из соседнего елисеевского гастронома, они заплатили по десять рублей за вход, чтобы посмотреть на живых актеров, а потом похвастаться знакомым: «Вот вчера мы с Гамлетом говорили!» Одна из девиц несколько раз порывалась подойти к столику, за которым сидел один из исполнителей этой роли в театре, но подружки удерживали ее: «Лялька, ну неудобно же!» Но Лялька все-таки отловила артиста уже на выходе, что-то торопливо стала говорить ему, он отрешенно слушал и дежурно улыбался, потом кивнул и ушел. Лялька вернулась окрыленная и торжественно сообщила:

— Девочки, все о'кей! Завтра обещал зайти в нашу секцию. Надо специально для него приготовить что-нибудь дефицитненькое!..

Половников почему-то подумал, что он чем-то похож на этих розовощеких девиц, искренне убежденных, что

за «дефицит» все можно. После этого он перестал посещать Дом актера...

— Вы не будете возражать, если мы посидим в Доме архитектора? — наконец спросил он Владимирцева. — А то на улице зябко.

На улице действительно было зябко, ветер нес колючую снежную крупу, а оба они были одеты довольно легко.

— Я там не был и не знаю, что это такое. Я вообще почти нигде не был, — сообщил Владимирцев. — Правда, пока искал квартиру, помотался по Москве изрядно.

— Сняли?

— Нет. Антонина Владимировна Грибанова нам свою комнату уступила.

— Вот как? Это в наше время уже поступок. Из ряда вон выходящий.

— Но для меня прямо-таки спасительный.

Половников, помолчав, задумчиво сказал:

— Вот что интересно: а я мог бы уступить вам одну из трех своих комнат? Наверное, не смог бы. И дело тут не только в моей маме, она-то, конечно, воспротивилась бы. Дело тут во мне самом. Может, я и уступил бы, но с внутренним сожалением. Вот так. Мы лишь провозглашаем, иногда даже совершаем акты самопожертвования, но делаем это не столь от души, сколь для очищения собственной совести или еще хуже — на публику, или, как у вас говорят, на зрителя.

— И это не так уж плохо, потому что добрые дела зачастую творятся путем насилия над собственным эгоизмом, — заметил Владимирцев.

— Но не так уж это и хорошо, — возразил Половников. — Лучше творить добрые дела от внутренней доброты, без насилия над собой...

В ресторане Дома архитектора было пусто: видимо, поглазеть на живых архитекторов желающих было гораздо меньше, чем на актеров. Столик в углу, в полумраке, вполне устроил Половникова, он предложил Владимирцеву меню:

— Выбирайте.

— Я, знаете ли, не гурман. И вообще... Давайте на ваш столичный вкус. — И вернул Половникову меню.

— Я тоже не гурман; меня мама кормит, — сообщил Половников и небрежно бросил ожидавшей их решения официантке:

— Давайте на ваш вкус...

Пока официантка приносила еду, они продолжали начатый еще на улице разговор о доброте и искренности отношений между людьми. Эта общечеловеческая тема вполне устраивала Владимирцева, он охотно поддерживал ее, но поддерживал осторожно, дабы случайно не завести разговор в русло тех конкретных позиций, которые утверждались или просто провозглашались в пьесе Половникова.

Должно быть, Александр Васильевич почувствовал эту осторожность и с огорчением подумал: «Видать, откровенного разговора не состоится. Владимирцев застегнул душу на все пуговицы. Ничего удивительного: ведь мы с ним первый раз вот так наедине...»

Половникову самому понравилось вот это «застегнуть душу», чтобы не забыть, следовало бы записать эту мысль, ибо он давно внушил себе, что даже самый плохой карандаш лучше самой хорошей памяти, но записывать было неудобно, и он незаметно, под столом, оторвал от пиджака пуговицу, кажется, даже с мясом.

«В армии за эту памятку старшина врезал бы мне на всю катушку», — подумал вдруг Половников. Старшина роты Резник никак не мог уразуметь, что такой увалец и недотепа, как рядовой Половников, может сделать что-то путное. И когда в толстом журнале появился рассказ за подписью рядового Александра Половникова, старшина все равно не поверил, что это его солдат. И лишь когда из журнала пришел в часть денежный перевод, старшина поверил и сразу стал неузнаваемо благосклонным: то ли потому, что зауважал, то ли из опасения, как бы этот недотепа не пропечатал его, старшину Резника.

Половников не знал, что Владимирцев читал его пьесу, и потому даже не упомянул о ней, продолжая все ту же общечеловеческую тему. Вспомнив о том, что Антонина Владимировна Грибанова уступила Владимирцеву комнату, он спросил, устраивает ли их эта комната. Виктор рассказал о нравах, утвердившихся в общежитии пекарей, о Кузьме, о суде над Настей. Это настолько заинтересовало Половникова, что он предложил тотчас же отправиться на Плющиху...

В коридоре, как всегда, играли в девятку. Половников тут же вступил в игру, а Виктор пошел к себе в комнату, чтобы предупредить Марину о госте. Но дверь оказалась запертой, Виктор достал свой ключ, стал вставлять в замочную скважину, но Марина крикнула из-за двери:

— Погоди, я не одета!

Он удивился: «С чего это она вдруг стала стесняться меня?» Но все понял, когда дверь открыли и он увидел Антонину Владимировну. На Марине было темно-синее платье с серебристой искоркой, Виктор видел его впервые.

— Нравится? — спросила Марина, поворачиваясь то одним боком, то другим.

Платье ей очень шло.

— Мне оно стало тесным, — пояснила Антонина Владимировна и с грустью добавила: — Что-то я расползаться стала. Старею!

— Ну что вы! — возразила Марина. — Вы так хорошо выглядите!

— Спасибо. Но мне ведь скоро сорок.

— Не может быть! — воскликнула Марина, и Виктор мысленно согласился с ней: на вид Антонине Владимировне больше тридцати не дашь.

— Так что, покупаем? — спросила Марина, бросив на Виктора мимолетный взгляд. Но он тотчас уловил его смысл: а не очередное ли это одолжение со стороны Грибановой? И одновременно в этом же взгляде Марины — надежда: видимо, ей очень хотелось иметь это платье.

— Безусловно. Оно тебе очень идет. Кстати, ты его сейчас не снимай, ибо у нас сегодня еще один гость: Александр Васильевич Половников.

— А где же он?

— В коридоре, в девятку играет.

— Ой, а у меня даже масла нет! — всполошилась Марина.

— Ничего и не надо, мы только что из ресторана. Вот если по чашке кофе сварить.

— Молоть будешь сам.

Мельница была ручная, крутить пришлось долго.

— Я забыл, что сегодня у нас выходной, и пошел в театр, — пояснил им Виктор. — Там и встретил Половникова. Кстати, Антонина Владимировна, вы читали его пьесу?

— Читала.

— Ну и как?

— Замысел мне нравится, но пьеса, по-моему, еще сырая.

— Кажется, Половников и сам это чувствует.

— Это хорошо, значит, напишет. Не люблю самоуверенных авторов, за них приходится вытягивать нам, ак-

терам, а это не всегда удается. Когда слаба литературная основа, то и нам...

Закончить мысль Антонине Владимировне помешал шум голосов, донесшийся из коридора. Громче других кричал Половников. Владимирцев бросился в коридор.

Игроки, побросав карты, дружно наседали на взъерошенного Половникова:

— Раз смухлевал, плати штраф!

— Да я же не умышленно! Карты слиплись, вот я и не заметил трефовую даму. Что я, по-вашему, жулик?

— А кто тебя знает?

— Да вы что, мужики?

На шум вышел и дед Кузьма, быстро разобравшись в ситуации, рассудил:

— Карты-то и верно засалены донельзя, так что злого умыслу тут нет, неча здря наговаривать на человека. Однако кон запутался и штраф платить надо.

— Ладно,— неохотно согласился Половников, доставая кошелек.— Сколько?

— Сколько есть на кону. Такой порядок,— пояснил Кузьма, явно огорченный неохотностью Половникова.

На кону оказалось семьдесят девять копеек. Половников отсчитывал мелочь медленно, с явным сожалением бросал в блюдце по одной монете.

— Ну и жмот же ты! — не выдержал молодой пекарь Коська.

— Так ведь если бы я их проиграл! Вот вчера я одному жучку из парка проиграл в бильярд четвертную. И не жалел, потому что учился у него. А тут такая нелепость! Так, кладу восемьдесят, беру копейку сдачи.— Он долго не мог выловить из блюдца эту копейку.

— Поехали дальше? — спросил Коська, нетерпеливо наблюдавший за этой ловлей, почти презирая пришлого скрягу.

— Постой. Надо бы еще пузырек придушить,— Половников бросил на стол пятерку.— Кто сходит?

— Давай уж я,— Коська вроде бы с великим одолжением, но с тайной радостью взял пятерку и поднялся из-за стола.— Дед, посидишь за меня коночек-два? Я мигом, одна нога там, другая тут.

— Ладно,— согласился Кузьма и, достав из-под стола пустую бутылку, протянул ее Коське: — Возьми, в обмен принимают.

Владимирцев догадался, что Половников уже послал за водкой.

— Может, хватит? — попытался отговорить он, но Коська, мигом оценив угрозу, выскользнул за дверь.

А Кузьма уже сдавал карты, то и дело поплёвывая на пальцы и бубня:

— Вот, язви их, как на бутылку, дак завсегда сгоношат, а на новую колоду двух рублей не находится.

— Пойдемте, Алёксандр Васильевич, по чашечке кофейку выпьем,— предложил Виктор.

— Кофе — это хорошо,— сказал Половников, разбирая карты.— Несите сюда.

— Я, конечно, могу и сюда принести, но там еще Антонина Владимировна.

— Это другое дело.— Половников бросил карты, но Кузьма запротестовал: — Закончи этот кон и тогда иди.

Кон, как назло, затянулся, конца ему и видно не было, но тут вернулся Коська с бутылкой, Половников уступил ему свое место за столом:

— Давайте за меня.

— А как же это? — Коська щелкнул ногтем по горлышку бутылки.

— Это тоже без меня.

Кузьма запротестовал было, но Половников решительно встал и направился вслед за Владимирцевым. Подходя к двери, они слышали за спиной довольный Коськин возглас:

— Подфартило!

Виктор представил Половникова Марине, тот поцеловал ей руку. Вышло это у него как-то неуклюже, должно быть, рук он раньше никогда и никому не целовал, да и не шло это ему. Он смутился и Антонине Владимировне лишь вежливо поклонился. Она улыбнулась ему и сказала:

— А вы, оказывается, еще и картежник.

— И притом очень азартный,— добавил Виктор.— Это он учинил скандал. Из-за семидесяти девяти копеек.

— А мне и в самом деле их жаль,— признался Половников.— Так что я вдобавок ко всему еще и скряга. А кофе — это просто гениально! Это как раз то, что мне в данный момент необходимо.

За кофе поболтали о каких-то пустяках, и Антонина Владимировна засобиравлась домой.

— Если не возражаете, я вас провожу,— предложил Половников.

— Не возражаю.

На улице стемнело. Ветер утих, и сверху теперь уже не сыпалась колючая крупа, а плавно спускались крупные хлопья снега, кружась в разноцветном праздничном освещении улиц.

— Как в сказке,— с грустным вздохом сказала Антонина Владимировна.

— А почему такая грусть?

Антонина Владимировна ответила не сразу. Наверное, она и сама не понимала почему и, помолчав, откровенно призналась:

— Не знаю.

И в этом признании опять прозвучала грусть и, пожалуй, даже удивление. Александр Васильевич не понял, чему она удивилась: тому ли, что не знает причину своей грусти, или вот этой действительно сказочной погоде. Он хотел спросить об этом, но тут на светофоре зажегся зеленый свет, и Антонина Владимировна, подхватив Половникова под руку, решительно потянула его на переход:

— Идемте, а то не успеем!

Они и верно едва успели пересечь Смоленскую площадь, поток машин, ринувшийся по Садовому кольцу, прошуршал вслед за ними так близко, что они буквально вспрыгнули на тротуар. Их почти до плеч окатило снежной кашей, и Антонина Владимировна, осмотрев Половникова, сказала:

— Однако...

— Однако и вы не лучше выглядите,— заметил он и стал перчаткой сбивать с ее пальто ошметки снега, перемешанные с грязью.— Поэтому нам лучше ехать в такси. Кстати, где вы живете?

— На Каховской улице.

— Тогда вперед, на стоянку. Лучше с песней.— И он, вспоминая мотив, тихо запел: — «Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля...» — Увидев длинную очередь на стоянке такси, разочарованно умолк.

Должно быть, Антонина Владимировна разглядела эту очередь раньше, придержала его за локоть:

— Безнадежно.

Теперь и он обратил внимание на то, что очередь состоит не столько из людей, сколько из свертков, авосек и хозяйственных сумок, и понял, что ждать тут действительно безнадежно.

— Может, и нам заглянуть в гастроном? Все-таки позлезавтра праздник.

— А надо ли? — настороженно спросила Антонина Владимировна. Она подумала: сейчас Половников купит коньяку, шампанского, чего-нибудь еще на закуску — конфеты или сыр, в зависимости от того, в каком отделе очередь меньше, — довезет ее до дому и постарается проникнуть в ее квартиру («Не в подъезде же все это пить?»), а потом и в постель («Три часа ночи, такси уже не поймашь, не в подъезде же ночевать?»).

А она и в самом деле угадала ход его мыслей, потому что после того, как его оставила Наташа, у Половникова (правда, не сразу, а года два спустя) события уже развивались именно по этой схеме, утром он жестоко раскаивался в содеянном, пытался оправдать себя, что делал это исключительно «для здоровья», но ни разу оправдать себя не смог, хотя даже его мать Серафима Поликарповна милостиво прощала ему такие шалости, упрекая, однако:

— Ты хотя бы позвонил...

И он понимал, что мать прощает ему только потому, что чувствует себя виноватой...

Однако в интонации Антонины Владимировны было что-то останавливающее, скорее всего — протест против известной не только ему, а и ей схемы, и он с деланным равнодушием сказал:

— Как хотите. — И для убедительности даже пожал плечами.

Антонина Владимировна рассмеялась:

— Извините, но актер из вас никудышный.

— Правда? — искренне, без обиды спросил он.

— Правда, — опять с грустным вздохом ответила Антонина Владимировна. — У вас не та группа крови. К счастью.

— Почему к счастью? — удивился он.

— Видите ли... Актеру трудно всегда оставаться самим собой. Как бы вам это объяснить? Понимаете... Ну вот я, например, сыграла четырнадцать ролей. Разных, от Катерины до Стряпухи. И тут важно сохранить себя, остаться самой собою. Вы понимаете меня?

— Кажется, понимаю.

— Это принципиально важно.

— А как же с самоотдачей? — удивился Александр Васильевич. — Я вот был на репетициях, слышал, как режиссеры призывают актеров сжигать себя в роли.

— Тут нет противоречия. Актер не может беречь себя — это значило бы обкрадывать себя. На каждый спек-

такль он должен идти, как на первый, а правильное сказать, как на последний.

— Но ведь невозможно же каждый раз умирать, скажем, в роли Гамлета?

— Ну, вы уж слишком буквально все воспринимаете. Актер обязан стремиться к максимальной достоверности. Зрители очень чутки к любой фальши, хотя, может быть, и не отдают себе в этом отчета.

— Ведь есть же у актера и какие-то пределы его возможностей?

— Есть, но тут когда как. Я вот первую свою крупную роль играла с Федором Севастьяновичем Глушковым в «Егоре Булычове». Там есть сцена, когда Егора дождала жизнь, и в ярости против всего, против семьи, которая его не понимает, он обезумел. Федор Севастьянович вообще актер немыслимой эмоциональной силы. Но тогда она проявилась каким-то буквальным образом, словно переродилась в силу физическую. Он в неистовстве схватил и перевернул тяжелейший дубовый стол. Это было шесть лет назад, Федор Севастьянович и тогда уже был стар и в обычной обстановке даже не сдвинул бы этот стол с места. Но внутренний порыв удесятирил его человеческие возможности.

— Но ведь надо уметь возбудить в себе эту эмоциональную силу, способную удесятирить силу физическую. Наверное, тут одного настроения мало.

— Конечно, должны быть еще и профессиональные навыки, актерская техника, умение следовать внутренней партитуре роли. Но это лишь подпорки, что ли... Истина же — в самом актере, в его личности. Видите ли, настоящая индивидуальность актера не столько в нем самом, сколько в индивидуальности созданного им стиля.

— Вот это верно! — воскликнул Половников. — У нас, писателей, то же самое.

— То, да не совсем то, — возразила Антонина Владимировна. — Вы свой стиль несете читателю, ну, непосредственно, что ли, прямо на стол, за которым он читает книгу, в постель, даже в метро, где теперь все читают. А я несу под настроение, с которым он пришел в театр, да и сама я нахожусь в какой-то среде, которая возникла на сценической площадке, если она возникла, а то ведь бывает так, что и среды не чувствуешь... Вот роль чувствуешь, а окружающая тебя среда не сформировалась. И делается так одиноко! Как в космосе! Впрочем,

в космосе я не знаю как. А отрешенность, нет — одиночество, оно и в жизни и на сцене бывает страшным...

Александр Васильевич даже отрезвел, слушая ее, он вдруг понял, что Антонина Владимировна открывает для него именно то, что он так долго, мучительно и безуспешно искал: тайну актерского искусства. Ну, быть может, не всю тайну, но что-то неотделимо принадлежащее ей, какую-то ее неотъемлемую часть — наличие личности. Наверное, это не очень удачное сочетание — «наличие личности» — с точки зрения прозаика, поставь он это рядом, вымарал бы при первом же чтении с машинки, может, и редактор поупражнялся бы на таком созвучии, но сейчас оно не только не резало слух, а сливалось в какую-то еще непонятную ему гармонию...

И еще подумалось вдруг:

«И ведь мы сейчас говорим на производственную тему. Ну чем мы отличаемся от тех киногероев, которые в недавнем фильме объяснялись в любви через бригадный метод подряда?»

Подумав об этом, Половников расхохотался, причем настолько громко, что на них стали оборачиваться прохожие. Антонина Владимировна сначала посмотрела на него удивленно, вроде бы шокирована была этим его хохотом, потом пригляделась к нему и, кажется, поняла.

— Ну и пусть! — сказала она вызывающе. И, должно быть не уверовав в то, что он поймет, пояснила: — Пусть думают, что хотят!

Но он понял и вдруг тихо и покорно согласился:

— Пусть.— И для большей убедительности прижал ее локоть, ощущая не то ее, не то собственную дрожь. И, застеснявшись, вдруг отпустил ее, поднял ей воротник и сурово сказал: — Застудитесь еще.

Ей это почему-то особенно понравилось, но она сделала вид, что не оценила его жеста, и ровным голосом продолжала что-то еще о ролях и отрешенности, теперь уже по инерции, без всякого ощущения, даже не стыдясь своего вот этого неощущения, отрешаясь и от своих слов, и от всего окружающего...

Между тем они незаметно для себя миновали и вход в метро, и Новый Арбат и подходили к площади Восстания. Тут стоянка такси оказалась не менее многолюдной, а других поблизости нет. Все это Половников отметил машинально, потому что слушал он Антонину Владимировну внимательно, однако и внешнее шло тоже где-то параллельно, хотя и приглушенно, вторым планом, но

шло. И, вспомнив, что они с Владимирцевым сегодня были тут, рядом, в Доме архитектора, Александр Васильевич невольно произнес вслух:

— Все возвращается на круги своя.

— Что именно? — не поняла Антонина Владимировна, кажется даже обидевшись: наверное, он прервал какую-то важную для нее мысль.

— Просто мы с Владимирцевым сегодня уже были здесь поблизости, в Доме архитектора.

— А... — она разочарованно умолкла, и Александр Васильевич, вспомнив про оторванную от пиджака пуговицу, даже ошупал карман, дабы удостовериться, что она не потеряна.

Пуговица была в кармане, она прощупывалась как пятнадцатикопеечная монета, но в этот карман он никогда не клал мелочь и потому не сомневался, что это именно та пуговица.

Александр Васильевич вспомнил, что дежурный администратор ЦДЛ может вызвать такси из парка, и сказал:

— А ведь есть выход. Зайдемте в наш писательский дом, я попытаюсь уговорить администратора.

Дежурила Люба, к Половникову она относилась хорошо, но усомнилась:

— Знаете, канун праздника, вряд ли я что-нибудь для вас раздобуду. Но попытаюсь.

Люба быстрым, оценивающим взглядом окинула Антонину Владимировну и, видимо убедившись, что она не случайный человек, совсем не из тех, кто посягает на уважаемого ею писателя, решительно сняла трубку городского телефона и, не спуская глаз с Антонины Владимировны, стала уговаривать диспетчера:

— Я понимаю, у вас запарка, но нам очень надо. Очень! Ну с линии возьмите, у вас же теперь радио есть. Хорошо, я подожду. — Люба кивнула Половникову: мол, сделает. И тут же спросила: — Через час вас устроит?

Александр Васильевич вопросительно посмотрел на Антонину Владимировну, а та прикинула, что на стоянке они проторчат дольше, и согласно кивнула.

— Спасибо, миленькая, присылайте. — Люба положила трубку и предложила: — Раздевайтесь, посмотрите в фойе большого зала выставку, а я вас найду, когда машина выйдет.

Они разделись и поднялись на второй этаж.

Выставлены были картины писателей, Александр Ва-

сильевич даже не подозревал, что так много писателей увлекаются живописью. Почти всех их он знал и рассматривал рисунки и картины с интересом. Антонина Владимировна похвалила:

— По-моему, вполне профессионально. У нас некоторые актеры тоже рисуют. А вспомните Николая Акимова. Он был не только режиссером, а и художником, сам блестяще оформлял свои спектакли, делал эскизы костюмов, писал афиши. Он был художником не только театра, а и кино. Помните фильмы «Кашей Бессмертный» и «Золушка»? Так вот это его.

— Вы говорите о нем так, как будто были в него влюблены! — ревниво заметил Половников.

— А я и вправду была влюблена в него. Да и не одна я, все мы, молодые актрисы, работавшие с ним. Я ведь около полутора лет работала в Ленинградском театре комедии. Для меня это был, ну, скажем, не то чтобы этап в моей жизни, но постижение чего-то, чего я не могла постичь в другом театре, — безусловно!

— А я полагал, что вы коренная москвичка. С Плющихи.

— Верно, родилась я именно на Плющихе. И окончила Щукинское училище, распределили меня в Вахтанговский театр. Там я как-то сразу пошла хорошо, но потом вынуждена была на время уехать из Москвы. Так сложились обстоятельства... — Антонина Владимировна вздохнула, и Половников, догадываясь, какие это могли быть обстоятельства, опять ревниво подумал: «Наверное, как у меня с Наташкой. А может, и не так, но она, видно, была замужем». И спросил прямо:

— Неудачное замужество?

— Да, — так же прямо, пожалуй, даже вызываясь ответить Антонина Владимировна. И Половников счел нужным принять этот вызов:

— Мне это знакомо. — Он постарался произнести фразу с легкой иронией, но у него не получилось, он это понял и поспешно вернул разговор к Николаю Акимову: — Я видел у него «Тень» Евгения Шварца.

— Он ставил еще и «Тени» Салтыкова-Щедрина, — вроде бы попутно, пояснительно и несколько обиженно напомнила Антонина Владимировна.

Появилась Люба, сказала, что такси будет минут через десять, и сунула Половникову клочок бумажки, на котором был записан номер машины.

Когда они оделись и вышли на улицу, там все еще па-

дал крупными хлопьями снег, за его занавесом стоявшее напротив здание посольства казалось совсем игрушечным. Александр Васильевич каждый раз любовался этим зданием, а вот узнать, какое там разместилось посольство и что в этом здании было раньше, так и не удосужился.

Машины еще не было, а снег все валил и валил. Они укрылись в подъезде, и Александр Васильевич нерешительно предложил:

— А что, если мы заедем ко мне?

Антонина Владимировна удивленно посмотрела на него, он сразу понял ее и торопливо пояснил:

— У меня мама сегодня пирог пекла... С капустой. Знаете, я очень люблю пироги с капустой.

Антонина Владимировна улыбнулась и, сознавая, что подстегивает его, вызывающе сказала:

— Ну, если мама, да еще и пирог, то можно и поехать. Представьте, я тоже люблю пироги с капустой.

Как раз подошла машина, и они поехали. То ли их смущал водитель, то ли еще что, но разговор как-то не клеился, и они надолго умолкли. Антонина Владимировна, забившись в угол салона, сосредоточенно смотрела на улицу, и Александр Васильевич невольно подумал, что она, наверное, жалеет, что согласилась поехать к нему.

Но она не жалела, она просто вспомнила его пьесу и думала о том, что о ней скажет, если он спросит ее мнение. А он, конечно, спросит, и надо высказать ему все прямо, не боясь обидеть...

Машина остановилась, Александр Васильевич расплатился с водителем, помог Антонине Владимировне выйти и, прежде чем ввести ее в подъезд, смущенно предупредил:

— Вы знаете, мама у меня со странностями, так вы не обращайте внимания. К ней надо просто привыкнуть.

«А зачем мне к ней привыкать?» — невольно подумала Антонина Владимировна, но вслух сказала:

— Я буду вести себя хорошо.

— Ну и прекрасно! — Половников с треском распахнул дверь подъезда: — Прошу!

4

Деспотизм старшины Резника был куда более безобидным, чем деспотизм матери, хотя Серафима Поликарповна Половникова была искренне убеждена, что на све-

те нет и не может быть человека более мягкого и покладистого, чем она. Потеряв на войне мужа, она всю свою оставшуюся жизнь посвятила сыну и суеверно боялась, что с ним без ее догляда непременно случится что-то непоправимое, и потому старалась не отпускать его от себя ни на шаг. Она до десятого класса провожала его в школу, что было обоснованной причиной не прекращавшихся долгие годы насмешек над ним. Впрочем, с годами все к этому привыкли и не только перестали насмехаться, а даже тревожились, если она почему-либо не следовала за ним на том «почтительном» расстоянии, которое, по ее мнению, было достаточно большим, чтобы не смущать его, и достаточно надежным, чтобы вовремя поспеть ему на помощь, если она, не дай бог, ему потребуется.

Уходя в армию, он надеялся, что хотя бы на три года избавится от ее опеки, но Серафима Поликарповна, выйдя на пенсию, поехала вслед за ним, сняла комнатку в городке, где стояла его часть. Она жгуче возненавидела старшину Резника, а тот неоднократно предупреждал рядового Половникова:

— Если она еще будет висеть на заборе, я ее арестую как шпионку.

Однажды он и в самом деле натравил на нее патруль, дежурный офицер долго допрашивал ее, но, проверив документы, отпустил. Это вызвало такую ярость старшины Резника, что он тут же отвалил рядовому Половникову четыре наряда вне очереди, явно превысив данную уставом власть. Однако Александр отработал на кухне только два, ибо к тому времени как раз и поступил денежный перевод из редакции журнала, где был опубликован очередной его рассказ.

То, что Александр стал писателем, ничуть не удивило Серафиму Поликарповну, как не удивило бы, если он стал бы композитором или ученым; она никогда не сомневалась, что сыну предназначена судьба незаурядная, не подозревая, что заурядными могут быть и писатели и композиторы. Ее как нельзя лучше устраивало то, что он работает дома, у нее на глазах, она старалась создать ему идеальные условия для работы и... постоянно мешала. Она обладала удивительной способностью выбирать самые неподходящие моменты для проявления заботы.

— Сашенька, только что по радио обещали на завтра минус три,— сообщала она, входя в его кабинет,— не достать ли тебе меховую шапку?

— Что? — рассеянно спрашивал он.

- Шапку.
- Какую шапку?
- Да меховую же! Завтра будет минус три.
- Очень хорошо,— все еще отрешенно говорил он.
- Что же тут хорошего?

А только что найденная мысль уплывала, и, когда Серафима Поликарповна, обиженно поджав губы, наконец удалялась, все приходилось искать заново. Но едва работа начинала идти, как Серафима Поликарповна появлялась снова с каким-нибудь очередным сообщением или предложением, которое она могла бы высказать и завтра, и послезавтра, и через месяц, и даже через столетие.

Чтобы без помех обдумать то, что уже пошло, он старался удрать из дому под любым предлогом: в редакцию газеты или журнала, в издательство, за сигаретами. Но все газетные и издательские дела вскоре взяла на себя Серафима Поликарповна, сигареты она тоже стала поставлять блоками, и Александру Васильевичу не оставалось ничего, кроме прогулок в парке.

— Вот это тебе крайне необходимо,— одобряла Серафима Поликарповна и начинала поспешно одеваться.— Мне тоже. А то сидим без воздуха. А ты еще и в дыму.

— Но я хотел бы кое-что обдумать в одиночестве, сосредоточиться,— без всякой надежды еще пытался он сопротивляться.

— Пожалуйста, обдумывай, я тебе не буду мешать. Я буду молчать, как рыба,— послушно соглашалась она, пытаясь помочь ему одеться.

Но молчать она не умела. А он едва подавлял в себе раздражение, будучи не в силах унять ее. У него нередко возникало такое ощущение, будто идет он в одиночку в атаку на невидимого противника, который из своих укрытий обрушил на него весь пулеметный огонь.

Начав писать пьесу, Александр Васильевич получил разрешение присутствовать не только на репетициях, а и на всех спектаклях театра. Однажды он пригласил и мать, она готовилась к выходу в свет дня три, но почти все первое действие не смотрела на сцену, оглядывая партер и спрашивая, кто есть кто. На них уже оборачивались и шикали, и, когда Серафима Поликарповна заметила, что у актеров нынче совсем не та дикция, их просто не слышно в зале, Александр раздраженно шепнул ей на ухо:

— А ты хоть на минуту закрой рот. Тогда не только ты, а и другие услышат актеров.

Она обиженно поджала губы, хотела встать и уйти, но, видимо, постеснялась. А потом Александр увидел на ее лице крайнее удивление. Должно быть, она удивилась тому, что в мире есть кроме ее собственного голоса еще и другие звуки. Во всяком случае, до окончания первого акта она просидела молча и, кажется, даже успела чю-нять, что происходило на сцене.

Но это еще более укрепило ее неприязнь к театру. А неприязнь у нее начала возникать сразу же, как только Александр сел за пьесу: ее удивило и огорчило, что Сашенька, который так легко пишет повести и романы в несколько сотен страниц, вдруг не может осилить какие-то шестьдесят-семьдесят страниц, где даже пейзажей писать не надо, одни разговоры. А разговор записать — это так просто! Да послушай он ее хотя бы день, тут и не одну драму написать можно, даже сочинять не придется, только успевай записывать!

И, подъезжая к дому, Александр Васильевич вдруг вспомнил обо всех этих странностях матери и насторожился: «Господи, она и Наташку-то не приняла!»

И стал накручивать самые немыслимые сюжеты встречи матери с Антониной Владимировной. «Она же уязвимее Наташки,— с горечью думал он, искоса поглядывая на забившуюся в угол салона Антонину Владимировну.— Она же удерет, несмотря на пироги с капустой».

Он понимал, что эти пироги с капустой лишь повод, может, Грибанова их тоже любит, но этот повод — лишь оправдание ее согласия. На что? Он ведь заметил, что она разгадала всю его схему поведения возле смоленского гастронома. И, не согласившись с этой схемой, вдруг согласилась поехать к нему на пироги. Почему?

А тут еще мама!

С ее ревностью ко всем и вся. С ее настороженностью и подозрительностью в посягательстве на ее монополию. С ее ревностью к театру вообще.

А тут вдруг он придет с Антониной Владимировной. С актрисой.

Впрочем, если к театру, поедающему ее гениального сына, Серафима Поликарповна испытывала устойчивую неприязнь, то против служителей его в принципе ничего не имела, ибо любила искренне как актеров и Папанова, и Ульянова, и Смоктуновского, и Попова. Из актрис она предпочитала Зуеву и Пашенную, хотя бы потому,

что они никак не могли угрожать ее семейному благополучию, то бишь посягать на ее Сашеньку.

А на Сашеньку уже посягали.

Девочка была совсем невзраченькая, к тому же еще и некрашенная и смирененькая, с толстой — в руку — каштановой косой, немодной, ибо модной в ту пору была прическа под названием: «Я у мамы дурочка». А она была совсем не дурочка, к тому же сирота, и Серафима Поликарповна решила заменить ей маму. Господи, чего только не делала Серафима Поликарповна: и кофе им в постель подавала, и доставала для них дефицитную в то время зубную пасту «Поморин», и обеды готовила лучше, чем в бывшей «Савойе», и по хозяйству ничего невестке делать не разрешала, а вот — поди ж ты! — не понравилась этой с виду скромной невестке! Впрочем, она так до конца и осталась скромной, уходя, не нахамила, а лишь тихо призналась: «Знаете, мне вас жаль. И Сашу. И себя». — И заплакала. Тихо так, бездомно.

Потом, когда Серафима Поликарповна заболела двусторонней пневмонией, Наташа дни и ночи проводила у ее постели — деловая, но почти безмолвная. А как только спала температура, исчезла так же незаметно, как появилась. И Серафима Поликарповна почему-то чувствовала себя виноватой перед ней, но в чем именно — не понимала. Ведь она так много делала для них — для Сашеньки и Наташи! Если бы они отвечали черной неблагодарностью, ей было бы легче. Но они благодарили, быть может, слишком вежливо, но благодарили же!

После ухода Наташи Сашенька ни разу не упрекнул мать, но она чувствовала...

«Господи, да я-то в чем виновата?» — не раз мысленно спрашивала она. И догадывалась, что в чем-то оправдывается перед собой за что-то. За что?..

Честно говоря, ее даже огорчало, что после ухода Наташи Сашенька как-то перестал вообще говорить о женщинах, а когда Серафима Поликарповна нечаянно вспомнила Наташу, сразу замыкался и после этого долго не выходил из кабинета. Сначала она думала, что Сашенька работает, но однажды, поборов свое самолюбие, заглянула в замочную скважину и обнаружила, что Саша нервно бегаёт по кабинету в густых клубах табачного дыма.

Вот тут-то ее и осенило, что упоминанием о Наташе она причиняет сыну боль, и она перестала упоминать или

старалась не упоминать без крайней на то необходимости.

И вот сейчас, открыв дверь и увидев Сашеньку с какой-то посторонней женщиной, она сначала изумилась, а потом, почувствовав запах спиртного, и вовсе обомлела... «Неужели докатился до того, что взял пьяную женщину с улицы?» — горестно подумала она, неохотно отступая от двери, чтобы пропустить их.

— Это Антонина Владимировна, — представил Сашенька. — Да ты ее видела в спектакле, который мы смотрели.

Серафима Поликарповна, облегченно вздохнув (слава богу, не с улицы!), вгляделась попристальней в лицо этой женщины и... не признала. Это было и немудрено, ибо Антонина Владимировна играла в том спектакле сгорбленную старуху в парике с жидкими седыми волосами, гнусавую и вредную...

— А это моя мама, Серафима Поликарповна.

— Очень приятно.

Серафима Поликарповна, пожав худенькую холодную руку, нарочно отстранила Сашеньку и, удостоверившись, что от женщины ничем, кроме духов, не пахнет, обрадовалась и этому, хотела даже помочь раздеться, но Сашенька решительно пресек:

— Мама, позволь уж мне самому. А вот если ты угостишь нас пирогом с капустой, мы будем премного благодарны.

И хотя это «мы» не понравилось Серафиме Поликарповне, она, как могла приветливо, сообщила:

— Вы как раз вовремя подоспели. Именно только сейчас пирог подомлел до нужной кондиции... — Последнее слово она выделила интонацией специально, от нее не ускользнуло, что при этой «кондиции» Сашенька досадливо поморщился, а эта женщина (как ее?) тотчас успокоила его снисходительной улыбкой, как бы говорящей: мол, не волнуйся, я все понимаю. И Сашенька как-то смиренно успокоился, что опять встревожило Серафиму Поликарповну: «Ага, уже спелись, а мне он ни разу не говорил о ней».

— Проходите в гостиную, а я займусь пирогом, — довольно сухо предложила она и удалилась. Но не в кухню, а в ванную, закрылась на задвижку и, критически рассмотрев себя в зеркале, огорчилась: на лице ее еще сохранялась некоторая растерянность, а этого никак допускать нельзя. «Сунь ей в рот только палец, она всю

руку откусит», — неприязненно подумала она об этой женщине (как ее все-таки?). Серафима Поликарповна при первом знакомстве почему-то не запоминала имен и всегда переспрашивала, а вот тут не решилась. «Почему?» — спросила она себя и постаралась придать лицу более суровое выражение. Но получилось еще хуже, в лице появилось что-то сварливое. «А может, я и в самом деле сварливая стала? — горестно подумала она. — Может, и Наташка поэтому ушла?»

И тут она невольно всплакнула, но, вспомнив, что ее ждут, торопливо вытерла лицо полотенцем, слегка припудрилась и пошла в кухню. Пирог и в самом деле подошел, она осторожно переложила его на блюдо, аккуратно нарезала, достала из серванта лучшие приборы, которыми пользовались лишь в торжественных случаях и которые Сашенька насмешливо называл «к обеднешными», вскипятила электрический самовар, которым пользовались еще реже, достала новые салфетки и, проверив прическу, отправилась приглашать к столу.

— Простите, я как-то не сразу запоминаю имена... — начала она, входя в так называемую гостиную, которая никакой гостиной не была хотя бы уже потому, что гости у них почти не водились, но в этой комнате стояли диван, два удобных кресла-раковины и телевизор, который Сашенька именовал не иначе, как «врагом общества», «убийцей культуры», «палачом интеллекта» и еще как-то.

— Антонина Владимировна, — поспешно напомнил Сашенька.

— Если вам удобно, можете называть просто Тоней, — сказала та.

«Ну да, сразу же напоминает о моем возрасте», — обиделась Серафима Поликарповна, но сдержалась и как можно добродушно предложила:

— Прошу к столу!

Пирог они ели с явным удовольствием, эта Тоня похвалила его, кажется, вполне искренне и даже спросила, как его пекут. Серафима Поликарповна начала было подробно объяснять, как ставить тесто, но Сашенька очень невежливо прервал ее:

— Мама, про тесто Антонина Владимировна знает, она всю жизнь прожила среди пекарей.

— Да? — искренне удивилась Серафима Поликарповна и хотела спросить, почему именно среди пекарей,

но тут они уже наелись и ушли в кабинет Сашеньки, оставив ее убирать со стола.

«Даже не предложила помочь!—придирчиво подумала Серафима Поликарповна.—Разумеется, я бы не позволила, сказала бы, что пусть они занимаются своими делами... А интересно, какие у них дела?»

Ее опять потянуло к замочной скважине, но она тут же одернула себя: «Это неприлично. Одно дело Сашенька, а тут...»

Однако чувство приличия не мешало ей чутко прислушиваться, и вскоре она успокоилась, убедившись, что разговор идет лишь о Сашенькиной пьесе.

5

Собственно, этого разговора Антонина Владимировна хотела бы избежать, но он возник как-то непроизвольно. Войдя в кабинет Половникова, она с любопытством стала осматривать его. У нее было несколько знакомых писателей, в основном драматургов, но ни у одного из них она не была дома, ей было просто интересно посмотреть на рабочее место писателя, и она обозревала его с тем профессиональным интересом, в котором нет никакой личной заинтересованности.

Комната была большой и, наверное, светлой, ибо в ней было два окна, расположенных в смежных стенах, выходящих во двор. Две глухие стены до самого потолка занимали стеллажи с книгами, между ними располагалось вращающееся кресло с высокой спинкой, которое и предложил ей Половников:

— Садитесь сюда, здесь вам будет удобнее.

Но она села не сразу, а остановившись посреди комнаты, еще раз обозрела ее. К окну, которое занимало почти всю торцовую стену, был поставлен маленький однотумбовый письменный столик, неполированный, из натурального дерева, кажется из ясеня, с рабочим креслом, жестким, из того же дерева, наверное, тяжелым и прочным. Слева, по другой стене, где было второе окно, от угла и вплотную к нему стояла не очень высокая книжная стенка из того же дерева, на ее полках размещалась в основном справочная литература: словари, литературная энциклопедия, знакомая театральная, телефонный справочник, словарь синонимов, четырехтомники Даля и Ушакова, почему-то краткая медицинская энциклопедия и всяческие безделушки: от тонкой резь-

бы из слоновой кости до полного столового набора из дерева, расписанного в Хохломе. Почти полкомнаты занимал широкий стол, придвинутый к другому окну, видимо обеденный персон на двенадцать, того же дерева, беспорядочно заваленный рукописями и книгами, с пишущей машинкой «Эрика», с полными окурков пепельницами и разноцветными шариковыми ручками. Судя по всему, именно за этим столом и работал Половников.

Словно угадав ее мысли, Александр Васильевич, оправдываясь, пояснил:

— У меня, извините, беспорядок. Но, знаете ли, когда я работаю, люблю, чтобы все было под рукой, и мне всегда не хватает места.

И тут Антонина Владимировна, как-то непроизвольно окинув взглядом стол, заметила, что на заложенном в машинку листе крупно, как это принято в пьесах, напечатано: «Валентина Петровна». Именно на эту роль она и рассчитывала в спектакле, хотя это была и не совсем ее роль, не ее амплуа. Роли еще и не распределяли, но она уже пыталась представить себя в образе этой Валентины Петровны, может быть, спонтанно уже готовила себя к ней и поэтому обрадованно, без актерства, вполне искренне, словно уличив его в чем-то тайном, воскликнула:

— Ага, работаете!

Александр Васильевич, точно пойманный на месте преступления мелкий воришка, покаянно сказал:

— Работаю.

— Вот это хорошо! Значит, чувствуете, что надо еще работать.

— А вы... читали? — спросил он настороженно, с явным опасением.

— Да. Откровенно говоря, я не очень-то вижу себя именно в роли Валентины Петровны. Но мне хотелось бы ее сыграть, хотя она меня не удовлетворяет.

— Чем? — вскинулся он, пожалуй, слишком нервно.

— Пока еще не знаю. Скорее всего, противоречивостью характера. В принципе это бывает — именно противоречивость. Но тут — другое. Как бы вам это объяснить...

— Нелогичность? — теперь уже с оттенком надежды скорее всего на оправдание уже спокойнее спросил он.

— Нет, совсем не то. Понимаете — противоречивость может быть закономерной. Ну, скажем, когда человек

очень импульсивный: Тогда это если уж не вполне закономерно, то хотя бы объяснимо. А у вас какая-то незавершенность, что ли...

— Как вы сказали? Незавершенность? А всегда ли надо завершать? — Половников, сунув руки в карманы, опять нервно заходил по комнате, цепляясь за углы большого стола, сдвигая стулья и едва не наступая на ноги Антонине Владимировне, опустившейся в это удобное вращающееся кресло лишь для того, чтобы дать ему больше пространства.

— Сюжет можно и не завершать,— сказала она, опасливо подгибая ноги,— но образ! Скажем проще — характер я должна понять и почувствовать.

Половников вдруг резко остановился перед ней, точнее, даже навис над ней и спросил почти грозно:

— Неужели не чувствуете?

Хорошо, что он видел ее лишь всю, как говорится, в общем и целом, как и она видела его тоже всего, сравнивая с нависшей над ней скалой, грозящей ей опасностью. Но она была еще и женщиной, а женщина даже в минуту опасности успевает все замечать, и вот именно в этот момент Антонина Владимировна вдруг увидела, что чулок на правой коленке пополз. Сначала она почти инстинктивно прикрыла это капроновое ущелье ладонью, но, почувствовав, что чулок расползается и дальше, резко встала, отчего приобрела весьма воинственный вид (это уж потом она сообразила) и вызывающе ответила:

— Не чувствую!

— Почему? — удивился он, теперь уже растерянно, пожалуй, даже беспомощно.

— Почему? — повторила она для того лишь, чтобы самой успокоиться и не привлекать его внимания к правой коленке, о которой он, впрочем, и не подозревал. — Потому что... — она наконец вполне овладела собой. — Потому что у вас тут не состыкуется.

— Что не состыкуется? — опять резко и, пожалуй, слишком раздраженно спросил он.

— Все не состыкуется,— с храброй обреченностью тихо сказала Антонина Владимировна.

И Половников так же тихо, будто осадив себя на всем скаку, переспросил:

— Что не состыкуется?

— Все! — вызывающе почти выкрикнула она, чувствуя, что теперь не ему, а ей изменяет выдержка, но остановиться уже не могла и продолжала все в том же

крещендо: — Все! Я же так и не поняла, что такое эта Валентина Петровна. Она же у вас делает то, что ей абсолютно не свойственно. Ну, ее характеру не свойственно. В общем-то, и так может быть. Но в каких-то особьх, экстремальных, что ли, обстоятельствах! Обстоятельств нет! А она ведет себя так, как будто они есть. Вот почему она неправдоподобна! Она вся вне обстоятельств. А так не бывает даже у отрешенных от жизни.

— Но ведь и она должна понимать, что Земля — очень маленькая. У нее же двое детей!

— Да, должна. Но когда именно должна она это понять? Я вот не знаю, когда, в какой момент. Утром, вечером, в понедельник, во вторник. Когда?

— А правда, когда? — вдруг растеряннo спросил Половников и задумался.

— Понимаете, у вас Валентина Петровна какая-то заданная. Пожалуй, я не права, говоря, что я ее не чувствую. Я угадываю ее характер, но он статичен, непонятно, как он проявится в других обстоятельствах, а мне это важно знать, тогда рисунок роли будет отчетливее. По-моему, каждый персонаж в пьесе должен развиваться от и до. Или это будет по восходящей, или по нисходящей, возвышение или падение, необязательно это будет предел, но движение...

— Что же, пожалуй, вы правы, — удивился Половников и опять забежал по кабинету. Не обмявший по плечам пиджак, должно быть впервые надетый, делал его фигуру мешковатой, сковывал его движения и явно мешал ему. В конце концов Половников сбросил его. Волосы то и дело падали ему на глаза, он несколько раз резким кивком головы пытался откинуть их, но они тут же опять падали, и наконец он, запустив пятерню, перевернул их, спутал, и они больше уже не падали, но, взъерошенные, еще больше подчеркивали его возбужденность и непосредственность.

Вот эта непосредственность не только привлекала в нем, а и несколько умиляла, что ли, Антонину Владимировну. Что там ни говори, а театральная атмосфера неизбежно влияла на отношения людей, в них не исключались сердечность и доброжелательность, но было немало и притворства, профессионального позерства, а нередко и искусно прикрытого лицемерия. Поэтому настолько привлекательной казалась сейчас непосредственность Половникова, откровенность каждого его движе-

ния, выражения лица, каждого жеста. Эта естественность поведения располагала и возвышала Половникова в глазах Антонины Владимировны, делала его чуть ли не исключительным. И странно: сейчас он вовсе не казался мешковатым и неуклюжим, наоборот, движение придавало его фигуре какую-то свою завершенность и привлекательность, даже его полнота казалась вполне уместной.

«Кажется, он начинает мне нравиться,— подумала Антонина Владимировна и испугалась: — Только этого не хватает! Обожглась на молоке, так пора бы и дуть на воду...» И, посерьезнев, взяла со стола рукопись, полистала и деловито сказала:

— Или вот хотя бы начало второго акта. Появляется впервые Валентина Петровна. И сразу же идет реплика, поясняющая, кто она такая: «Ваша жена идет». А это плохо. Ибо надо, чтобы уже в первом акте было подготовлено появление Валентины Петровны и зритель уже ждал бы ее появления. Как это сделать — ваша забота.

Половников, перестав бегать, остановился за спиной Антонины Владимировны и через ее плечо смотрел в текст. Она ощущала затылком его дыхание, и ей почему-то захотелось, чтобы он сейчас обнял ее. Желание было столь сильным, что она опять испугалась, бросив листы на стол, отошла в угол комнаты. А Половников, подхватив листы, рухнул в кресло и пробормотал:

— А и верно ведь. Но как это сделать, как?

Он морщил лоб, потирал виски, что-то пришептывал, и опять это было все так естественно, что в Антонине Владимировне снова начало подниматься еще неосознанное желание прикоснуться к нему, обнять и сказать что-то очень ласковое.

Но тут за дверью скрипнул паркет, они оба вздрогнули, Александр Васильевич вскинул голову, посмотрел на дверь и нарочито громко произнес:

— Чу, слышу шаги командора!

Антонина Владимировна взглянула на часы и ужаснулась:

— Без четверти два! Вы можете вызвать такси? У меня же в одиннадцать репетиция!

— Мама! — крикнул за дверь Половников. — Как тут вызвать такси?

— А зачем? — спросила Серафима Поликарповна, входя в комнату и одним взглядом оценивая мизансцену:

встревоженную поздним часом женщину и развалившегося в «сонном» (ее эпитет!) кресле сына. — Я уже постелила Антонине Владимировне в гостиной. Пойдемте, милочка, я вам покажу!

Александр Васильевич удивленно посмотрел на мать и, повернувшись к Антонине Владимировне, нерешительно спросил:

— А может, она и права? У вас же в одиннадцать репетиция. Так что не имеет смысла...

— Конечно! Ты, Сашенька, и сам поспи, — мягко сказала Серафима Поликарповна и, взяв Антонину Владимировну за руку, так же ненастойчиво вытянула ее из комнаты.

— А может, мне все-таки уехать? — шепотом спросила уже в прихожей Антонина Владимировна.

— Куда же в эту пору? — тоже шепотом сказала Серафима Поликарповна и, нагнувшись к самому уху, доверительно сообщила: — А знаете, вы мне очень даже понравились.

— Спасибо, — машинально поблагодарила Антонина Владимировна и вдруг озорно добавила: — Наверное, это не так уж легко — понравиться вам.

Серафима Поликарповна даже отшатнулась, но, пристально взглядевшись в лицо Антонины Владимировны, вдруг улыбнулась:

— А ведь и верно, нелегко! — И неожиданно засмеялась так широко и открыто, что вся сразу преобразилась, но лишь на мгновение: испуганно глянув на дверь кабинета, поднялась на цыпочки и, схватив за руку Антонину Владимировну и увлекая ее за собой, прошептала: — Пусть его! А наше дело бабье, извините, я хотела сказать — женское, то есть тонкое.

Потом, сидя в ногах у Антонины Владимировны, уютно расположившейся на диване в гостиной, она подробно рассказывала о своей жизни, о детстве Сашеньки, наверное, о чем-то еще, чего Антонина Владимировна уже не слышала; хотя в этот день у нее не было ни репетиций, ни спектаклей, ни съемок, ни записей, она чувствовала себя страшно утомленной, а тут еще так расслабляюще, обволакивающе действовал голос Серафимы Поликарповны, что бороться со сном уже не было никаких сил, и она провалилась в него, как в пропасть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Они приехали за четырнадцать минут до начала репетиции, и появление их вместе сначала обсуждалось вахтершей и гардеробщицей.

— Тоша-то вроде как сама не своя,— заметила гардеробщица, работавшая в театре вот уже четвертый десяток лет и научившаяся безошибочно определять, кто и в какой сегодня форме.

— И то! — подтвердила вахтерша, работавшая в театре еще на десяток лет дольше.

— А энтот-то кто?

— Да автор какой-то. Вчерась заявился. Не знал, что все, кроме меня, по вторникам тут выходные.

— Неужто на такого невидного польстилась?

— Так ведь в мужике-то бывает именно то хорошо, что не всем и видно! — хихикнув, резюмировала вахтерша.

— Ох, Фенька, старая ты уж, а все такая же озорница! — упрекнула гардеробщица, не столько осуждая, сколько удивляясь, а может, и завидуя ее озорству.

Но вахтерша тон ее не поддержала, а заметила весьма философски:

— Мы тут с тобой только сверху видим, а жисть, она и с изнанки существует. Может, автор-то этот с обших сторон хорош. Такой необтесанный, а необтесанные-то они лучше. Ну да не тебе это сказывать, ты тут не менее меня насмотрелась всякого.

— Оно так. А этот и правда стеснительный. Ее завел, а сам в общий гардероб раздеваться побежал. Неужто я его тут не повесила бы!

— Ну и слава богу, что не нахал. А то ведь иногда прямо нахрапом лезут. Особенно девки. Не захочешь сгруппировать, а грубишь. Слышала, мне опять выговор объявили?

— И премию дали...

— Вроде бы извинились этой десяткой. А лучше бы без десятки извинились: так, мол, и так, мы были неправые. А мне эта десятка теперь руки жжет.

— А ты ее потрать.

— Да уж потратила. За свет вот заплатила, за газ, а на остатки пива жигулевского две бутылки купила. Не себе, зятю на похмелку. Уж и рад был! От радости-то

даже в театр Лизку водил, я им контрамарки выпросила. Даже подстригся.

— Ну?

— А ты не нукай, не запрягла еще! — рассердилась вдруг Феня. — Еще сглазишь...

Беседу их прервал молодой актер Олег Пальчиков, пулей влетевший в гардероб. На ходу сбросив пальто и шапку, он, поплевав на ладонь, примял перед зеркалом непокорный чуб.

— Опять опаздываешь? — осуждающе спросила Феня.

— У меня выход только через... — он глянул на массивные металлические наручные часы, похожие на будильник, и заторопился: — Через двадцать две минуты!

— Вот такие они все нынче, — вздохнула Феня, прислушиваясь к затихающему грохоту сапог убегающего актера. — Я уж не говорю о репетициях, они и на спектакль-то сломя голову летят, на сцену выбегают запыхавшиеся. А раньше как было? Все приходили не позже чем за час, а ведущие — и за два. Настраивались. Бывало, ходют и ходют, ничего не слышат, тут уж к ним не подступись, даже к телефону звать не велели. Вон Федор Севастьянович и ноне так... Знаешь, что он мне один раз сказывал? Говорит: «Феня, ты мне тут запасную одежду поддержи». — «Зачем?» — спрашиваю. А он и разъясняет: «Я когда-нибудь сухим с репетиций уходил?» Стала я, значит, припоминать, а не припомню, чтобы он сухим выходил. А он опять же толкует: «Легкие у меня, Фенька, того...» И сухое бельишко мне сует...

— А энтот, автор-то, постепеннее, — возвращая разговор в изначальное русло, похвалила гардеробщица.

— Вот и я говорю, — подтвердила Феня. — Дай-то бог, а то ведь Тоша-то сирота круглая, хотя и взадумем была!..

А в репетиционной негодовала Эмилия Давыдовна:

— Мальчики, вы совсем потеряли совесть, и я должна одна за вас волноваться. Но я же не железная, у меня тоже есть сердце, и оно может разорваться на мелкие кусочки.

— Сомневаюсь, — сказал близстоящий к Эмилии Давыдовне «мальчик» Федор Севастьянович Глушков.

— Нет, вы посмотрите на него! — Эмилия Давыдовна вонзила палец в кольцо Глушкова. — Он еще шутит!

— Убери палец, проткнешь, она же бутафорская,— напомнил Глушков.

— Вот только этого мне и не хватало! — воскликнула Эмилия Давыдовна, отдергивая палец. Но Глушков перехватил его в воздухе и утянул за него Эмилию Давыдовну в портал:

— А ну-ка, старая кочерга, скажи, что это сегодня с Тошей?

— И ты заметил?..

Гримерша Нина стояла сзади, как палач, готовый тотчас занести над головой топор.

— Антонина Владимировна, у вас сегодня чужое лицо.

— А ты сделай мое. Обычное. Помнишь его?

— Я-то помню.— Гримерша открыла баночку с кремом.— А вы разве его потеряли?

Антонина Владимировна посмотрела в зеркало и увидела, что гримерша по-настоящему встревожена.

— Слушай, Нина, а я и вправду не похожа на себя?

— Вправду.

— Так ведь это же хорошо!

— Чего уж тут хорошего?

— А ты не смейся. Я ведь первый раз на себя непохожа. Или еще когда-нибудь было?

— Такого никогда не было! — убежденно сказала гримерша.

— Вот именно! — Антонина Владимировна обернулась, обняла Нину за талию, уткнулась лицом ей в живот и тихо сказала: — А знаешь, Нин, я, кажется, того...

— Неужто влюбились? — не то испугалась, не то порадовалась Нина.

— Ага!

— Счастливая! А знаете что: я вас сегодня не буду гримировать. Вот такая и выходите.

Заворонский, увидев, что кто-то сидит в заднем ряду партера, спросил:

— Кто там?

Присутствие посторонних во время репетиции раздражало не только актеров, а и режиссеров.

— Половников. Вы сами ему разрешили,— напомнила Эмилия Давыдовна.

— Да, конечно. Но я его вот уже две недели не могу отловить, а он мне нужен. Позовите!

— Вот прервемся, тогда и позову! — сердито сказала Эмилия Давыдовна. — Вы бы лучше не в зал, а на сцену смотрели. Вы когда-нибудь видели Тошу такой?

Заворонский присмотрелся, прислушался и удивленно спросил:

— А что с ней?

— Не знаю.

— Как жаль, что это репетиция, а не спектакль. Она просто великолепна!

— Я тоже так считаю.

— Удивительно!

— Ничего удивительного не вижу.

— Тогда вы просто слепая!..

— Это еще неизвестно, кто из нас слепой, — сказала Эмилия Давыдовна, гордо удаляясь за кулисы.

2

А все началось утром. Проснувшись, Антонина Владимировна сначала не поняла, где она, и с удивлением оглядела комнату. Взгляд ее как-то непроизвольно задержался на висевшей на противоположной стене картине, и Антонина Владимировна сразу все вспомнила. Эта картина еще вчера привлекла ее внимание, но она не успела ее рассмотреть, да не особенно и старалась, зная, что при электрическом освещении, причем довольно слабом, поскольку верхний свет не был включен, светился только торшер, картина проигрывает.

Но сейчас Антонина Владимировна рассмотрела ее обстоятельно. Она никогда не считала себя тонким знатоком живописи, хотя регулярно посещала и Третьяковку, и почти все выставки не только в Пушкинском музее и Манеже, а и на Кропоткинской, и на Кузнецком мосту, и в зале на улице Горького. Но и в меру своего, скорее всего дилетантского, понимания живописи она оценила, что картина эта написана не просто уверенной рукой мастера, а кем-то из художников весьма незаурядных, старой школы, может быть, кем-то из передвижников.

Это был ночной пейзаж, нет, даже не ночной, а где-то на вечерней зорьке, когда солнце уже давно ушло за горизонт, но свет его, может быть, в последний раз отраженно мелькнул по самому краю облака, когда день уже умер, а ночь еще не совсем наступила и на небосклоне бледно проклюнулась лишь первая, самая яркая

звезда, не успев отразиться в маленькой речушке с камышовыми берегами. Может быть, навстречу этой первой звезде и устремилась пара (не две, а именно пара) больших птиц, скорее всего селезень и утка. Но это не вспугнутая кем-то пара, в ее полете нет ничего встревоженного, наоборот, полет птиц какой-то умиротворенный, как и все в этой картине. В ней нет ни малейшего диссонанса, все спокойно и все настолько гармонично, что вот, кажется, выдерни из нее всего одну камышинку, и сразу все нарушится.

И даже рама, в которую было заключено полотно, удивительно гармонировала с изображением, она была не широкой и помпезной (массивные бронзовые рамы с завитушками почему-то всегда раздражали Антонину Владимировну, потому что отвлекали от самой картины, а порой и просто заслоняли ее), но и не узкой, а соразмерной, и по цвету как бы продолжала световую тональность картины и расширяла перспективу. Выполнена она была из мореного дуба, выполнена, а не просто сколочена, с очень тонкой, но строгой резьбой.

Судя по всему, это был подлинник. Но чей? Обычно авторы где-нибудь в уголке ставят подпись или инициалы, но здесь ничего не было, может быть, автор специально не сделал этого, чтобы ничем не разрушать поразительной цельности и гармонии пейзажа. Ибо любой посторонний штрих, как и выдернутая камышинка, сразу все нарушал бы.

«Вот и у нас в каждой роли все должно быть так же гармонично и совершенно, чтобы ни одной камышинки нельзя было выдернуть», — подумала вдруг Антонина Владимировна. С последней ролью у нее что-то не получалось, чего-то не хватало в ней, а чего именно, она никак не могла понять. Она даже не могла уловить того момента, с которого роль начинала постепенно размыться. Ей и раньше приходилось испытывать неудовлетворение ролью, но раньше она неизменно находила ту кочку, о которую спотыкалась, и так же неизменно находила способ перешагнуть или обойти ее. А в последней роли у нее что-то не ладилось, и скорее всего именно потому, что она не видела саму кочку.

И вот сейчас ее вдруг осенило: нет никакой кочки, и надо не искать в роли что-то еще, а убирать в ней все лишнее, доводить ее до соответствия, до той гармонии, когда нельзя выдернуть ни одной камышинки. И в роли нужен не дополнительный посев, а основательная про-

полка. Убрать все лишнее, вот так, как художник снял с картины даже свои инициалы.

«Надо будет все-таки спросить, кто же автор этой картины и где Александр Васильевич ее приобрел», — решила Антонина Владимировна. Вспомнив о Половникове, о том, как они вчера поспорили, она улыбнулась: уж больно он вчера был забавен. «Пожалуй, он вспылчив. Вот и за картами петушился, и потом, когда я сказала о незавершенности образа Валентины Петровны, так нервно бегал по кабинету, а у меня пополз чулок... Кстати, как же это я в таком виде пойду на репетицию?» — встревожилась Антонина Владимировна, вскочила с постели, быстро оделась и выглянула из комнаты.

Серафима Поликарповна была в кухне, там у нее что-то жарилось на плите, а она сидела перед маленьким, прислоненным к электрической кофемолке зеркальцем и снимала бигуди. Увидев Антонину Владимировну, смутилась и, поспешно схватив зеркальце, зачем-то спрятала его за спину.

— Проснулись?

— Да. Доброе утро! Я вчера так быстро заснула, что, кажется, даже не дослушала вас. Извините!

— Ну что вы, что вы! У вас же такая работа, я понимаю, вы очень устаете. Это я виновата, совсем вас заговорила, обрадовалась, что есть с кем поговорить. — И грустно пояснила: — Я ведь все одна да одна, Сашеньке стараюсь не мешать... Как вам спалось?

— Очень хорошо, спасибо, — искренне поблагодарила Антонина Владимировна. — Я уже не помню, когда так крепко спала. Но знаете, у меня катастрофа: пополз чулок, а мне с утра на репетицию, домой не успею захватить. У вас не найдется иголки и нитки, чтобы поднять петлю?

— Какая же я женщина, если у меня даже иголки не найдется? — всполошилась Серафима Поликарповна, поднимаясь и все еще пряча зеркальце за спиной. — Сейчас принесу.

Она с несвойственной ей прытью сбегала в свою комнату и принесла иголку, катушку со светло-коричневой ниткой — именно такой, какая была нужна, и деревянный грибок для штопки.

Антонина Владимировна вернулась в гостиную и принялась за дело. Вскоре туда заглянула Серафима Поликарповна и, посмотрев на ее работу, заметила:

— Э, милочка, да вы совсем не умеете это делать,— не осуждающе, но все-таки огорченно воскликнула Серафима Поликарповна.

— Не умею,— упавшим голосом призналась Антонина Владимировна.— Я видела, как у нас девчонки поднимают эти петли, но сама не пробовала. Я, знаете ли, покупаю сразу три пары и, если один спустился, просто меняю.

— Три пары? — неподдельно удивилась Серафима Поликарповна.— А впрочем, это очень даже практично и совсем не расточительно. И как я сама раньше до этого не додумалась? Странно! Однако вот что, Тонечка, можно я именно так буду вас теперь называть?

— Разумеется!

— Так вот, я в этом деле имею уже кое-какую практику, поэтому им и займусь. А вы... ой, господи, там же гренки подгорели! — Серафима Поликарповна бросилась в кухню. Антонина Владимировна устремилась за нею, и обеих встретил жуткий запах сгоревшего масла и хлеба. Серафима Поликарповна, выключив газ, сдернула с погасшей горелки сковородку с ручкой, обожглась о нее, но донесла до стола, подув на обожженные пальцы, другой рукой схватила кухонное полотенце, обернула им ручку сковородки и вытряхнула содержимое ее в пластмассовое помойное ведро. Потом распахнула окно настежь.

— Склероз! — воскликнула Серафима Поликарповна обреченно.

— Это я виновата,— тоже огорченно сказала Антонина Владимировна.

— Нет, я! — возразила Серафима Поликарповна так горячо, что Антонина Владимировна невольно рассмеялась.

— А что тут смешного? — вдруг обиженно спросила Серафима Поликарповна, подозрительно поглядев на Антонину Владимировну.

— Просто мы с вами напоминаем Бобчинского и Добчинского. Помните, у Гоголя?

— Помню,— совсем уж подавленно сказала Серафима Поликарповна, хотя ничего не помнила.

— Они были настолько вежливы, что никто не хотел входить первым, уступая место другому,— пояснила Антонина Владимировна, догадавшись, что Серафима Поликарповна не помнит.

— А, вот теперь вспомнила! — Серафима Поликар-

повна, наверное действительно вспомнив эту мизансцену, расхохоталась.

Антонина Владимировна, убедившись, что они в самом деле заклинили дверь взаимоуступчивостью, тоже рассмеялась громко.

— Т-с-с! — вдруг испуганно приложила палец к губам Серафима Поликарповна. — Сашеньку разбудим.

— А я и не сплю! — раздался за стеной голос Александра Васильевича, и он вошел в кухню во вчерашнем виде, лишь чуть более взлохмаченный. — «Над кем смееетесь, господа присяжные заседатели? Над собой смееетесь?» — процитировал он и, деловито осмотрев стол, сгреб с тарелки горсть гренок и впихнул их в рот, звучно всасывая каждую. При этом Антонина Владимировна успела заметить, что сверху у него двух зубов не хватает, отсутствие их как-то завершало впечатление его неухоженности, именно в этот момент она почувствовала сначала мгновенную, какую-то инстинктивную жалость к нему, а потом уж пригляделась внимательнее:

— Вы не спали?

— Я? А, нет... Да, не спал. Пойдемте-ка! — он взял ее за руку и буквально втащил в свой кабинет.

В кабинете синими слоями, напоминающими перистые облака, плавал табачный дым, при этом настолько густой, что Антонина Владимировна не сразу даже припомнила эту комнату и растерянно остановилась, но Александр Васильевич решительно взял ее за руку и властно потянул к большому столу. Усадив на стул, почему-то сердито сказал:

— Читайте! — Опять сунул руки в карманы, прошелся по кабинету и, нависнув над Антониной Владимировной, повторил:

— Читайте! — Ткнув в лежащий перед ней лист исписанной бисерным почерком бумаги с исправлениями и жирными вымарками, он выскочил за дверь.

Антонина Владимировна, проводив его изумленным взглядом, стала читать, с трудом отделяя вычеркнутое от невычеркнутого, и не сразу поняла, что это стихи. А это были стихи:

Когда мы пешком возвращались с Плющихи
(Ты так захотела, пожалуй, сама),
Померкли в снегу все фонарные блики:
На город неслышно спускалась Зима.
Она одевала гирляндами кружев
Трамваи, карнизы домов, провода...

А я в этой сказке был вовсе не нужен.
И буду ли нужен когда?

Стихи Антонине Владимировне сначала просто понравились. Потом она сообразила, что они имеют именно к ней самое непосредственное отношение, и удивилась. Потом, перечитав их еще раз, встревожилась: «Неужели это у него серьезно?»

И тут вдруг подумала, что до вчерашнего дня, собственно, почти не замечала Половникова, то есть видела его, конечно, но никак не выделяла из многих других мужчин, лишь иногда за что-нибудь стеснялась больше, чем перед своими партнерами, которых в принципе-то и за мужчин не принимала, но тем не менее держала на расстоянии, зная их весьма агрессивный характер.

«Собственно, писатели — те же актеры, только актер играет в одной пьесе одну роль, а писатель — все сразу, — недоверчиво подумала она и тут же усомнилась: — Но ведь, наверное, может случаться и такое, когда он не играет или играет только себя?»

И растерялась:

«Если у него, допустим, это серьезно, то я-то как?»

А почему она должна верить, что у него серьезно? Стихи? Но стихи пишут не всегда искренне. Ведь и актеру иногда приходится играть роль, которая ему вовсе не свойственна или не очень нравится. Актер в своей сценической жизни играет столько разных ролей, что порой забывает: а сам-то он кто и какой?

«Но допустим, все это искренне. А я? Что же во мне-то? Может, и нет ничего...» Она вспомнила, как впервые увидела Половникова в приемной Заворонского, тогда он не произвел на нее никакого впечатления, лишь обратил на себя внимание тем, что с интересом прислушивался к их разговору с Федором Севастьяновичем Глушковым. Потом несколько раз видела его в пустом зрительном зале во время репетиций, встречала в коридоре дирекции. Пожалуй, впервые она как-то выделила его среди других, когда он вошел в большую актерскую гримерную, где она тогда что-то шила. После этого они стали здороваться, но ни разу не заговаривали. И только вчера на Плющихе...

«Вопрос в стихах явно адресован мне, наверное, он ждет, что я сейчас же отвечу на него, но что ответить?»

Антонина Владимировна долго прислушивалась к себе, еще раз перечитала стихи, они ей понравились еще больше, чем в первый раз, хотя, может быть, не так уж

и взволновали, впечатление от них было настолько рас-судочным, что ей самой стало как-то страшно: «Видимо, я и в самом деле холодна как рыба,— грустно подытожи-ла она.— Может быть, Геннадий был в этом абсолютно прав и ушел от меня не случайно...»

Вероятно, печальный вывод сей наложил на ее лицо какие-то дополнительные штрихи, и, когда она вышла из кабинета Александра Васильевича, Серафима Поликар-повна неподдельно встревожилась:

— Что с вами, Тонечка? На вас же лица нет! Сашень-ка обидел? Вот уж я ему...— Серафима Поликарповна метнулась в кухню, Антонина Владимировна, не поймав ее на лету, поспешила за ней и вслед за Серафимой По-ликарповной остановилась в изумлении.

Александр Васильевич, облачившись в фартук, под-жаривал сразу на двух сковородках гренки, выражение лица у него было озабоченным, сосредоточенным именно на гренках, и он по-студенчески, но без всякого слуха, тенором напевал:

— Ах, гренки! Ах, гренки! Никто такими вкусными, никто такими грустными, никто такими милыми, а может быть, унылыми не-е ел вас! — басом завершил он и бро-сил в рот очередную порцию гренок, опять обнажив два темных провала вместо отсутствующих зубов.

— Ага! Попался! — воскликнула Антонина Влади-мировна и, удачно проскользнув между Серафимой Поли-карповной и косяком двери, схватила Половникова за руку: — Воришка! Гаргантюа и Пантагрюэль! Кот и по-вар! Кто еще? — Она, вспоминая, замерла лишь на мгно-вение, но его оказалось вполне достаточно, чтобы Полов-ников вдруг завопил:

— Шпионы! Диверсанты! Мата Хари! Кто еще? — У него тоже произошла заминка, которой не замедлила воспользоваться Серафима Поликарповна:

— Дети! За стол! — И еще строже добавила: — Но сначала помойте руки!..

И Антонина Владимировна вдруг почувствовала себя ребенком, вот таким же строгим голосом поднимала с по-стели мать, а вставать так не хотелось! Наверное, все по-стели под утро становятся более уютными, чем с вечера, если вставать надо рано, не нежась...

А она любила понежиться, потому что, по привычке просыпаясь рано, в половине седьмого, не всегда засыпа-ла потом, хотя могла спать еще часа полтора, а то и все два. И первое время после ухода Геннадия она даже как-

то наслаждалась тем, что ей необязательно вставать и готовить ему завтрак, которого он никогда не съедал, но неизменно требовал. Пожалуй, это был даже не ритуал и не столько привычка, сколько потребность в самоутверждении. Она потакала и этому его капризу, но утвердиться не помогла, и он ушел, предчувствуя, что иначе она взорвется и выгонит его. Он был не так уж глуп, пожалуй, по-своему и умен и ушел сам, избавив ее от ненужных уже объяснений. Но в самый последний момент, еще надеясь на что-то, предложил:

— А может, одумаемся?

Ей решительно не в чем было раскаиваться перед ним, и она холодно спросила:

— А собственно, о чем ты?

Он как-то сразу понял, что не прав, и ушел тихо.

Вот это ее больше всего и угнетало! Если бы он произнес хоть одно слово упрека, ей было бы намного легче. Но он не произнес и оставил ее с ощущением собственной вины. Никакой вины она за собой не знала, а вот без вины виноватой себя чувствовала. Почему?

Скорее всего потому, что никогда его не любила, но и вышла за него не из жалости — жалость к нему она испытала лишь после того, как за ним захлопнулась дверь. Нет, она пробовала соединить свое одиночество с его одиночеством. И вот ничего из этого не вышло! А может, она все-таки виновата, хотя бы в том, что попыталась соединить их одиночества? Но тогда в такой же степени виноват и Геннадий: ведь он же чувствовал, что любви нет, оба они просто ищут выход.

Половников опять нависал над ней, теперь уже не грозно, а как-то растерянно. И Антонина Владимировна вполне понимала его растерянность: он ждал ее суда, вернее, приговора не стихам его, а ему самому, веря, что в его стихах она почувствует не просто его искренность, а полнейшую раскрытость для вынесения приговора.

Но она не решилась произнести этот приговор, не потому что он мог оказаться несправедливым, а потому лишь, что она не имела права его вынести. И не хотела делать этого вот сейчас, когда его ждали. И это был не каприз ее, а чувство справедливости, ибо сама она еще не имела ни мнения, ни тем более ощущения справедливости или несправедливости, а потому и растерялась...

Выручила ее опять же Серафима Поликарповна.

— Дети! — повторила она требовательно. — А ну, марш мыть руки. И с мылом!

Они переглянулись и понимающе улыбнулись.

Наверное, вот в этот момент все и началось.

Опять получилась та же сцена, они никак не могли пройти в дверь одновременно, уступая друг другу, и теперь уж это развеселило Серафиму Поликарповну.

— А ну-ка, не шалите! — строго сказала она и решительно взяла за плечо Александра Васильевича, отстраняя его от двери: — Саня! Ну, будь мужчиной!

Он, опамятававшись, отступил так поспешно, что Антонина Владимировна теперь уж без всякого стеснения расхохоталась:

— О рыцарь благородный...— и, поднырнув ему под руку, выскользнула в коридор, ткнула пальцем в клавишу выключателя и закрылась в ванной на задвижку. Переводя дыхание, она постояла у двери, услышала, как он дернул ее и отошел, и только после этого обернулась к вмазанному в голубую плитку зеркалу над умывальником и пристально всмотрелась в свое отражение.

И увидела в нем что-то такое, что заставило ее вздрогнуть и насторожиться. Вероятно, сработал инстинкт самозащиты, ибо это «что-то» было не чем иным, как выражением незащищенности и растерянности, столь не свойственным ее лицу. Она попыталась вспомнить, сколько раз старалась тоже перед зеркалом выработать такое выражение для соответствующей роли, и только теперь убедилась, что ни разу ей это по-настоящему не удавалось.

А вот сейчас оно пришло помимо ее воли, и ей долго не удавалось стереть с зеркала это выражение. Но она была актрисой, умела управлять собой и постаралась успокоить себя; умылась холодной водой, тщательно причесалась на свой привычный прямой пробор и вышла, настроившись деловито. Но все ее с таким трудом добытое настроение вдруг рухнуло, едва она увидела возле двери переминавшегося с ноги на ногу, растерянного, абсолютно беспомощного Половникова. Застигнутый на «месте преступления», он, опасливо глянув на кухонную дверь, за которой мелькала Серафима Поликарповна, еще более растерянно пролепетал:

— Извините... я как-то, пожалуй, некстати... Но мне вовсе не безразлично... Вы прочитали?

Антонина Владимировна поняла, что спрашивает он о стихах, но и не о них только. Во всяком случае, не о впечатлении...

Именно в этот момент Антонина Владимировна поду-

мала о нем как о мужчине, и он ей только теперь и окончательно понравился.

— Какой же вы все-таки смешной! — ласково сказала она. — К тому же еще и небритый!

Он провел ладонью по щеке и ринулся в ванную, на ходу пообещав:

— Я сейчас!

Антонина Владимировна вошла в кухню и удивилась еще более: Серафима Поликарповна, очевидно не только слышавшая, но и видевшая все это, сияла! Не дав Антонине Владимировне опомниться, она полушепотом сообщила:

— А знаете, пока вы умывались, он топтался под дверью. Это на него так непохоже, что я радуюсь! — И вдруг, обняв Антонину Владимировну, заплакала.

Грибанова растерялась и, погладив ее плечо, постаралась утешить:

— Не надо, ну о чем вы?

А Серафима Поликарповна перехватила ее руку и вдруг, целуя ладонь, сквозь слезы пробормотала:

— Спасибо! Спасибо, Тонечка! Вы же его восстановили! И меня тоже!

Антонина Владимировна, еще не поняв, удивилась:

— А при чем тут я?

— Ах, если бы вы знали, каким он был эти последние четыре года! И вот опять — почти прежний... Да вы садитесь за стол. Вам кофе черный или с молоком? Сашенька предпочитает с молоком и с гренками.

— Ну и я... Ой! — воскликнула Антонина Владимировна, взглянув на часы. — Боюсь, что я уже опаздываю на репетицию.

— Не волнуйтесь, я заказала такси на десять утра. Это не поздно?

— Нет, в самый раз, тут ехать не более получаса.

— Вот и хорошо, садитесь. Сашенька, ты скоро? — крикнула она в дверь ванной.

— Рядовой Половников к приему пищи готов! — доложил он, входя в кухню.

Тут позвонил шофер такси, и Серафима Поликарповна рассказала ему, как разыскать их дом.

— Минут через десять будет здесь, — сообщила она. — Да вы не спешите, время есть. Вам еще чашечку?

— Нет, спасибо! — Антонина Владимировна поднялась из-за стола.

— Я тоже еду, — сообщил Половников.

Провожая их, Серафима Поликарповна сказала:

— А вы, Тонечка, приходите к нам еще. Не ждите, когда он догадается пригласить, приходите просто так, ко мне.

— Спасибо, непременно.

— И звоните, вот тут я вам телефон написала,— Серафима Поликарповна протянула бумажку.

Потом Антонина Владимировна увидела ее в окне, она приветливо махала ей рукой.

Водитель оказался разговорчивым, узнав, куда они едут, спросил:

— Вы что, работаете в этом театре?

— А вы разве не узнали меня? — начал дурачить его Половников.

Водитель притормозил, обернулся, поглядел на них и уверенно сказал:

— Вас нет, а вот жены вашей лицо знакомое. Я его определенно где-то видел.

— Вероятно, это лишь потому, что женщин вы рассматриваете более внимательно...

Антонина Владимировна дальше их разговор не стала слушать. Она вдруг ощутила, что ей приятно и вот эта их болтовня, и то, что Половников провожает ее, что водитель принял ее за жену. «Все-таки я баба и ничто бабье мне не чуждо. Я, пожалуй, как-то даже стыжусь, что я не замужем, как, наверное, стыдятся и все незамужние женщины в этом возрасте. И мне было бы хорошо, если бы он так провожал меня каждый день. И встречал...»

Она искоса глянула на Половникова и еще раз убедилась, что он ей не просто нравится, а и близок чем-то. Может быть, даже очень...

3

Половников уже седьмой или восьмой раз присутствовал на репетиции. Ему было хорошо вот так сидеть одному в пустом темном зале и наблюдать за актерами, не особенно вникая в содержание пьесы, а следя лишь за тем, кто, как и что делает. Он особенно внимательно вслушивался в замечания режиссеров, но не всегда до конца понимал их, потому что те говорили на каком-то своем языке. Это всегда вызывало у Половникова недоумение, неудовлетворенность и даже досаду.

А сегодня ему впервые показалось, что он понимает решительно все, даже реплики режиссера. Но вскоре об-

наружил, что сегодня он, собственно, почти никого и не слушает, а следит только за Антониной Владимировной. А она была хороша, режиссер ей ни одного замечания не адресовал и вообще сегодня мало вмешивался; репетиция шла почти без остановок, прерывались иногда лишь для того, чтобы поправить что-то в той или иной мизансцене: кого-то подвинуть ближе к партнеру, кого-то, наоборот, отдалить, передвинуть стул или переставить в другой угол торшер.

Антонина Владимировна понравилась Половникову с первого их знакомства, понравилась, ну, что ли, обыкновенно, как нравились многие красивые или просто симпатичные женщины, без намерений и надежд. Еще тогда, в приемной Заворонского, когда они с Глушковым проходились по тексту, Половников обратил внимание на то, как скромно и со вкусом она одета, как естественно держится и, видимо, не глупа. Во всяком случае, она тонко почувствовала всю неуклюжесть той самой фразы, на которой они споткнулись.

Потом он несколько раз видел ее в спектаклях и убедился, что актриса она хорошая, глубокая. Но почему-то ни при первой читке пьесы, ни при второй ее не было, кажется, она уезжала куда-то на киносъемки. Встречаясь иногда в коридоре или в комнате литчасти, они раскладывались, однако как-то ни разу не заговаривали.

Но однажды Заворонский завел его на женскую половину, там в одной из самых больших артистических гримерных сидело несколько женщин, и среди них оказалась и Антонина Владимировна. Все они что-то пороли и шили, как оказалось, что-то меняли в костюмах, потому что накануне какой-то дотошный историк обнаружил в этих костюмах явное несоответствие моде изображаемой в пьесе эпохи, а сегодня вечером должен опять идти этот спектакль.

Заворонский вдруг куда-то исчез, а Половников растерянно топтался посреди комнаты, пока та же Антонина Владимировна не предложила:

— А вы садитесь, Степан Александрович скоро вернется, он пошел в костюмерную.

Половников опустился на ближайший свободный стул и стал с любопытством осматривать комнату. Она была довольно просторной и светлой, два широких окна занимали почти всю стену, в проеме между ними стояло широкое кресло, а в углу примостилась раковина умывальника. Всю противоположную стену занимал ряд грими-

ровальных столиков с баночками, флакончиками, пуховками и прочими аксессуарами. Вдоль третьей стены протянулась вешалка, на плечиках висело несколько платьев и кофточек.

Женщины, не замечая, с каким интересом Половников рассматривает гримерную, продолжали ранее начатый разговор.

— Сын-то у вас окончил университет? — спросила одна актриса другую.

— Да, и уже работает. В библиотеке иностранной литературы. Он ведь филфак с языком окончил.

— И сколько ему платят?

— Девяносто рублей в месяц.

— Это после пяти-то лет учебы?

— Пяти с половиной!

— Господи, а я думала, меньше нас никто не получает! А если женится? На что же они жить-то будут?

— На мамину зарплату, — с усмешкой пояснила третья, как потом выяснилось, заведующая костюмерным цехом.

— Да, нынче детей мало поставить на ноги, их бы хоть до пятидесяти лет прокормить.

— А то и до пенсии...

— Александр Васильевич, — наконец обратилась к нему Грибанова, — вам не скучно с нами?

— Нет, что вы! А я не мешаю?

— Разговор у нас, как видите, сугубо житейский. Домашний.

Все они и вправду выглядели как-то по-домашнему за этим шитьем, и Грибановой это очень даже шло, делало ее более мягкой, пожалуй, уютной, и что-то уже тогда шевельнулось в душе Половникова, он даже представил ее вот такой в своем доме, но тут в его воображении появилась рядом Серафима Поликарповна, а вслед — уже реально — перед ним предстал Заворонский и увел его.

И когда Владимирцев рассказал, как Антонина Владимировна уступила им комнату, в памяти Половникова она встала опять вот такой домашней, уютной. А когда он увидел Грибанову там, на Плющихе, в нем снова возникло то же чувство, что и тогда, и уже не покидало его. Он еще не мог понять, что это за чувство: то ли доверие, то ли симпатия, то ли еще более глубокое, но он не решился определить его, а может испугался...

После репетиции Эмилия Давыдовна сказала, что его ожидает Заворонский.

— Что же это вы, батенька, не показываетесь? — сразу начал наступление Степан Александрович.

— Так ведь не с чем пока.

— Медленно подвигается пьеса?

— Совсем не подвигается. Мне кажется, даже наоборот: двигается в обратную сторону. Вычеркиваю больше, чем пишу, — признался Половников.

— Это хорошо.

— Чего же тут хорошего? — удивился Александр Васильевич.

— А и верно — чего? Вы же нас, батенька, без ножа режете! Мы ведь рассчитывали сезон ею открыть! Если, конечно, примем, — Заворонский поправился так поспешно, что Половников невольно рассмеялся.

— А что тут смешного?

— Ну хотя бы то, что я взялся явно не за свое дело.

— То есть?

— Да не умею я этих пьес писать! И с каждым днем убеждаюсь в этом все больше и больше!

— А вы «этих» не пишете. Вы напишите свою, — вдруг посерьезнев, сказал Заворонский. — Однако — недолго! У нас, батенька, тоже план!

— Финансовый? Так я же не только аванса, а и договора у вас не прошу. Я же с самого начала предупредил вас, что скорее всего из этой затеи ничего не получится...

— Послушайте, Александр Васильевич! — теперь уже совсем резко, пожалуй, даже обиженно остановил его Заворонский. — У нас действительно есть финансовый план. Но есть и творческие. Ведь я уже составил график репетиций, а вы пока и не мычите и не телитесь!

— А вдруг я не отелюсь?

— Отелитесь! И никуда теперь не денетесь! Я это не просто чувствую, а знаю! — воскликнул Заворонский и выскочил за дверь, оставив Половникова посреди своего кабинета растерянным.

«А что он знает? — подумал сразу Половников и почувствовал, что краснеет. — Может, про Антонину Владимировну? Но он же ничего не может знать!»

И, вспомнив, что репетиция уже давно закончилась, он бросился вниз, схватил свое пальто и шляпу и, одеваясь на ходу, миновал длинный низкий подвальный коридор, ведущий в артистическую вешалку.

Пробегая сейчас этим коридором, Александр Васильевич инстинктивно нагнулся и, наверное, поэтому миновал дверь, ведущую в актерский буфет, ткнулся в какую-то, но она была заперта, а тут позади него открылась другая, сквозь нее пробежал Владимирцев, Александр Васильевич собрался было окликнуть его, но, пока собирался, тот оказался уже далеко, эхо его шагов гулко перекатывалось по трюму.

Александр Васильевич нырнул в дверь, через которую только что проник в этот гулкий коридор Виктор Владимирцев, и обрадовался, увидев сатуратор с газированной водой. За сатуратором должна быть комната месткома, где обычно играют в домино рабочие сцены, потом — доска объявлений, а за ней — буфет и актерский гардероб.

Все оказалось на своих местах, даже очередь в буфете, и Сема Подбельский, стоявший в этой очереди вторым или третьим, подморгнул ему: мол, становись впереди меня. Антонины Владимировны ни за столиками, ни в очереди не было, и Александр Васильевич бросился в расположенную рядом вешалку. Он знал уже, что тут у каждого свой крючок, утром успел заметить, что Антонина Владимировна повесила одежду на своем, а сейчас он был пуст и самодовольно загибал свой никелированный нос кверху. «Может, от этого и возникло выражение: «Оставить с носом»? Надо проверить», — на бегу подумал Половников и бросился к двери, чуть не наткнувшись по пути на вахтершу Фенечку.

— Вот оглашенный! — успела она не только возмутиться, но и шлепнуть его веником.

— Прозевал! — сказала гардеробщица, выждав, пока эхо бухнувшей за ним двери хотя бы наполовину уляжется. — Однако ты не шибко махай своим веником! Все-таки он пока посторонний. А Тоша-то тоже хороша! Могла и подождать, для виду хоть перед зеркалом повертелась бы! Оне, когда ждут, все перед зеркалом вертятся!

— И то! — согласилась Фенечка. — А он-то, видела? Не в себе. Дай господи, чтобы у их получилось! Тоша-то ведь вон уже сколько лет ни на кого даже не глядит.

— А на кого ей тут глядеть-то? Все они женатые-переженатые, поди, и сами не знают, кто с кем сегодня живет.

— Ладно, ты ври, да не завирайся! Ты их всех-то под одну гребенку не чеши. Вот про ту же Тошу ты дурное чего-нибудь скажешь?

— Упаси бог!

— То-то и оно! А про Женьку? Да вот даже про Любашу, хотя она и совсем холостая?

— Дак ведь я к слову...

— А слово-то, оно — не воробей, выскочит — и не поймашь. Вот и поприкуси язык-то.

— Ладно, чем ворчать-то, чаю лучше поставь, а то нас совсем выстудили.

— И то! — согласилась Фенечка и, воткнув веник в угол (чтобы гостей отваживать — такая была у нее примета!), удалилась в подсобку, в которой и полагалось храниться этому венику, но где они, вопреки запретам пожарников, держали электрический чайник. Впрочем, пожарники об этом чайнике знали, хотя и не видели его ни разу, но и не только по запаху ощущали его, а и нередко пользовались чаем, происхождение которого старухи объясняли исключительной близостью актерского буфета, где чай действительно не переводился, но всегда был холодным и пахнул веником, что особенно должно было убедить пожарников в том, что буфетный чай готовится в кладовке и надо бы пошарить в ней.

Пока Фенечка, закрывшись на задвижку, занималась чайником, почти все уже оделись и ушли, и, когда появился Заворонский, на вешалке оставалось лишь два или три подбитых ветром пальтишка, да и те были вчерашних студийцев, которые на первых порах из театра убегают не так шустро.

— Вы случайно Половникова не видели? — спросил Степан Александрович, озираясь.

— А кто это такой? — невинно спросила гардеробщица, опасливо косясь на дверь подсобки, за которой гремела посудой Фенечка, и в то же время гордясь своим актерством.

— Наш новый автор. Такой, знаете ли, неуклюжий, сутулится немного, — пояснил Заворонский.

«Ага, стало быть, фамилия его действительно Половников, — отметила про себя гардеробщица. — А я Феньке доказывала, что у писателей таких простых фамилий не может быть. Однако Степан Александрович может его завернуть, а он Тошу побег догонять». И гардеробщица, не желая и врать начальству, все же дипломатично уклонилась от прямого ответа:

— Да ведь у нас раздеваются только свои, номерные. Авторы-то, оне больше через дирекцию проходят, а то и через общий гардероб.

— Да, конечно,— согласился Заворонский и, направляясь в трюм, огорченно добавил: — Опять он от меня улизнул.

«А он ничего не знает»,— подумала гардеробщица, глядя вслед Заворонскому и раскаиваясь, что вроде бы все-таки обманула его. И может быть, впервые подумала о том, что актерство — это все-таки обман, подлаживание...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

А Заворонский и в самом деле был крайне огорчен: он так и не выяснил, когда Половников собирается закончить пьесу. Дело с ней явно затягивается, а он рассчитывал подготовить ее к открытию нового сезона. Теперь уже не уложиться в сроки, если даже Половников даст пьесу через полтора-два месяца, а судя по тому, что он пока еще больше вычеркивает, чем пишет, в этот срок он не даст. Значит, открывать сезон надо каким-то другим спектаклем, но каким?

Из двух других пьес, которые рекомендует завлит, на открытие ни одна не годится, обе они средние, проходные, пожалуй, их и вообще не надо ставить. Взять что-то из классики? Но что? Почти все наиболее подходящее именно для их театра они уже ставили. Правда, горьковская «На дне» в свое время театру не очень удалась. «А что, если ее поставить заново? Не возобновить, а именно заново поставить? Пожалуй, стоит это обсудить на художественном совете...»

По трюму, согнувшись, чтобы не задеть головой о проложенную по подволоку толстую трубу теплоцентрали, обмотанную изоляцией, шел навстречу Виктор Владимирцев. «Вот и ему неизвестно сколько еще придется ждать главной роли,— подумал Заворонский, и вдруг у него мелькнула шальная идея: — А что, если ему дать Луку? Возраст, конечно, не тот. Но ведь Печенегова-то он сыграл же!»

И, остановив Владимирцева, Степан Александрович в упор спросил:

— Вы могли бы сыграть горьковского Луку?

— Я? — изумился Владимирцев. — Помилуйте, Степан Александрович, какой же из меня странник?

— А почему бы и нет? Сколько уж вы по квартирам

странствуете, — пошутил Заворонский, чтобы Владимирцев не принял все слишком серьезно, ибо еще неизвестно, согласится ли худсовет дать ему эту роль и вообще согласится ли на постановку пьесы.

— Теперь уже не странствую. Мне Антонина Владимировна Грибанова свою комнату уступила.

— Слышал, слышал. Там у них в квартире старик есть забавный! Кажется, Фома.

— Кузьма.

— Да, Кузьма. Вы к нему приглядитесь. Конечно, он не Лука, но кое-что у него позаимствовать не грех.

— Вы и в самом деле хотите возобновить постановку «На дне»? — удивился Виктор.

— Нет, возобновлять не будем. Она у нас тогда не совсем удалась.

— Да, я слышал.

— А вот поставить заново не мешало бы.

— Пока соберетесь, я как раз до Луки и состарюсь, — в свою очередь, пошутил Владимирцев.

— Однако... — покачал головой Заворонский, и они разошлись.

«Однако, — продолжал размышлять Степан Александрович, поднимаясь из трюма по крутой лестнице, — палец в рот ему не клади. Сказал так, что и не поймешь: то ли пошутил, то ли упрекнул. А стареем мы быстро, вот у меня и одышка уже появилась. Полнеть стал. Надо будет посадить себя на диету и заняться спортом. Может, прямо сейчас захватить ракетку и поехать на корт?»

Но едва он вошел в приемную, как Анастасия Николаевна напомнила:

— Степан Александрович, сегодня в шестнадцать коллегия, опять звонили из министерства, просили непременно быть.

Он глянул на часы и недовольно пробурчал:

— Передайте, что буду.

Виктор Владимирцев мимолётный разговор с Заворонским в трюме всерьез не принял и тут же о нем почти забыл, но через два дня при полном сборе труппы Степан Александрович объявил:

— Будем ставить Горького «На дне». И не восстанавливать спектакль, а ставить заново. Подумайте. Я пока лишь посадил вам в мозги эту зеленую обезьяну, пусть она там попрыгает. Послезавтра — большой сбор, и каж-

дый должен сказать, до чего она там допрыгалась. Ду-
майте. А пока — же ву салью, как говорят... ну, скажем,
турки.

«Турки турками, а пьесу придется перечитать», — по-
думал Виктор и отправился в библиотеку. И... опоздал,
ибо не он один собрался перечитывать пьесу, а чуть ли
не вся труппа стояла на площадке перед библиотекой и
даже сидела в расположенной рядом комнате парткома.
Он стал в очередь как раз за Федором Севастьяновичем
Глушковым, который играл Луку в первой постановке те-
атра, почему-то не признанной.

— А почему? — спросил он сейчас Федора Севастья-
новича.

— Пьеса сама по себе сложная... И потом Тарханов!
Я хотел найти Луку совсем иного, а вот не нашел. Может
быть, ты найдешь.

— А при чем тут я?

— Так ведь... — Федор Севастьянович смущенно
умолк, но потом махнул рукой и тихо пояснил: — Луку-
то Степан Александрович опять мне даст, а ты ко мне
двойником намечаешься. Я-то роль всю и по сей день по-
мню до последней запятой, а вот хочу еще раз понять.
На расстоянии времени, что ли. А ты ее выучи. И даже
выучив, не удовлетворяйся! Ты не видел Тарханова? Это
гениально. Но я хотел по-своему. Видишь ли, тарханов-
ский Лука был, безусловно, хорош, но мне казалось, что
я Луку понимаю шире, что ли. Очень уж злой он у него.
Вот у Москвина он был добрее. Но мне показалось, что
он у них все равно не тот. Вот я и попробовал, но у меня
получился хуже. — Федор Севастьянович потянул Викто-
ра к окну и, усевшись на подоконник, с горечью ска-
зал: — И, если хочешь знать, провалился не театр, а я!
Хотя писали о нас хорошо и мы продержались три сезо-
на. Но именно продержались! Были отдельные актерские
удачи, а открытия не было! Спектакль не столько шел,
сколько именно держался в репертуаре. Вот этого — бой-
ся! Иллюзии успеха бойся! Сегодня это особенно опасно,
ибо в театр прут все. Будь в кассе билеты, половина и не
пошла бы, а нет — значит, дефицит. Истинных-то люби-
телей в зале стало, может быть, и не меньше, но и не
больше!.. Извини, мы подходим. Как, уже нет?

— Извините, Федор Севастьянович, но всего Горько-
го разобрали, — сказала библиотечарша. — Ну кто же мог
подумать, что все вы именно сегодня спросите. Предупре-
дили бы...

— Да, конечно. В следующий раз я непременно скажу вам заранее,— успокоил ее Федор Севастьянович.— Если сам буду знать. Впрочем, к вам это не относится. Пойдем, Витя.

Они прошли через трюм в гардеробную, и Федор Севастьянович задержался возле Фенечки:

— Послушай-ка, сколько уж ты тут сидишь? И до сих пор без ревматизма!

— Сплюнь! — сказала Фенечка.

Федор Севастьянович, трижды сплюнув через левое плечо, спросил:

— На пенсию-то собираешься?

— Да вот уж который год, а все не уйду!

— Вот и я. Дождемся, пока нас выгонят.

— А пусть-ка попробуют! Ты — «народный», а я вроде бы тоже не из господ. Нас с тобой, Федя, без профсоюза никак не уволят, а в профсоюзе у нас опять же своя рука имеется — Лизавета! — она указала на гардеробщицу. И, переводя свой указующий перст на Владимирцева, спросила полушепотом: — А энтот — стоящий?

— Стоящий! — полушепотом же сообщил Глушков в самое ухо Фенечке, пальцем освободив его от истертой пуховой шали.

— А у тебя всю дорогу все стоящие! — отмахнулась было Фенечка.

— А что, я часто ошибался? — вдруг серьезно спросил Глушков.

— Да не... Вот только меня взамуж здря не взял!

— Фенька! — остановила ее гардеробщица Елизавета. — Не забывайся!

— И то! — сказала Фенечка, замыкаясь и даже сделав губы серпиком, но выражения сего долго не сдержала и прыснула в ладошку: — Вот где унтер-то. Как его? Пришибеев! Она тут меня только и успевает пришибать.

— Фенька!

— Во! Слыхал? А ты, Федя, парнишку-то не обижай.

— Их обидишь!

— И то! — согласилась Фенечка.

2

На улице было скользко, после оттепели вдруг ударили морозы, лужи схватились льдом, тротуары не успели убрать, и они были неровными и скользкими. Виктор

подхватил Федора Севастьяновича под руку, и тот даже застеснялся:

— Годы! Все-таки они свое берут. Но я тут рядышком живу... Так что не очень задержу.

— Ну, о чем вы? — упрекнул Владимирцев.

— Да, пожалуй, я и в самом деле стар... Однако я хотел не об этом. Так вот — Лука. Это непросто. Москвин прожил с ним почти сорок лет. И хорошо вроде бы прожил, да не совсем так. Тарханов это понял. Не потому, что Тарханов лучше или умнее, — время подкатило другое. А я вот с обоими стал не согласен и захотел по-другому. А не получилось! Может, я не смог, а скорее всего — время не подошло... Может, оно вот только теперь и подкатывает? А?

— Не знаю. Надо подумать.

— Вот-вот, думай. Но сначала выучи роль. Давай-ка зайдем ко мне. У меня где-то была выпечатана и даже ударения расставлены. Вот сюда.

— А вы здесь живете? — удивился Владимирцев, зная, что в этом обшарпанном доме размещается общежитие театрального училища.

— Мне тут хорошо, — сказал Глушков и добавил: — К тому же нас недавно отремонтировали.

В подъезде и в самом деле пахло краской, на площадке между вторым и третьим этажом еще стояли козлы, и они, опасаясь запачкаться, осторожно протиснулись между ними и перилами довольно крутой лестницы. Федор Севастьянович долго искал в карманах старенького коверкотового пальто ключ, не нашел и позвонил, опять же долго держа палец на кнопке звонка и пояснив:

— Она глухая. Соседка моя. А какая была актриса!

Ему пришлось нажимать на кнопку еще дважды, наконец за дверью прошаркали чьи-то шаги, щелкнул замок, звякнула цепочка, дверь чуть приоткрылась, и в образовавшуюся щель кто-то громко спросил:

— Кто тут?

— Да я же! — еще более громко крикнул Федор Севастьянович. — Отпирай!

Падая, звякнула цепочка, и дверь распахнулась, за нею показалась совсем дряхлая, сгорбленная старушка в махровом халате со свернутым чалмой полотенцем на голове, лица ее в полумраке прихожей Владимирцев не разглядел.

— Проходите быстрее, а то я голову помыла,

— Добрый вечер! — Виктор поклонился и представил. — Владимирцев.

— Очень приятно, — старушка протянула ему сухую жесткую руку, Виктор осторожно пожал ее. — Меня зовут Надеждой Ивановной. А вы новенький? Что-то я прежде вас не видела. И фамилии вашей не слышала.

— Еще услышишь! — крикнул ей Глушков в самое ухо. — Ты нам чайку соорудишь?

— Да, разумеется, я сейчас, — Надежда Ивановна заторопилась в кухню.

Они разделись и прошли в комнату.

— Вот тут я и существую, — сказал Федор Севастьянович, обводя комнату широким жестом. — Пролезай вон туда, к столу.

Комната была большой, почти квадратной, но настолько тесно заставлена мебелью, что Владимирцеву действительно пришлось пролезать к огромному, покрытому зеленым сукном письменному столу, заваленному бумагами.

— Который год все собираюсь разгрузиться от этого хлама, а все жалею, к вещам, знаешь ли, тоже привыкаешь. Вот зачем мне этот ломберный столик? В карты я не играю, в шахматы тоже, а вот выбрось, и его будет не хватать.

— А вам что, не могли дать квартиру побольше?

— Предлагали. Отдельную. А зачем она мне? Одиному человеку отдельная квартира не нужна. Надеждато, — он кивнул за дверь, — хотя и глухая как тетеря, а все живой человек. Она ведь тоже одинокая. Вот вместе и кукуем. Надоели друг другу хуже горькой редьки, а разъезжаться не согласны. Теперь, видно, нам уж до конца дней своих вместе... Ну, ладно, что же я хотел? Да, роль. Где же она может быть? Пожалуй, вот в этом шкафу, — Федор Севастьянович открыл дверцу массивного резного книжного шкафа и стал рыться в нем. — Ты не смотри, что у меня такой развал. Это не от запущенности или неаккуратности. Надежда тут прибирает, но я запрещаю ей трогать бумаги и что-либо класть в другое место, помню, куда что положил, и там ищу. Ага, вот и роль! — обрадованно воскликнул он, доставая толстую тетрадь в коричневом ледериновом переплете. Владимирцев вспомнил, что такие тетради раньше почему-то назывались общими, и подумал: «А может, потому, что проживали в общежитиях? Или потому, что такая тетрадь была

в ту пору целым достоянием, недоступным одному человеку, и ее раздирали на части?»

Вошла Надежда Ивановна с подносом, на котором стояли две чашки, фарфоровый чайник, сахарница с илениным сахаром и тарелка с печеньем домашнего приготовления.

— Опять все разворотил! — проворчала она, ставя поднос на ломберный столик. — У тебя же не комната, а берлога какая-то!

— А вот это ты видишь? — торжествующе спросил Федор Севастьянович, показывая ей ледериновую тетрадку с ролью.

— «На дне»? — удивилась Надежда Ивановна, приблизив тетрадку почти вплотную к глазам. — Давно пора возобновить.

— Не возобновлять будем, а ставить заново. Вон он Луку будет играть.

— Этот? — изумленно воскликнула она, вприщур глядя на Владимирцева. — Такой молодой? А почему не ты? Ты же тогда совсем даже неплохо сыграл.

— Вот именно — неплохо! А надо блестяще! А блестяще я уже не смогу — вот в чем фокус.

Надежда Ивановна еще раз недоверчиво глянула на Владимирцева, наверное, хотела спросить: «А он может?», но не спросила, а только пожала плечами и вышла.

— Ишь ты, какую обструкцию учинила! — усмехнулся Федор Севастьянович. — Но ты, Витя, не огорчайся, а привыкай, ибо тебе еще не одна такая обструкция предстоит.

Уже за чаем он пояснил:

— Хуже всего то, что тебе старики завидовать будут. А старики — народ очень ревнивый. Вот почему я согласился играть Луку, а ты у меня двойником будешь. Но упаси тебя бог копировать меня! Ты найди своего Луку, но лучше моего. Это — неременное условие!

Хотя роли еще не распределяли, но Владимирцев понял, что с ним вопрос уже предрешен. «Но почему именно я? И нет ли тут прямой связи с тогдашней «болезнью» Глушкова? Тогда — Печенегов, теперь — Лука. Уж не думает ли Заворонский использовать меня только на ролях стариков? Может, именно мною он решил заменить в театре Глушкова? Но тогда почему столь деятельное участие в этом принимает сам Федор Севастьянович, неуже-

ли он в этом заинтересован? Или это акт самопожертвования?»

А Федор Севастьянович между тем говорил:

— По-настоящему талант могут оценить только талантливые люди, ибо они лишены зависти и потому более прозорливы. Люди же, обладающие завистью, из чувства неудовлетворенного или уязвленного самолюбия готовы задушить все и вся, лежащее за пределами их понятий и честолюбивых устремлений.

— Но ведь можно завидовать и по-хорошему, — возразил Владимирцев.

— Это уже не зависть, а признание. Да, что-то я еще хотел сказать тебе. А, вот что. Старайся не повторять себя. У тебя уже есть кое-какой опыт, что-то ты наработал на других ролях, что-то имело успех. Знаешь, это соблазняет иногда, порой прямо ведет к лицедейству. Помнишь: «А ну-ка, Федя, изобрази!» «Изображать» может и маленький актер, а вот создать образ, характер — не всякому дано. Вот и найди свой образ Луки...

Федор Севастьянович надолго задумался, машинально прихлебывая чай маленькими глоточками, и эти механические глоточки не отвлекали его, по лицу было видно, что мысль его работает напряженно, что-то старательно и последовательно отыскивает. Вот, кажется, она добралась до сути, лицо просветлело, и Федор Севастьянович, еще не отрешась от задумчивости, растягивая слова, сказал:

— Знаешь, я тоже ревнивый. Но борюсь с собой. Однако не все могу одолеть. Мне вот, например, давно не нравится, что актеры с репетиций теперь уходят сухими. Думал: может, они физически стали крепче? Приглядывался, проверял... Да нет же! Вот когда я перевернул стол, убедился, что я и физически еще сильнее их... Словом, вот тебе мой совет: потей! И не в бане, то бишь, по-настоящему, в сауне. Вот, кстати, до чего додумались: чтобы и потеть в наше время полегше было. Ты на репетиции потей!

Виктор расценил это как упрек в свой адрес и, оправдываясь, напомнил:

— Так ведь у меня и репетиций-то почти не бывает. Ролей-то, кроме Печенегова, и не давали, а по срочной замене некогда и репетировать.

— Ну, это — временно. Через этот этап все проходят. Большинство актеров, приглашенных из местных театров в столичный, теряются в большой труппе, как иголка в

стогу сена, годами не получают ролей и в конце концов уходят. Ты вот тоже, наверное, уже не раз подумывал: а не вернуться ли в Верхнеозерск? Было?

Виктор покраснел и, опустив голову, признался:

— Было.

— Я так и думал. А Лука... Если хочешь знать, дело не в самом его образе, а во времени. И в Горьком... Знаешь, в театре в общем-то — разумеется, при наличии таланта — все приходит с годами: и знание жизни, и чисто профессиональный опыт. А вот поди ж ты — Горького никак не стабилизирую, его все труднее и труднее играть. А я много его играл. И в «Детях солнца», и в «Егоре», и вот в этой — «На дне». Вроде бы опыт, привычка к автору. А к автору, знаешь ли, тоже надо привыкнуть... Нет, не то слово нашел. Лучше сказать так: автора надо чувствовать. А вот я чувствую, что каждый раз не я произношу его текст, а вроде как бы он читает меня. Вот в чем феномен! Может, и не только Горького или Чехова — всякого талантливого автора...

3

Через неделю начались репетиции. К тому времени Виктор Владимирцев уже выучил текст Луки, но это было не самое главное. Труднее было найти общий рисунок, тональность, ритм, пластику, отработать интонацию, движения, жесты, позы, мимику. Он надеялся кое-что взять из наблюдений за Кузьмой. Но наблюдения эти хотя в чем-то и помогли, однако не так уж много.

Нет, он не старался копировать характер Кузьмы, но мысленно ставил его в различные обстоятельства пьесы и представлял, как тот повел бы себя в этих обстоятельствах. Но Кузьма вел себя совсем не как Лука, и Виктор понимал, что он и не может вести себя так, ибо не был странником, а почти всю жизнь прожил в этой квартире на Плющихе, а это опять-таки была не костылевская ночлежка. Однако какие-то детали все-таки от наблюдения за Кузьмой остались — походка, жесты, интонация. Но, заметив их, Виктор их пока не закреплял, не чувствуя еще, как сложится система взаимоотношений внутри спектакля, а главное — не найдя еще, какого Луку он будет играть.

Перечитывая воспоминания современников писателя, он узнал, что и у самого Горького оценка образа Луки менялась. Сначала он признавал за Лукой нравственное

право нести людям «утешительную ложь» взамен «тмы низких истин». Именно таким играл его Москвин. И хотя уже вскоре после премьеры спектакля Горький изменил свою точку зрения на образ Луки, увидев в его взглядах «религию рабов», Москвин не изменил первоначальную трактовку образа. Лишь много позже, уже в советское время, Тарханов сыграл Луку с учетом последней горьковской оценки «утешителей, которые утешают только для того, чтоб им не надоедали своими жалобами, не тревожили привычного покоя ко всему притерпевшейся холодной души».

«Так вот о чем говорил тогда Федор Севастьянович Глушков!» — догадался наконец Виктор.

Приглядываясь на репетициях к Луке, которого создает Глушков, размышляя над его трактовкой образа, Владимирцев с изумлением убеждался, что Федор Севастьянович дает характер совсем иной, непохожий ни на москвинского добродушно-уютного, благостного учителя жизни, ни на тархановского беспокойного, язвительного «еретика». Для него Лука — действительно странник, бродячий человек в прямом и точном смысле этого слова, ему везде уютно и спокойно со своей котомкой, котелком и чайником.

По пьесе Лука появляется в ночлежке Костылева незаметно и так же незаметно исчезает, сразу забыв тех, кому нес он слова утешения. Дробной скороговоркой он привычно повторяет готовые истины. Особых усилий это от него не требует, а вот с людьми ладить помогает. Он не злой, как у Тарханова, но и не добрый, как у Москвина, ему просто удобно и выгодно выглядеть добрым. Скорее он — лукавый и тем как будто вполне оправдывает свое имя, но еще точнее — равнодушный. Много повидав в жизни, он старается идти стороной и, даже сочувствуя чужой беде, не хочет помочь людям, чтобы не рисковать самому.

Теперь, в трактовке Глушкова, становилось совершенно мотивированным исчезновение Луки в момент убийства Костылева. Если для москвинского Луки это было бы нелогично и противно его натуре, ибо он не должен был бы оставить людей в беде, то для глушковского Луки бегство было вполне естественным: он пойдет дальше и устроится в другой ночлежке, где поспокойнее.

— Вот в той, неудавшейся постановке как раз этого исчезновения Луки и не хватало, — пояснил Федор Севастьянович. — Ни я, ни режиссер этого тогда не поняли.

В пояснении Глушкова сквозила еще не забытая горечь, и Виктор, пожалуй не очень и к месту, спросил:

— Вы очень переживали неудачу?

— Конечно! — Федор Севастьянович задумался. Помолчав, пояснил: — Хотя причина ее лежала не только в Луке. Это в какой-то степени как бы раскладывало вину на всех, по долям, что ли. Но я не хотел этого распределения вины, во всем корил лишь себя. Однако трагедии из этого не делал. У каждого бывают неудачи, даже у великих актеров. И причина поражения почти всегда лежит там же, что и причина удач.

— То есть?

— Когда таланту актера есть где развернуться, размахнуться во всю ширь, тогда успех приходит почти неминуемо. А если ему не на чем распахнуться, то у него вдруг все смазывается, блекнет. — Федор Севастьянович даже мазнул ладонью воздух, но тут же опустил руку. — Однако к той нашей неудаче это, сам понимаешь, не относится. Материал-то у нас был первосортный. Горький есть Горький. Может, у меня тогда просто не хватило дерзости. Не так-то просто было дерзать. Дерзить даже. Во-первых, это Горький, а во-вторых — опыт Москвина и Тарханова. Нелегко замахиваться на авторитеты. Теперь я смелее...

«Разумеется, найти такую трактовку образа, совсем иную против прочно утвердившихся, мог только большой художник, а решиться пойти на нее — только человек смелый, — думал Владимирцев. — Конечно, за плечами Глушкова признанный авторитет, если даже театральная критика и воспротивится такому решению образа, то критиковать будет все равно с оглядкой... А как быть мне?»

Он спросил об этом Федора Севастьяновича прямо, и тот прямо же ответил:

— А ты не бойся. В искусстве надо быть смелым в любом возрасте и в любом так называемом положении. Сам-то ты принимаешь моего Луку?

— Безусловно.

— А как ты думаешь: чем он принципиально отличается от москвинского и тархановского?

— Ну пожалуй, двойственностью души, что ли, а точнее — более четко обозначенной степенью равнодушия.

— Вот это близко к истине, хотя и слишком мудрено. Если хочешь знать, он более социален.

— В каком смысле?

— Более современен. Вот это его равнодушие обретает сегодня характер социального зла, выходит за пределы внутренней, что ли, этики. Ты над этим подумай. И я бы не хотел, чтобы ты просто копировал меня. Попробуй внести свою лепту в такую трактовку роли, ну, сделай ее еще более современной. Ты молод, тебе виднее проблемы современности, ты не успел еще обрасти предрассудками.

— Боюсь, что ничего из этого не выйдет. И потом: как я могу найти что-то еще, если сам считаю сделанное вами вполне совершенным, законченным?

— Ну, ты не льсти, а лучше поищи. Ибо в каждом на первый взгляд совершенстве всегда найдется что-то еще и не вполне совершенное.

— Это если выискивать специально. А я не хочу выискивать.

— И напрасно! Ты все-таки подумай еще.

От этого разговора у Владимирцева осталось ощущение какой-то незавершенности, он несколько раз пытался продолжить его, но Глушков неизменно уклонялся.

А репетиции шли своим чередом, уже вышли из выгородок на сцену, уже состоялся прогон первого действия, а Владимирцев все еще так и не понял, чего от него хотел тогда Глушков.

Но вот однажды Заворонский заметил:

— Я бы на твоём месте, Витя, чуть жестче был, пожалуй, конкретнее, если хочешь, даже адреснее, что ли...

И только теперь Виктор понял, чего добивался от него Глушков и на что намекал сейчас Заворонский. Надо было более отчетливо подчеркнуть, что Лука лишь гримируется под сочувствие, что правдоискательство его мнимое, что добро и правда сами по себе еще не могут помешать злу без активного вмешательства в жизнь. И Лука, и вся пьеса становятся вдруг современными.

Владимирцев лишь теперь догадался, что ему предоставили возможность завершить созданный Глушковым образ, что Федор Севастьянович и сам мог это сделать не хуже, а лучше Владимирцева, но не захотел, доверившись интуиции и вкусу ученика.

И Виктор был глубоко ему благодарен.

Сюжет пьесы выстроился окончательно, Половников даже составил подробный план каждого акта и картины, чего никогда не делал с прозой, там у него все текло как-то само собой, движение сюжета определяли не столько обстоятельства, сколько логика развития характера при заданных им обстоятельствах. Там одна глава могла занимать сорок страниц, а другая всего две, здесь же приходилось уравнивать акты по времени, считаться, например, с тем, чтобы актер, занятый в смежных картинах, успел переодеться, учитывать и многие другие особенности сцены. Бывая на репетициях, наблюдая за тем, как выстраивается та или иная мизансцена, видя, как складываются актерский ансамбль, единый ритм и тональность спектакля, Александр Васильевич начал постепенно постигать специфику сценического искусства.

Более экономно и четко обрисовывались и характеры. Тут Александр Васильевич применил очень простой прием: он мысленно проигрывал каждую роль от начала до конца и вдруг обнаруживал, что одна прописана хорошо, другая лишь слегка намечена, а третья настолько никчемна, что актеру просто нечего будет играть. Из пьесы ушли сразу четыре второстепенных персонажа, а ту небольшую смысловую нагрузку, которую они несли, пришлось перераспределить между другими героями.

«Почему же я не делал этого раньше?» — недоумевал он. Проиграв последнюю свою повесть, он обнаружил, что одну побочную линию и трех-четырех героев можно было снять безболезненно, пожалуй, повесть от этого даже выиграла бы.

Когда Половников писал первый вариант пьесы, точнее — делал инсценировку, то зачастую попросту выписывал диалоги, а действия выносил в ремарки. Сейчас, поняв, какое значение в пьесе имеют сама конструкция, тон, ритмика фразы, даже пауза, переписал почти все заново. При этом, прежде чем написать фразу, несколько раз произносил ее вслух, стараясь сопроводить ее соответствующей мимикой и жестами.

Это вызвало серьезную озабоченность Серафимы Поликарповны.

— С кем это ты разговариваешь? — подозрительно спросила она, обводя взглядом его кабинет, и даже заглянула в платяной шкаф.

— А, это я сам с собой, проверяю фразу на слух.

— Странно,— Серафима Поликарповна пожала плечами,— раньше не проверял, а теперь проверяешь. Ты случайно не болен?

— Нет, я абсолютно здоров.

— Странно,— повторила Серафима Поликарповна и неохотно покинула кабинет.

Потом она обнаружила, что он не только разговаривает сам с собой, а еще и размахивает руками, то вскакивает, то садится, то начинает бегать по комнате, при этом лицо у него делается свирепым, глаза блестят как у сумасшедшего. «Может, это шизофрения?» — встревожилась Серафима Поликарповна и достала медицинскую энциклопедию. Потом перерыла годовой комплект журнала «Здоровье», нашла там две подходящие статьи и окончательно убедилась, что диагноз она поставила верный.

На другой день пришел из поликлиники Литфонда невропатолог, вслед за ним появился из платной поликлиники кандидат наук. Объяснив им, в чем дело, Половников вместе с ними посмеялся над Серафимой Поликарповной, что ее страшно оскорбило, и она почти весь день не беспокоила сына, лишь один раз заглянула к нему и сообщила, что обед на столе. Сама она обедать не стала, молча удалилась к себе в комнату. Александр Васильевич, не привыкший обедать один, звал ее, извинялся, но до позднего вечера она была неумолима.

За ужином она сама посмеялась над собой, но все-таки предложила поставить градусник. Температура у Александра Васильевича оказалась вполне нормальной, и Серафима Поликарповна окончательно успокоилась. А вскоре и сама активно включилась в творческий процесс: послушав его из-за двери, вдруг врывается в кабинет и напористо советовала:

— По-моему, Сашенька, тут у тебя не так. Женщина никогда не скажет: «Мне уже сорок лет». Она скажет: «Я не настолько молода, чтобы...» Или: «У меня достаточно жизненного опыта, чтобы...» При этом скажет без грусти, а с веселой, такой, знаешь ли, иронической улыбкой, которая должна подчеркнуть, что она и не настолько стара и не так уж велик ее жизненный опыт,— и Серафима Поликарповна изобразила эту ироническую

улыбку. — Конечно, я не актриса, может, я и не так показываю. Вот у Антонины Владимировны это выйдет лучше. Кстати, что-то она больше не появляется и даже не звонит.

— Она очень занята.

— Да, конечно, у них и днем и вечером работа. Однако для того, чтобы позвонить, времени много не надо.

«Да, уж позвонить-то могла бы», — мысленно соглашался Александр Васильевич, и снова им овладевало чувство горечи и обиды.

После той репетиции, убедившись, что Антонина Владимировна ушла из театра, он поймал такси, вернулся домой и весь вечер не находил себе места. Он знал, что сегодня в вечернем спектакле Грибанова не занята, и ждал ее звонка. Телефон несколько раз звонил, заставляя его вздрагивать и поспешно хватать трубку, но это звонили приятельницы Серафимы Поликарповны. Они разговаривали по часу и дольше о каких-то пустяках: о том, что готовили сегодня на обед, о рыночных ценах на морковь и петрушку, о вчерашнем телевизионном фильме, о погоде и модах на будущий сезон, о том, что в магазинах исчезли простыни, стиральный порошок и хозяйственное мыло. Это наконец вывело Александра Васильевича из терпения, он нагрубил матери, сказав, что ее телефонные разговоры отвлекают его от работы.

— Но ведь сейчас ты не работаешь! — удивилась Серафима Поликарповна.

— Пора бы тебе понять, что я всегда работаю. Если я в данный момент не сижу за столом, то это вовсе не значит, что я бездельничаю. Я думаю, понимаешь — думаю!

Это была ложь, ни о какой работе он сейчас не думал, а просто ждал звонка Антонины Владимировны, а если и думал, то вовсе не о пьесе.

Почему он решил, что Антонина Владимировна непременно позвонит? Может, он считал, что она должна объяснить столь поспешный уход. Но ведь они и не договаривались встретиться после репетиции. У нее же могут быть какие-то срочные дела, скажем, запись на радио, съемки в кино или на телевидении.

Мысленно оправдывая ее, он все-таки испытывал недоумение и обиду. Чувство обиды и горечи возросло, когда Антонина Владимировна не позвонила и на другой день. Он знал, что с утра у нее опять репетиция, собрал-

ся поехать в театр, но вдруг испугался. Он не хотел выглядеть навязчивым, да и надо было разобраться в своих чувствах. Может быть, кроме уязвленного самолюбия, он ничего и не испытывает? Да и Антонина Владимировна, возможно, уже забыла о нем, наверное, для нее все это не более чем эпизод. Да и что, собственно, «все»? Ведь ничего же не было! Стихи? Но это же просто мальчишество, она так, очевидно, и расценила. И ему, Александру Васильевичу, тоже следует относиться ко всему как к эпизоду, перестать думать об этом.

Но шли дни, а он, как ни старался, не мог не думать об Антонине Владимировне, наоборот, только о ней и думал, не находил себе места и, конечно, не мог работать, хотя и заставлял себя садиться за стол. У него и раньше случались пустые дни, когда работа вдруг останавливалась, не шла, он не мог найти продолжения какого-то сюжетного хода, и почти все, что ему удавалось из себя выжать, приходилось потом вычеркивать. В такие дни лучше не садиться за письменный стол, а отвлечься, забыть о работе, заняться чем-нибудь другим, и решение или нужный сюжетный ход являются внезапно, как бы сами собой, и, как правило, оказываются настолько простыми, что остается только удивляться, как ты не мог додуматься до них сразу.

Так однажды он мучительно искал резкий поворот в сюжете и долго не мог найти. Но вот почтальон принес телеграмму, она была поздравительная, к какому-то празднику, содержала обычные дежурные фразы, их необязательно было передавать телеграфом, лучше было послать письмо или открытку. Александр Васильевич и сам частенько пользовался телеграфом, когда не поздравить было нельзя, а писать особенно не о чем. А вот сейчас подумал, что телеграф предназначен для дел срочных, может быть, тревожных, даже трагических, и сразу же нашел тот самый сюжетный поворот, который три дня безуспешно искал: приходит телеграмма, которая круто меняет весь ход событий.

И сейчас надо было отвлечься, совсем забыть о работе. Александра Васильевича лучше всего отвлекал от работы бильярд, за игрой он забывал обо всем на свете и считал это чуть ли не самым лучшим видом отдыха.

И он поехал в Дом литераторов.

В фойе было столпотворение. В большом зале сегодня показывали очередной фильм из архивов Госфильмофонда. Александр Васильевич пробрался к вывешенному на колонне плану-календарю, чтобы узнать название картины, но в плане оно не указывалось. Половников машинально глянул на следующую строку и удивился, увидев фамилию Заворонского. Оказывается, в малом зале творческое объединение драматургов проводило обсуждение новой пьесы, в котором участвовали известные режиссеры, в их числе и Заворонский.

«Это очень кстати», — подумал Александр Васильевич, направляясь в малый зал. Он несколько раз собирался побывать на занятиях в какой-нибудь из студий, которыми руководили видные драматурги, но каждый раз что-то удерживало его: то ли он стеснялся, то ли боялся выглядеть смешным среди юных драматургов, не подозревая, что юных-то там и вовсе не было, а в молодых числились разменявшие уже четвертый десяток. Сам он разменял уже пятый десяток, почему-то его это не смущало, хотя он писал первую в своей жизни пьесу. «Больше не буду», — решил он и вспомнил, как один из прозаиков, тоже попробовавший себя в драматургии, однажды сказал, что он написал в своей жизни всего две пьесы: первую и последнюю. Правда, потом написал еще несколько пьес, две из них до сих пор держались в репертуаре, но, если честно сказать, еле держалась только одна, а другая шла почти в ста театрах и не без успеха...

Обсуждение, видимо, началось давно, уже спорили, и в суматохе этого спора появление Половникова не заметил никто, кроме председательствующего и Заворонского. Председательствующий, известный драматург, отреагировал на его появление вскидыванием правой брови, при этом левая даже не шевельнулась. Заворонский же просто кивнул и улыбнулся открыто и доброжелательно, пожалуй, даже поощрительно.

Пока Александр Васильевич разобрался, о чем идет речь, на трибуне побывало четверо или пятеро выступающих, убедивших его лишь в одном: обсуждаемой сегодня пьесы он не читал. Тем не менее он внимательно слушал их, хотя ничего нового они ему не сообщили, кроме того, что он уже знал о типических образах и ти-

пических обстоятельствах, единстве времени, места и действий.

Но вот на трибуну поднялся пятый или шестой оратор, аккуратно пригладил ладонью довольно еще густую, но уже тронутую инеем шевелюру и сказал:

— Мне кажется, что при всей конструктивной продуманности и законченности пьесы ей не хватает одного: художественности. Поэтому в пьесе, названной драмой, хотя ничего драматичного в ней не проистекает, конфликтуют не характеры, а персонажи, обозначенные той или иной должностью, служебной, что ли, функцией, а не характерами...

И тут Александра Васильевича как будто кольнуло что-то, он даже подскочил, мгновенно обнаружив самый существенный изъян своей пьесы — именно вот эту служебную функциональность героев сочиняемого им первого его драматургического произведения, жанр которого он и сам затруднялся определить, уверен был лишь в том, что это не комедия. Половников опять мысленно начал проигрывать свою пьесу, и она показалась ему теперь настолько наивной и слабой, что стало вдруг стыдно и горько оттого, что он столь серьезную и действительно глобальную проблему загубил столь бездарным исполнением. «Лучше бы я написал повесть или роман, по крайней мере, я умею их писать», — с горечью подумал он и решил сейчас же сказать Заворонскому, что над пьесой больше работать не будет.

Но после обсуждения Заворонский вдруг исчез в неизвестном направлении. Половников поискал его и в верхнем и нижнем фойе, и в буфетах, и на веранде, и в Дубовом зале, но его нигде не было.

Александр Васильевич оделся и вышел на улицу.

Еще днем дул холодный северный ветер, мела поземка, а к вечеру потеплело, сейчас густо валил снег, и здание посольства, название которого Александр Васильевич так и не успел узнать, опять казалось сказочным. Половников вспомнил тот вечер, когда они с Антониной Владимировной шли от Смоленской площади, и опять замерло сердце, что-то подступило к самому горлу и перехватило дыхание, казалось, что он стремительно летит вниз и в этом полете есть и сладостное упоение, и страх.

Ощущение было знакомым, пожалуй, то же самое он испытывал, когда в седьмом классе влюбился в учительницу английского языка. Что-то похожее было и когда

он увлекся Наташей. Да, теперь-то уж ясно, что это было увлечение, а не любовь и причиной их разрыва была не Серафима Поликарповна, а охлаждение, еще точнее — отрезвление.

Оно пришло не сразу, а подступило как-то незаметно, исподволь, они долго не замечали его, а когда почувствовали, долго боялись признаться, сначала не веря и опасаясь ошибиться, а затем боялись огорчить друг друга и какое-то время тщательно скрывали его, может быть надеясь, что все уладится.

Но не уладилось. Охлаждение постепенно перерождалось в отчуждение, а потом — вот тут уже не без участия Серафимы Поликарповны — появились вспышки раздражения, правда, они ни разу не кончались скандалом, но страсти уже набухали, как дождевые тучи, и гроза могла разразиться в любой момент. Понимая ее неизбежность, они не стали ее ждать, а разошлись тихо, сохранив уважение и доверие друг к другу, разошлись с грустью, но без сожаления.

А ведь Половников вначале, ему казалось, был влюблен в Наташу, но сейчас когда-то испытанные ощущения снова обрушились неудержимо, как обвал, они были сильнее и многообразнее, однако то, что в них было уже знакомым, настораживало, и Александр Васильевич, опасаясь очередного заблуждения, старался отогнать их или хотя бы не поддаваться им, пытался отвлечься, подавить их. Но видимо, это было уже не в его силах.

3

Антонина Владимировна позвонила рано утром, спросонья Александр Васильевич даже не узнал ее голос.

— Вы читали?

— Что? — не понял он.

— Рецензию.

— Какую?

— Сегодня в «Красной звезде» напечатана рецензия на спектакль. Точнее — на мою роль, — голос ее дрогнул, она долго молчала, справляясь не то с волнением, не то со слезами, и Александр Васильевич встревожился:

— Разругали?

— Хуже, — тихо сказала она и опять умолкла, должно быть заплакала. Половникову показалось, что он слышит, как она всхлипывает.

— Я сейчас приеду. Давайте адрес.

Антонина Владимировна поколебалась и назвала адрес.

— Еду! — сказал Александр Васильевич.

— Может, не стоит? — спросила она, но Половников уже положил трубку.

Она не предполагала, что Александр Васильевич вот так с места в карьер ринется к ней, и растерялась. Можно было позвонить еще раз, сказать, чтобы не приезжал, но у нее не оказалось двушки, а пока дойдешь до магазина, будет уже поздно. «И зачем я ему позвонила? Искала утешения или хотя бы сочувствия? Но почему именно у него?» Она все еще пыталась обмануть себя, убедить, что Половников ей абсолютно безразличен, а то, что нахлынуло на нее тогда в машине, — просто бабья тоска, не более. В конце концов, она живой человек...

Войдя в квартиру, она растерялась окончательно: всюду был развал. Сестра с мужем уходили на работу рано, и делать утреннюю приборку было обязанностью Антонины Владимировны, ибо даже в дни репетиций и дневных спектаклей она выходила из дому не раньше десяти. Зато, возвращаясь из театра, всегда обнаруживала на плите ужин, а в комнате — приготовленную постель.

Переодеваясь, она глянула в зеркало и ужаснулась: лицо зарезанное, распухшее, под глазами — темные круги. «Теперь и тени не понадобятся, вон как вымоталась. И всего за неделю».

Последняя неделя была изнурительной и суматошной. Из театра ушла великолепная актриса Клавдия Фирсова, и Антонина Владимировна должна была заменить ее на роли Нилы Снижко в «Барабанщице». Еще два года назад, когда театр решил ставить эту пьесу Афанасия Салынского, при распределении ролей Заворонский настаивал, чтобы Грибанова была дублером у Фирсовой. Но Антонина Владимировна категорически отказалась.

— Поймите, — убеждала она Заворонского, — я не от роли отказываюсь, я просто в принципе против дублерства.

— Почему?

— Потому что два актера не могут одинаково хорошо сыграть одну и ту же роль, и мы заведомо соглашаемся с тем, что один будет играть лучше, другой хуже. Я считаю это принципиально неверным и отказываюсь

не потому, что не хочу. А Клава сыграет Нилу прекрасно, я убеждена, это ее роль.

И Фирсова блестяще играла эту роль два года; это была вершина, на которой особенно ярко видны были творческие возможности актрисы, ни в одной другой роли не раскрывшиеся с такой потрясающей силой.

И вот теперь Антонина Владимировна должна была ее заменить. Она понимала, что равноценной замены все равно не получится, но старалась хотя бы приблизиться к уровню исполнения Фирсовой и работала до изнеможения. Партнеры тоже старались изо всех сил. Особенно благодарна она была Олегу Пальчикову, игравшему роль Федора. Эта роль и для Олега оказалась сложной, ибо передать на сцене чувство любви всегда непросто, а тут еще надо убедить зрителя в возможности любви с первого взгляда. Особенно сложным для обоих был эпизод, когда Федор застаёт Нилу танцующей на столе. В этом эпизоде Фирсова была просто великолепна, с ней Олег легко нашел свою линию поведения. Но и с Антониной Владимировной он сумел найти точный контакт, передать необычайно сложную гамму чувств: и гнев, и любовь, и боль, и желание разобратся, понять, кто же такая на самом деле эта Нила.

А Заворонский был недоволен:

— Не копируйте Фирсову,— говорил он,— Фирсова из вас все равно не выйдет. Но актриса Грибанова ничуть не хуже актрисы Фирсовой. И пусть Грибанова будет Грибановой. Не ломайте себя, а оставайтесь собой...

А ей трудно было уйти от манеры Фирсовой, она считала, что Клава нашла единственное решение образа, единственную интонацию, пластику. Заворонский все дальше уводил ее от этой манеры, настаивая на ином решении, но так и не убедил ее в том, что оно лучшее. И Антонина Владимировна еще никогда так не волновалась, как в этот раз, никогда так не боялась, даже впервые выходя на сцену.

Это была не премьера, а просто очередной спектакль всего с одним вводом, но в зрительном зале было немало завязтых театралов, наверняка видевших спектакль с Фирсовой и специально пришедших «на Грибанову». Их-то она и боялась больше всего. Но и они, и партнеры, и все руководство театра приняли ее хорошо, не было недостатка ни в аплодисментах, ни в цветах, ни в комплиментах. Даже скупой на похвалу Заворонский искренне торжествовал:

— Успех, безусловный успех! Поздравляю! А вы еще сомневались.

— А я и сейчас сомневаюсь. Не все у меня получилось так, как хотелось.

— Господи, да это же первый спектакль! Вы же знаете, что он должен обкататься и обкатается!

Она знала, что спектакли обкатываются иногда долго, до десятка раз, пока все станет на свои места, притрется. Собственно, поэтому она и не пригласила Половникова. И не ожидала, что так быстро появится рецензия на спектакль, ибо искушенные театральные критики никогда не пишут рецензий сразу после премьеры, а тоже ждут, пока спектакль обкатается. А тут рецензент поспешил, скорее всего, хотел опередить другие газеты, тема спектакля военная, и «Красной звезде» надо было отозваться на него раньше других. Статья была большая, занимала почти половину четвертой полосы и называлась «Грибанова — «барабанщица».

Выскочив из дому, Александр Васильевич поймал на перекрестке такси и попросил шофера:

— Увидите газетный киоск — остановитесь.

— Вам «Красную звезду»? Так она у меня есть, — шофер достал из кармана в обивке дверцы газету и протянул ее Половникову.

— Как вы догадались?

— Так ведь там сегодня про вашу жену пишут. Хвалят!

Приглядевшись, Александр Васильевич узнал шофера: это он вез их с Антониной Владимировной в театр после той памятной ночи. Половников удивился: он часто пользовался такси, но ни разу ему не доводилось ездить с одним шофером дважды. Однако, взглянув на номер и убедившись, что машина из шестнадцатого парка, удивляться перестал. Этот парк был единственным на весь громадный район Старого и Нового Измайлова, Гольянова, Преображенки, Сокольников и Открытого шоссе. Раньше Половников жил в Черемушках, там вокруг было четыре таксомоторных парка, легко можно было вызвать машину из любого.

Шофер был по-прежнему словоохотлив:

— А я «Звездочку» каждый день покупаю. По привычке. Когда служил в армии, мы ее выписывали, а теперь вот тоже читаю. Интересно вспомнить, А вы служили?

— Пришлось.

— А в каких войсках?

— В матушке-пехоте.

— Я тоже. И там шоферил. Правда, на бронетранспортере.

Въехали в центр, шофер, сосредоточившись на светфорах и дорожных знаках, наконец примолк, и Александр Васильевич начал читать статью. В ней в основном пересказывалось содержание пьесы, назывались исполнители, а Грибановой отводилось целых два абзаца. Упомянув о том, что после Фирсовой ей трудно было играть, автор признавал, что тем не менее Грибанова с ролью справилась успешно.

«Что же ее обидело в этой статье?» — недоумевал Александр Васильевич и начал было перечитывать статью, но тут машина выскочила на Ленинский проспект, и шофер опять заговорил:

— Мне артистов часто приходится возить. Раньше я думал, что они какие-то особенные люди, а они обыкновенные. Даже бутерброды в машине жуют, им, бедолагам, как и нашему брату шоферне, и поесть-то по-человечески некогда. И одеваются так себе.

— Не на что им хорошо-то одеваться. Вот вы сколько в месяц зарабатываете?

— Когда как. В среднем сотни три заколачиваю.

— Актеры получают в два раза меньше.

— Ишь ты, выходит, столько же, сколько инженеры. А на актера небось еще и долго учиться.

— Главное — талант надо иметь.

— Это конечно, — согласился шофер. — Только выходит, что талант-то не оплачивается, вроде как бы бесплатный. Может, потому, что он и дается-то бесплатно, от родителей.

— Необязательно. Родители могут и тележного скрипа бояться, а сын или дочь рождаются певцами или музыкантами.

— Выходит, откуда же он берется?

— Говорят, от бога.

— А может, от соседа? — усмехнулся шофер. — Говорят, артисты большие спецы по этой части. Оно и понятно. На них бабы липнут, что мухи на мед...

Развить эту тему дальше шоферу не удалось: они уже приехали.

Александр Васильевич, вабжевав на четвертый этаж, остановился, чтобы перевести дыхание. «Старею, — го-

речью отметил он.— Вот и одышка появилась». Он постоял минуты две, но сердце по-прежнему колотилось гулко и часто, опять томительно и сладко заныло в груди. Он понял, что это вовсе не от одышки, и решительно вдавил пальцем кнопку звонка.

Хотя Антонина Владимировна и ждала его, видела, как он вылез из машины, слышала, как хлопнула дверь подъезда, прогрохотали на лестнице его шаги, тем не менее звонок прозвучал неожиданно, как выстрел. Она профессионально умела владеть собой, своими эмоциями на сцене, но сейчас никак не могла справиться с волнением и, прежде чем открыть дверь, с минуту постояла, стараясь дышать глубоко и равномерно, прислушиваясь к себе, ожидая, когда уляжется волнение.

Но Половников позвонил второй раз, теперь уже настойчивее, и Антонина Владимировна тотчас открыла дверь.

— Здравствуйте,— сказал он, глядя поверх нее, должно быть пытаясь угадать, есть ли в квартире еще кто-нибудь. В прихожей было темно, Антонина Владимировна специально не включила свет, чтобы он не сразу мог ее разглядеть и, упаси бог, догадаться о ее волнении.

— Проходите, раздевайтесь,— сказала она.— Кофе пить будете?

— Можно,— согласился он, раздеваясь.

— Проходите вот сюда,— она указала на свою комнату, еще раз бегло оглядывая ее, и, убедившись, что все в порядке, предложила: — Там на столике газета, пока почитайте. Я быстро.

— Я уже прочитал,— сказал Половников и в комнату не пошел, а отправился вслед за Антониной Владимировной в кухню.— Прочитал и не вижу никаких оснований для огорчений, а тем более для паники. Правда, для восторгов — тоже.

— Да ведь эта статья просто оскорбительна! — воскликнула Антонина Владимировна и сбегала в комнату за газетой.— Начнем с названия: «Грибанова — «барабанщица». Пересказывается содержание пьесы Салынского, а о Грибановой — ничего.

— Как это ничего? Целых два абзаца. А другие исполнители только перечислены.

— А что сказано в этих двух абзацах? То, что после

Фирсовой играть трудно, это верно. Но дальше-то что? Дальше и надо было честно сказать, что мне удалось, а что не удалось. Я ведь знаю, что мне не все удалось. Но я сама не могу все оценить, наверное, и я что-то в своей игре недооцениваю или переоцениваю, чего-то не замечаю, чему-то не придаю значения. Вот об этом и надо было писать.

Антонина Владимировна нервно металась по кухне, и Половников машинально отметил, что, бегая по этой маленькой кухне, она как-то умудрялась ни за что не задеть, хотя кухонька была заставлена тесно. «Вот что значит уметь владеть пространством сцены,— подумал он и улыбнулся: — Кажется, я уже начинаю осваивать театральную терминологию».

— А чему это вы улыбаетесь? — обиженно спросила Антонина Владимировна.

— Это я просто так... Не обращайтесь внимания... — И, вспомнив таксиста, неожиданно оправдался им: — Знаете, сюда меня вез тот же таксист, который отвозил нас тогда на репетицию. Просто невероятное совпадение.

Но Антонине Владимировне, видимо, было не до совпадений, даже невероятных, и она по-прежнему запальчиво продолжала:

— Вот он называет мое исполнение роли удачей, и этой общей оценкой всего лишь отделяется, уклоняется от разговора по существу. А мне важна не общая оценка, мне гораздо важнее разобраться, что в этой удаче от моих собственных актерских достоинств, а что, например, от узнаваемости воплощенного характера или что от «похожести» на Фирсову. Пусть бы рецензент меня даже разнес в пух и прах, но профессионально и убедительно, тогда это пошло бы на пользу и мне, и моим партнерам, и всему спектаклю. А он меня вроде бы снисходительно пощадил, сообщив, что «в целом роль удалась Грибановой». Что значит «в целом»? А в частности? Что в частности-то, я вас спрашиваю? — наседала на Половникова Антонина Владимировна с такой горячностью, будто именно он и был автором рецензии.

— Мне трудно судить... — уклончиво ответил Александр Васильевич.

— Ну да, вы спектакля не видели. Но автор-то этой статьи видел и меня и Фирсову в этой роли, он о Фирсовой писал, и кому, как не ему, и сравнить бы!

— А может, и не надо было сравнивать? — возразил

Александр Васильевич.— Такие сравнения чреваты субъективизмом и не всегда уместны. Зачем же вас сталкивать лбами?

— Все познается в сравнении.

— Не всегда. Вот у меня был случай...

Александр Васильевич рассказал, как однажды ему заказали для толстого журнала статью об известном художнике-графике. Художник этот оформлял несколько книг Половникова. Александру Васильевичу нравилось, как умно и тонко тот передает не только содержание, а и настроенные книги, и он охотно принял предложение. А когда статья появилась в журнале, на Половникова обиделись все остальные художники, оформлявшие его книги. И Александр Васильевич понимал, что их обидело вовсе не то, что он перехвалил художника, нет, они сами считали его лидером в своем клане, изустно и письменно воздавали должное его таланту, статью считали справедливой. Но каждого из них обидело то, что Половников написал статью не о нем.

— Но при чем тут ваша статья о художнике и эта рецензия? — возразила Антонина Владимировна. — Не вижу связи.

— А связь здесь в том, что мы слишком ревниво относимся к оценке труда своих собратьев.

— Господи, да вы же ничего не поняли! — воскликнула Антонина Владимировна. — Разве я пекусь о собственном престиже? Разве я не понимаю, что сыграла хуже, чем Фирсова?

Антонина Владимировна вдруг уткнулась в подвесной шкаф и завсхлипывала. Правда, самих всхлипываний Половников не слышал, но видел, как вздрагивали ее плечи. Он подошел, положил ей ладонь на спину и успокаивающе и в то же время повелительно произнес:

— Ну ладно! Попробуем разобраться...

— Да что тут разбираться, и так все ясно! — воскликнула Антонина Владимировна все еще нервно, не оборачиваясь, но Александр Васильевич ладонью почувствовал, как она вся насторожилась и, видимо, готова его слушать. И он, опасаясь упустить эту ее готовность, поспешно заговорил:

— Видите ли, я не знаю, как у вас в театре, но у нас в литературе рецензии на книги пишутся в зависимости от того, кому они предназначены. Если — писателю, то в специальных газетах и журналах, скажем, таких, как

«Литературное обозрение». Мы его называем «Литературным обозрением», ибо оно не щадит нас профессионально. У вас для этого есть свои журналы «Театр» и «Театральная жизнь». Но есть же и газеты и журналы, которым важнее сообщить читателю или зрителю о том, что вот вышел такой-то спектакль или издана такая-то книга вот о том-то, чтобы привлечь к ним внимание. Тут разные задачи у рецензентов...

Ладонью же он почувствовал, как Антонина Владимировна сначала насторожилась, прислушиваясь, потом начала постепенно успокаиваться. Наконец, вывернувшись из-под его ладони, подошла к столику, взяла газету и уже без горячности, спокойно сказала:

— Дело тут не только во мне. Автор, по существу, оскорбил весь постановочный коллектив.

— Что-то я этого не заметил.

— А вот: «Коллектив приложил немало усилий, чтобы новая исполнительница главной роли вписалась в ансамбль».

— Что же тут оскорбительного?

— Видите ли, в настоящем искусстве эти усилия не должны быть видны. Если они видны, художественный результат равен нулю, ибо это значит, что спектакль не захватил зрителя. Когда зритель потрясен, он не замечает никаких усилий актеров, ни техники, ни кухни. Кстати, о кухне: я же совсем забыла про кофе. Я — мигом.

Антонина Владимировна, надев фартук, принялась за кофе, а Половников задумался. Последняя, высказанная как бы мимоходом, будто оброненная мысль об усилиях и художественном результате была вроде бы и простой, но настолько верной и глубокой, что потрясла его. «Ведь и в литературе усилия автора не должны быть видны. Читаешь иную книгу и ясно видишь, как автор пыжится из всех сил, чтобы выглядеть оригинальным, но отовсюду лезут на глаза белые нитки и прорехи, и невольно думаешь: «Зачем он ломается? Ведь и не бездарный, и сказать ему есть что, а он все тужится достать правой ногой левое ухо».

«А она умна», — подумал Половников, наблюдая, как Антонина Владимировна хлопчет у плиты. Фартук делал ее домашней, еще более уютной, чем выглядела она тогда, за шитьем в большой актерской гримерной, и Александр Васильевич опять почувствовал, как сладко заняло в груди, ему захотелось, чтобы она всегда была

вот такой и всегда рядом, но он понял, что это невозможно, что ей этого мало, на его пути к счастью будет всегда неодолимой преградой стоять ее преданность искусству, он всю жизнь будет ревновать ее к театру, может быть, даже и упрекать ее за эту преданность.

— Трудно мне будет с вами, Грибанова,— задумчиво произнес он и вздохнул.

Антонина Владимировна обернулась, посмотрела на него сначала весело, видимо расценив его фразу как шутку, потом, убедившись, что он не шутит,— удивленно. Это ее удивление глубоко огорчило Александра Васильевича. «Значит, она даже мысленно не ставила меня рядом, не соединяла нас...»

Он обиженно надулся, и Антонина Владимировна рассмеялась:

— Сейчас вы похожи на ребенка, у которого отняли конфету.

— А если отняли мечту? — серьезно спросил он.

— Не говорите высокопарно, Половников. Это вам совсем не идет...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Высказанное на обсуждении в Доме литераторов замечание о служебной функциональности героев чужой пьесы Половников целиком отнес на свой счет и начал заново пересматривать весь послужной список своих героев. Сначала он думал, что обойдется переделкой лишь отдельных картин, отделается, так сказать, легким косметическим ремонтом, но пришлось перелопатить всю пьесу, сократить еще две картины и одну написать заново. Правда, на это ушло всего полторы недели, но, прежде чем перепечатывать пьесу набело, он дал ей вылежаться, потом внес еще несколько незначительных поправок и только через месяц отвез ее в театр.

За это время они лишь дважды виделись с Антониной Владимировной, да и то накоротке: один раз на премьере «Царской охоты» в Театре имени Моссовета, а другой раз на дне рождения у Владимирцева. После премьеры Антонина Владимировна должна была ехать на телесъемку, времени поговорить оставалось только по дороге к ожидавшему во дворе театральному авто-

бусу, но тут прицепился со своими остротами Семен Подбельский:

— Вот и открыли охотничий сезон: здесь охота «Царская», а у мхатовцев и ермоловцев — «Утиная»...

И кто знает, когда бы они встретились еще, если бы не юбилей Виктора Владимирцева. На его тридцатилетие были приглашены еще и Глушков и Заворонский с женой. Застолье получилось хотя и немногочисленное, но веселое, засиделись за полночь, и Заворонский решил развезти по домам Глушкова и Антонину Владимировну. Она глянула на Половникова и пожала плечами, мол, ничего не поделаешь, надо соглашаться, и Александр Васильевич, сообразив, что для него просто нет места в машине, поспешил заверить, что он прекрасно доберется на такси. Однако уехал не сразу, а до четырех часов играл с пекарями в девятку.

Сегодня Антонина Владимировна была занята только в утреннем спектакле. Половников решил приехать в театр к его окончанию, отдать пьесу в литературную часть и увезти Грибанову в Дом литераторов, куда он уже позвонил и заказал столик на двоих.

— Все-таки окончание пьесы — достаточно веский повод, чтобы мне сегодня слегка нарушить режим, — сказал он матери. — Ужинай без меня.

— Так ведь отметить это событие можно и дома, — обиженно заметила Серафима Поликарповна, сразу же догадавшаяся, с кем он собирается отмечать.

Еще бы не догадаться, если Сашенька без напоминания с утра сбегал в парикмахерскую, надел свой лучший костюм и даже новые французские ботинки, которые удалось приобрести в «Березке» и которые провалялись в шкафу год с лишним, потому что Сашенька уверял, будто они жмут. Разумеется, они были ему в пору и даже на полразмера больше, но Сашенька, как и тридцать лет назад, оставался мальчишкой и ужасно не любил новые штаны и ботинки, потому что их надо было беречь. Может, это у него осталось еще с того времени, когда он впервые надел пальто с воротником, купленное на последние сбереженные ею за счет жесточайшей экономии и голодания деньги, а через час вернулся с воротником под мышкой, и она его этим воротником отстегала?

Он не только не любит, а и не умеет носить новые вещи, они его сковывают, вот и сейчас голову поворачи-

чивает вместе с туловищем, как будто у него нет шеи или голову схватил жесточайший миозит.

— Сашенька, ты поаккуратнее, подметки-то из натуральной кожи, а по радио передали, что на улице гололед...

И кто ее дернул за язык напоминать об этом проклятом гололеде?...

Сдав пьесу в литературную часть, он отправился в актерский гардероб, чтобы там перехватить Антонину Владимировну. Поскольку он прибрасывал минут пятнадцать на то, что в дирекции театра его кто-нибудь может задержать, а все обошлось, в гардеробе он появился еще до окончания спектакля.

— Я тут подожду, — попросил он пожилую вахтершу, безропотно впустившую его.

— А вы разденьтесь, — предложила гардеробщица, — да вон в буфете кофейку выпейте. А Тоше мы скажем, что вы там ее ждете.

— И то! — одобрила вахтерша.

«Откуда они знают, что я жду Антонину Владимировну?» — удивился Половников. И еще более удивился, увидев, что гардеробщица повесила его пальто на вешалку Грибановой, поверх ее шубы, хотя рядом было столько пустых крючков — в утреннем спектакле было занято немного актеров.

В актерском буфете пахло кислой капустой, ванилью и готовыми пятикопеечными котлетами. Но кофе оказался достаточно крепким. Половников уселся в углу, лицом к двери, благо мест оказалось много, только за двумя столиками сидело по четверо посетителей. Похоже, что за одним столиком собрались художники, они о чем-то спорили и рисовали фломастерами на салфетках. За другим столиком тихо переговаривались актрисы. Буфетчица ругалась по телефону с трестом столовых, требуя для новогодних заказов красную икру.

Едва она положила трубку, как к ней, умоляюще сложив руки, обратилась одна из актрис:

— Настенька, можно я от вас позвоню? Мой там один дома.

Буфетчица молча поставила аппарат на стойку.

— Гошенька, ты поел? — спрашивала в трубку актриса. — Как не нашел? Да в холодильнике же. В желтой кастрюле суп, а в синей пюре, а котлеты на сковородке.

Ты все разогрей, только не забудь выключить газ. Кран на трубе поверни к себе. И про уроки не забудь, я приеду и проверю. Как всегда, после вечернего спектакля.

После нее по телефону говорил один из художников:

— Не можешь решить, не сходится с ответом? Ладно, диктуй условие.— Он схватил меню и на обратной стороне стал записывать условие задачи. Потом обратился к остальным художникам: — Эй, мужики, кто силен в математике?

— Давай сюда, может, осилим.

Пока художники решали задачу, актриса, говорившая по телефону, жаловалась:

— Не знаю, что из моего Гошки получится. Целый день один, уроки не учит, не ест как следует, позавчера сварила борщ, так он, паршивец, в унитаз его вылил, а воду спустить забыл.

— А ты его на продленку отдай.

— Так ведь продленка-то только до семи вечера, а у меня в это время спектакль.

— Да, наши дети как сироты. Хотя бы один пансионат на все московские театры открыли...

Половников, мысленно посочувствовав им, вдруг подумал: «Если у нас с Тошей будут дети, по крайней мере, есть кому присмотреть».

А художник уже диктовал решение задачи и страшно сердился:

— Как не понимаешь? Пи эр в квадрате — это что? Вот именно. Значит, эр в квадрате в числителе и знаменателе сокращаются. Чего уж проще, а ты не соображаешь. Ты уж старайся, ведь полугодие кончается. Ой, чует мое сердце, что ты под елку двойку положишь в качестве новогоднего подарка нам с матерью.

«А ведь и верно, скоро Новый год,— вспомнил Александр Васильевич,— истекает срок представления рукописи в издательство «Советская Россия», а я завяз с этой пьесой».

Издательство заказало ему документальную повесть о нефтяниках Тюмени, Половников дважды выезжал на нефтепромыслы, материала набралось достаточно, и, если бы не пьеса, он уже закончил бы повесть. Правда, у него есть еще два льготных месяца, если поехать в Дом творчества, скажем, в Переделкино, а еще лучше подальше от Москвы — в Малеевку, то можно успеть, но именно сейчас ему не хотелось никуда ехать. «Придется просить пролонгацию...»

Щелкнуло в висевшем на стене динамике внутренней трансляции, и Эмилия Давыдовна железным голосом сказала:

— Спектакль окончен, рабочих прошу на сцену.

Тотчас поднялись и ушли, не допив кофе, художники; буфетчица начала раскладывать по тарелкам котлеты с картофельным пюре и сосиски с капустой; пожарник, подняв с пола медную каску, набросил ее на голову и выскочил вон. Александр Васильевич взял чашку кофе, зная, что сегодня в «Сказке о Царе Салтане» Антонина Владимировна играет бабу Бабариху, грим у нее сложный и освободится она не скоро.

Буфет постепенно заполнялся: сначала появились осветители и билетерши, потом начали подходить и актеры. Многие из них уже знали Александра Васильевича, приветливо кивали ему. Подсел за столик Семен Подбельский, поковырял вилкой в тарелке, брезгливо отодвинул ее и сказал:

— Вы видите перед собой потенциального язвенника! — И без перехода спросил: — Как подвигаются дела с пьесой?

— Отнес в литчасть очередной вариант. Надеюсь, последний.

— Дай-то бог, а то я третий сезон в простое.

— Разве вы будете ее ставить? — удивился Половников, вспомнив, что именно Подбельский был особенно недоволен прежними вариантами.

— Да. Если будем ставить. Вместе со Степаном Александровичем. Точнее — под его художественным руководством, — Подбельский криво усмехнулся.

Его усмешка покорила Половникова, но сообщение о том, что ставить он будет с Заворонским, тем более под его руководством, обрадовало, хотя Александр Васильевич не очень отчетливо представлял, в чем заключается художественное руководство. Хотел спросить об этом Подбельского, но тут появилась Антонина Владимировна. Судя по тому, что она не удивилась, гардеробщица уже известила о нем.

Александр Васильевич, опасаясь, что Подбельский опять помешает им, встал и пошел ей навстречу.

— Я хочу вас умыкнуть, — сообщил он, осторожно пожимая протянутую руку.

— Надолго?

«На всю жизнь!» — хотелось ответить ему, но он во-

время сдержался, вспомнив, как Антонина Владимировна предостерегала его насчет высокопарности.

— Пока на весь вечер. С меня причитается, я только что сдал пьесу.

— Поздравляю!

— Рано еще. Может быть, это опять никуда не годится. Тем не менее едем! Вперед!

— С песней?

— Пока без.

На ближайшей стоянке такси опять была длинная очередь, стояли в основном родители с детьми, только что вышедшие из театра.

— Пойдемте опять пешком,— предложила Антонина Владимировна.

Они не отошли и ста метров, как взвизгнули тормоза, к тротуару прижались «Жигули», и Семен Подбельский, распахнув дверцу, предложил:

— Давайте подброшу. Вам куда?

— В Дом литераторов.

— Красиво живете! — позавидовал Семен.

— Давайте и вы с нами,— предложил Половников.

— Мне нельзя, я за рулем,— искренне огорчился Подбельский, хлопнув обеими ладонями по баранке руля.— Садитесь быстрее, а то мы стоим под знаком, запрещающим остановку...

Александр Васильевич открыл заднюю дверцу, пропустил Антонину Владимировну, занес в салон левую ногу и в этот момент поскользнулся, правая нога сползла под кузов, но Половников успел ухватиться за дверцу и удержался. Отжавшись на руках, он втянул и правую ногу, захлопнул дверцу, и они поехали. Нога сильно болела. «Должно быть, потянул связки,— решил Александр Васильевич.— Теперь недели две, а то и все три прохромаю».

Когда подъехали к Дому литераторов, он, открыв дверцу, вынужден был снова ступить на правую ногу. Вскрикнув от дикой боли, на этот раз не удержался и кулем вывалился из машины. Подбельский и Антонина Владимировна помогли ему подняться, довели до вестибюля, там осмотрели ногу. Она уже распухла и посинела, до нее нельзя было даже слегка дотронуться.

— Это перелом,— определила дежурный администратор Люба.— Надо срочно ехать в травматологический пункт. Вызвать «скорую»?

— Я доведу, — сказал Подбельский. — Где тут ближайший пункт?

Люба заглянула в справочник, назвала адрес, двое гардеробщиков донесли Половникова до машины, Антонина Владимировна шла вслед за ними и несла злополучный французский ботинок, лицо ее было испуганным и бледным.

— Кто же в такой гололед носит ботинки на коже? — сказал Подбельский, запуская двигатель.

В травматологическом пункте сидело человек тридцать: четверо тоже со сломанными ногами, человек пять — с руками, подвязанными шарфами и платками к шее, один лежал на топчане и громко стонал, двое парней держали под руки пьяного с рассеченной бровью, а он вырывался и грозил «пришить эту подлюку». Несколько человек было уже с загипсованными ногами и руками, выяснилось, что они приходят сюда каждые десять дней, чтобы продлить бюллетень.

Вышла сестра, заклеила пластырем бровь пьяному парню и отправила его делать укол против столбняка. Потом собрала больничные листы у загипсованных и начала заполнять их. Подбельский стал уговаривать сестру, чтобы Половникова пропустили вне очереди, но она строго сказала:

— Здесь все такие. Ждите.

Ждать пришлось около двух часов. Врач, бегло осмотрев ногу, отправил Половникова в рентгеновский кабинет, расположенный на четвертом этаже. Лифт не работал, Александру Васильевичу выдали костыли, и он, поддерживаемый Подбельским и Антониной Владимировной, полез на четвертый этаж. Там тоже была очередь, но продвигалась она быстро, и через полчаса сделали снимок. Потом пришлось опять спускаться на первый этаж и ждать, когда принесут снимок. Тот же врач, рассматривая снимок, сообщил:

— Двухлодыжечный перелом. Плохо, что с подвывихом, к тому же порваны связки, полетел синденоз.... Словом, все, что можно было тут натворить, вы сделали. Придется оперировать. Галина Тимофеевна, — обратился он к сестре, — позвоните в больницы, узнайте, где есть свободные места?

— Все больницы с утра забиты. Гололед же!

— Отправьте в ближайшую по «скорой». И проследите, чтобы опять не увезли костыли. Сколько их осталось?

— Всего три. Пока зашивала бровь тому пьяному, еще двое костылей пропало,— вздохнула сестра и стала вызывать «скорую».

В приемном отделении больницы снова пришлось делать рентгеновский снимок, оказывается, тот оставили в травматологическом пункте как основание для госпитализации. Потом Александра Васильевича переодели в желтоватое, вконец застиранное больничное белье с тесемками вместо пуговиц, выдали халат из грубого, должно быть шинельного, сукна и уложили на каталку, настолько высокую, что даже с помощью Подбельского он едва на нее взобрался. Долго ждали санитарок, чтобы отвезти его в отделение, но они так и не появились, пришлось везти дежурной сестре и Антонине Владимировне.

Травматологическое отделение находилось в другом корпусе, в дальнем углу огромной больничной территории; везти пришлось через весь двор, по скользким дорожкам, а на улице стоял мороз и Антонина Владимировна, толкая каталку одной рукой, другой то и дело подтыкала ему под бока тоже суконное одеяло и поторавливала сестру:

— Нельзя ли поскорее? Он же простудится! — И, сдернув свой мохеровый шарф, расстелила его поверх одеяла.

— Позвоните маме,— наказывал Половников,— но не говорите, что у меня перелом, а то она всполошит всю Москву. Скажите, что растянул связки, поваляюсь тут недели две-три. Навещать пусть не приходит, скажите, что в больнице карантин.

— А у нас действительно карантин,— сообщила сестра.— Опять эпидемия гриппа.

Видимо, поэтому Антонину Владимировну, несмотря на уговоры, в отделение не пустили.

Шел уже одиннадцатый час ночи, в отделении были только дежурные врач и сестра, они тотчас отвезли Александра Васильевича в гипсовую и стали вправлять вывих. После четырех уколов Половников почти не чувствовал боли, но врач, нажимая своим мягким животом на стопу, так выворачивал ее, что Александру Васильевичу слышался хруст костей, и он был уверен: врач доломает все остальные. Наконец на ногу до самого паха наложили гипсовую лангетку, врач сказал: «Подсохните пару часов», и они с сестрой ушли.

Постепенно проходил наркоз и возвращалась боль, она становилась все острее, и то ли от этой боли, то ли от холода Александра Васильевича начало трясти. Он лежал в одних трусах на покрытом холодной коричневой клеенкой столе, к тому же из окна сильно дуло, а до висевшего на спинке стула халата было далеко. Александр Васильевич хотел зацепить его стоявшим в углу у изголовья костылем, но до него тоже не дотянулся и чуть не свалился со стола.

К тому времени, когда сестра вернулась за ним, его уже колотило как припадочного. Вдобавок и место ему отвели на узком и неудобном, скошенном в одну сторону диване в коридоре, опять у окна. Накидывая на него второе одеяло, дежурная сестра сказала:

— Вам еще повезло, а некоторые на раскладушках валяются. Все переполнено — гололед!

И верно, весь коридор был заставлен кроватями, топчанами и раскладушками.

— Завтра вас прооперируют и, наверное, положат в палату. Вам и тут повезло: завтра сразу троих выпишут.

Но к утру у него поднялась температура до тридцати восьми, и операцию отменили, назначив уколы. Однако ни к вечеру, ни на другой, ни на третий день температура не спала, вызвали терапевта, тот послушал и определил пневмонию. Снимок подтвердил его диагноз, и Александра Васильевича наконец-то перевели в палату.

2

Ходячим в седьмой палате оказался только один Костя-гитарист, у него была сломана левая рука, он держал ее на привязи «самолетиком» и ловко управлялся одной правой. Собственно, его и положили сюда для того, чтобы он мог принести и подать кому воды, кому утку, иногда и подмести в палате, ибо из полагающихся на отделение четырех санитарок была только одна.

Остальное население палаты было не просто лежащим, а и тяжелым, все лежали на стяжке и вытяжке по методу Илизарова, в металлических кольцах, прошитые тонкими стальными спицами.

Инспектора ГАИ Александра Дмитриевича Камушкина покалечил пьяный водитель самосвала. Он мчался по улице на бешеной скорости, не обращая внимания на светофоры. Правда, улица была немногочисленной, но впере-

ди — площадь с пешеходными переходами, с трамвайными и троллейбусными остановками.

Александр Дмитриевич вскочил на мотоцикл, настиг самосвал и потребовал немедленно остановиться, но водитель лишь прибавил скорость. А до площади оставалось не более трехсот метров...

Вспрыгнув на подножку самосвала, Камушкин попытался выдернуть ключ зажигания, но водитель ударил его сначала по рукам, потом по лицу и, открыв дверцу, пытался столкнуть с подножки. Однако Александр Дмитриевич все-таки сумел выдернуть ключ, а потом вцепиться в баранку и вывернуть ее, направляя самосвал на толстый ствол растущей на обочине липы, благо прохожих поблизости не было.

Удар получился не лобовой, а скользящий, как раз с левой стороны, Александра Дмитриевича стволом дерева сбросило с подножки прямо под колеса, но самосвал к тому времени уже остановился.

Потом ему рассказали, что при этом дорожном происшествии никто больше не пострадал, даже пьяный водитель отделался легкими порезами о разбитое лобовое стекло и пытался бежать, но его тут же задержали.

А Камушкину раздробило левую руку и ногу. Руку пришлось сразу отрезать, а ногу собрали по косточкам, но она оказалась короче на четырнадцать сантиметров, и сейчас ее вытягивали аппаратом Илизарова. Каждое утро лечащий врач Виктор Степанович, морщась как от собственной боли, подкручивал что-то гаечным ключом, увеличивая растяжку на один миллиметр, после этого неизменно и сочувственно спрашивал:

— Может, сегодня укол сделаем?

Камушкин неимоверно страдал от боли, лицо его становилось мучнистым, он скрипел зубами, но так же неизменно отказывался от укола:

— Потерплю. А то еще привыкну, наркоманом сделаюсь, тогда совсем беда.

Он лежал уже второй год и готов был страдать еще столько же, лишь бы сохранить ногу.

— Если бы у меня хоть рука с этой стороны была, тогда бы на костыль опираться можно. А так я что? Чурка с глазами. — И тут же утешал себя: — А ведь могло быть еще хуже. У меня хоть потроха не задело, а у одного из наших гаишников в аналогичной ситуации сломанным ребром печень пропороло, его и до больницы не

довезли.— И тут же осуждающе косился на Мишку-браконьера, лежавшего у противоположной стены.

Мишка пострадал при сходных обстоятельствах, но по собственной вине. Гонимая по Кулундинской степи за сайгаками, столкнулись две машины.

— Может, их и на всю степь всего-навсего две и было машины-то, а вот не разъехались! — Похоже, он только об этом и сожалел до сих пор.

Четвертым в палате был Иван Михайлович Кривченя, балагур и весельчак. Он работал инструктором в аэроклубе, поломался при посадке, доверившись бестолковому курсанту, но в случившемся винил только себя. Лежал он тоже давно, большую берцовую кость ему вытянули всего на шесть сантиметров, мозоль получилась хорошей, но не зарастала рана. Дважды ему делали пересадку, но взятая с его бедра кожа не прижилась, каждый раз свертывалась в трубочку, как береста на огне, и врачи опасались, как бы у него не образовалась трофическая язва.

Самым молодым в палате был Коля-спортсмен. Он прыгал в высоту, должно быть, когда-то неудачно приземлился, повредил бедренный сустав, но не придавал этому значения, понадеявшись, что все пройдет само, к врачу обратился лишь тогда, когда стало совсем невтерпех. Но к этому времени у него вырос ложный сустав, пришлось его удалять и ставить искусственный, но тот почему-то не прижился, пришлось удалить и его, и сейчас аппаратом подтягивали ногу к бедру, чтобы пришить его напрямую. Это означало, что нога сгибаться не будет, и Коля молча страдал, особенно при виде молоденьких сестер.

А сестры его особенно жалели, всегда находили для него ласковое слово, доставали лекарства, приносили почти все подаренные в дни посещений конфеты и фрукты. От такого внимания Коля страдал еще более.

— А вы, наверное, учитель,— спросил Половникова Мишка-браконьер.

— Почему вы так думаете?

— У меня глаз — ватерпас.

— А все-таки?

— Во-первых, взгляд у вас учительский, вы так смотрите, будто оценку каждому из нас оставите. Во-вторых, книжки. «Антология испанской поэзии», «Очерк творчества Алексея Толстого». Кто же, кроме учителей и ненормальных, такие книжки читает, да еще в больнице?

Книги Александр Васильевич взял уже здесь, у кни-

гоноши, отчасти потому, что других приличных книг у нее не было. Опровергать мнение Мишки он не стал. «Пусть думают, что учитель. А узнают, что писатель, будут стесняться и любопытствовать». Он уже давно заметил, что с писателями и журналистами люди держатся несколько скованно.

— А с ногой-то у вас что?

— Поскользнулся, сломал лодыжку.

— Ну, это — семечки. Привинтят шурупами, и через месяц — домой, у нас таких на этой кровати уже четверо лежало. Через три месяца танцевать будете.

— С подвывихом? — спросил Камушкин.

— Да. И связки порваны.

— Тогда танцы придется на полгода отложить.

— Ну, вы тоже скажете, Александр Дмитриевич, на полгода! Не более четырех месяцев, — осведомленно поправил Мишка-браконьер.

Заспорили, каждый доказывал свое. Повидали они тут уже многое и спорили профессионально, во всяком случае, так показалось Александру Васильевичу.

— Операция тоже пустяковая, — уверял Иван Михайлович при общем согласии.

Но операцию все откладывали. Хотя кашель прошел, но температура держалась.

3

Как-то так получилось, что Александру Васильевичу не только самому никогда не приходилось испытывать сильные физические страдания, а даже наблюдать их так близко, как сейчас. И если раньше он представлял их просто как боль и способность переносить ее, то теперь убедился, что все гораздо сложнее. Боль в конечном счете все так или иначе переносят — одни легче, другие тяжелее, у одних это проявляется открыто, другие находят какие-то дополнительные силы, чтобы пересилить себя. Но боль и страдание — далеко не одно и то же. Ощущение своей ущемленности, физической неполноценности бывает гораздо острее самой сильной боли.

Даже «легкий» Костя переживал, что уже не сможет играть на своей гитаре так, как раньше. Остальным было уготовано пожизненное увечье, перед этой мрачной перспективой они оказались в разной степени готовности, и дело тут было не только в жизненном опыте, а и в самом характере человека, черты которого теперь проявлялись

наиболее откровенно и неприкрыто. Наверное, вот так обнажалась истинная сущность каждого человека только на фронте.

Александр Дмитриевич Камушкин лишь пытался утешить себя тем, что могло быть и хуже, если бы «задело потроха». Но когда приходили его жена и две дочери-погодки с одинаковыми косичками, он страдал не только от собственной боли, а пропускал сквозь себя и все их горестные мысли и чувства: испуг и нескрываемую жалость девочек, скрытую жалость и взгляд жены, уходящий порой в такую неведомую даль, за которой, наверное, уже ничего и не было. И, поймав этот взгляд, он, старавшийся бодриться, выглядеть веселым и непринужденным, вдруг напрягался весь, на лбу его собирались глубокие складки, на скулах начинали проступать беспокойные комочки, но он всегда успевал сдержаться и, выдавив из себя улыбку, брал жену своей уцелевшей рукой за ее тонкую кисть и, сжимая ее, говорил:

— Ничего, перебьемся. Главное — живой остался.

Она поспешно переводила взгляд на него, согласно кивала головой и подтверждала:

— Конечно, перебьемся.

Тут и девочки дружно кивали, тоже выдавливая улыбки, и было видно, что от этих вымученных улыбок Александру Дмитриевичу становится еще горше, и он неизменно отвлекал внимание от себя каким-нибудь общим вопросом:

— Ну а как у нас дела на учебном фронте?

Девочки поспешно совали ему свои дневники, и он долго просматривал их.

— Молодцы, ничего не скажешь!

Девочки все больше старались и в последнее время приносили одни пятерки.

Тут разговор обычно перебивал Иван Михайлович Кривченя, ставя девочек в пример своему сыну Вовке:

— А у тебя в дневнике одни тройки. А с тройками, брат, в небо не пустят.

— И славу богу! — непедагогично восклицала его жена. — Один уже отлетелся, с меня и этого хватит. Не забивай мозги мальчику...

— Все равно я буду летчиком! — запальчиво настаивал Вовка и прижимался к отцовскому плечу.

— Ну и правильно! — поддерживал его отец. И тут же спохватывался: — Однако ты слушайся мать...

Тут наставляла очередь Серафимы Поликарповны, и она назидательно сообщала:

— А вот мой Сашенька всегда на одни пятерки учился!

Александр Васильевич не помнил, чтобы это было хотя бы одну четверть, у него почти не переводились тройки сначала по арифметике, потом по математике, а по химии была даже переэкзаменовка, но он не протестовал не только из педагогических соображений, а еще и потому, что мать теперь уже не помнила ни троек, ни переэкзаменок, а была искренне убеждена, что в школе он был круглым отличником и вообще образцово-показательным мальчиком, и Вовка одаривал его справедливо таким же презрительным взглядом, как и тех «задавак»-погодков, которых ему ставили в пример.

Мишка-браконьер каждый раз доставал из тумбочки цветную фотографию, где был снят вместе с женой и тремя сыновьями, и тоже хвастался:

— А мои вот учатся ни шатко ни валко, зато ухватистые. Все в меня. Петька вон отчудил: на Новый год лису в капкан поймал и посадил под елку.

— Нашли чем хвастаться! — подавал реплику Коля-спортсмен. — Он бы еще Деда Мороза в капкане принес.

— А ты, чемпион, помалкивай, когда не спрашивают! — зло одергивал Мишка.

И общий разговор как-то сразу распадался, возле каждой кровати начиналась своя приглушенная беседа. Настроение у всех поднималось только перед самым уходом посетителей, когда в палате появлялись Костя-гитарист и его девушка Галя, уходившие целоваться на лестничную площадку.

— Как тут наша седьмая гвардейская? — спрашивал Костя, протискивая Галю к своей кровати и успевая по пути подергать за косички девочек и легонько ткнуть в бок неуспевающего Вовку. Потом он начинал разгружать Галину сумку и неизменно похвалу содержимому сумки заканчивал упреком: — Вообще ты у меня молоток, Галчонок, а вот пузырек опять не соизволила прихватить.

— Обойдешься!

— Ладно, вот выйду на волю, разговееюсь по-черному, — обещал Костя.

Тут в палату заглядывала дежурная сестра и строго предупреждала:

— Товарищи, время посещения кончилось.

Все начинали собираться. Первыми уходили Костя с

Галей, они еще минут пять целовались на лестничной площадке, потом Костя бежал в столовую и помогал сестре и санитарке разносить ужин. Девочки испуганно и поспешно целовали в щеку Александра Дмитриевича. Вовка изо всех сил жал руку отцу, и тот неизменно удивлялся:

— Ого! — И наказывал: — Ты уж матери-то помогай по хозяйству и не огорчай ее.

— Ладно, — насупившись, не очень уверенно обещал Вовка, бросая в сторону матери короткий взгляд.

После ужина заходила сменившаяся с дежурства сестра и приносила гостинцы Коле: яблоки, апельсины, шоколад. Больше всего было шоколада, почему-то именно им предпочитали одаривать сестер посетители и больные. А Коля шоколад не любил, и Мишка-браконьер выменивал его на карамель, за которой посылал Костю в ближайшую кондитерскую.

Словом, все шло как по заранее написанному сценарию. В неприсутственные дни жизнь была еще однообразнее, и это угнетало больных не менее, чем боль.

И лишь Половникова однообразие не тяготило, он с любопытством наблюдал и за соседями по палате, и за врачами, и за сестрами, отмечая, сколь разнообразно проявляются характеры людей в этих, как теперь принято говорить, экстремальных условиях.

И все, что он написал, теперь казалось ему малозначительным, не способным глубоко задеть души людей, а порой и просто надуманным, далеким от реальной жизни, которую нельзя познать наскоком. Он понял, что теперь уже не сядет за повесть о нефтяниках Тюмени, ибо материал, собранный за два кратковременных набега, может оказаться не то чтобы недостоверным, а наверняка неглубоким.

Перед писателями и журналистами люди редко раскрывают все тайники души, наоборот, показывают лишь одну сторону медали — лицевую, и вовсе не потому, что хотят покрасоваться, а инстинктивно оберегают эти тайники от чужого глаза, а тем более от публичного их обозрения. Порой человек, не раскрываясь даже перед близкими людьми, вдруг распахивается перед совершенно посторонним, скажем, перед дорожным попутчиком, ибо знает, что больше уже не встретит его и тот не злоупотребит его откровенностью, а желание высказаться и тем облегчить душу иногда становится невыносимым.

Недаром же говорят: чтобы узнать человека, надо

съесть с ним пуд соли. И Александр Васильевич твердо решил после излечения снова поехать к нефтяникам, есть этот пуд и пожить там не две-три недели, а может быть, полгода или даже год, и не наблюдателем, а соучастником событий. Но что он умеет делать? Если бы не этот перелом ноги, можно было бы устроиться и разнорабочим, а теперь придется наниматься куда-нибудь в контору, на худой конец — в многотиражку или в корреспондентский пост одного толстого журнала, который недавно открыт на тюменских промыслах.

«А как же Антонина Владимировна?» — естественно возник вопрос, и он никак не мог ответить на него, откладывая его решение на потом. Он и свидание с Антониной Владимировной оттягивал, не известив ее о том, что в больнице карантин уже сняли, и предупредив мать, чтобы она тоже пока об этом не сообщала.

О пьесе он как-то не думал, судьба ее почему-то не волновала его. Примут так примут, а не примут — тоже не беда, в конце концов, это лишь проба; если она и на сей раз окажется неудачной, огорчаться не стоит, он лишь окончательно убедится, что взялся не за свое дело. А потраченный на нее труд бесследно не пропадет, все-таки за время работы над пьесой он что-то приобрел и для себя.

А жизнь давала новый опыт, и у Александра Васильевича вдруг возникло желание написать роман о человеческом страдании. Наверное, это одна из самых трудных тем, хотя и чуть ли не самая благодатная для литературы. Собственно, почти вся мировая литература построена на страдании... Но почти вся — на любовном!

Он вспомнил, что французская Академия художеств во всей мировой литературе насчитала только двадцать шесть или двадцать восемь сюжетов. Видимо, двадцать девятый найти будет трудно. «Интересно, что об этом пишет Хейли? — подумал Александр Васильевич. — Скорее всего дает технологию, как в «Аэропорте». Может, прочитать его «Госпиталь»?»

Этого романа Хейли он не читал, кажется, отрывки из него печатал журнал «Наука и жизнь», который Половников не выписывал, ибо подписаться на него было трудно. Можно было, наверное, взять его и в библиотеке больницы, но теперь он уже не хотел читать, ибо чувствовал в себе потребность написать о больнице и боялся, как бы Хейли не повлиял на него.

У Александра Васильевича уже устоялось правило:

не читать ничего из художественной литературы на тему, о которой он пишет (специальную читать было просто необходимо), дабы невольно не позаимствовать (а если уж точнее — не украсть) какую-нибудь понравившуюся и запомнившуюся мысль. Он знал, что иногда так случается непреднамеренно, и даже помнил случай из собственной писательской практики.

В ту пору он писал историческую повесть и вспомнил, что об этом периоде был до него написан роман одним довольно известным писателем, к счастью еще живым тогда. Естественно, он обратился к этому писателю с просьбой прочитать рукопись. Писатель был еще не стар, но уже знал, что дни его сочтены, что болезнь его, несмотря на то что от него ее тщательно скрывают, не оставляет никаких надежд, ибо лечить ее пока не умеют, и приводил в порядок свое литературное наследство, готовя к изданию посмертное собрание сочинений. Писатель отбирал для этого издания столь требовательно собственные произведения, пользовавшиеся мировой известностью, что было бы даже преступно предлагать ему в это время читать чужую рукопись.

Но видимо, он подводил итоги не только собственного творчества. Заметив в толпе, выходящей из большого зала ЦДЛ, Половникова, он подозвал его и сказал:

— Я не знаю, сколько вы написали книг, быть может, я какие-то не заметил. А вот эту про Землю... Напомните мне ее название... Да, вот эту. Земля-то действительно стала маленькой. Вот в этой что-то есть. Момент истины, что ли. Что вы еще написали? Впрочем, это не имеет значения, гораздо важнее, что у вас есть сейчас. Так что же?

— Рукопись новой книги,— сообщил Половников.

— Рукописи мне трудно читать. Я ведь сейчас читаю только лежа. Книгу еще могу, а рукопись... Знаете, листочки из рук выпадают... Ну, да не в этом дело... Так о чем же вы нынче пишете?

— Не знаю почему, но я написал историческую повесть. Кстати, о том же периоде, что и ваш роман.

— Это был интересный период. Любопытно! А ну-ка, пришлите ее мне.

— Но вам же в рукописи...— начал было Половников.

— Будет интересно — и в рукописи прочитаю, а когда неинтересно — и книжку уроню. Присылайте.

Как назло, дома оказался только слепой третий экземпляр, два уже были сданы в издательство. И Александр Васильевич нанял сразу трех машинисток, чтобы

они перепечатали повесть заново, причем, всех троих попросил поставить в машинки новые ленты, чтобы читать было нетрудно.

Но уже через два дня позвонил известный писатель и сердито спросил:

— Так где же рукопись?

Александр Васильевич начал было объяснять насчет перепечатки, но тот прервал:

— Давайте то, что у вас есть. Мне ждать некогда.

И Половников только тогда и понял, что писатель сам все знает о своих сроках, и, может быть, впервые по-настоящему был потрясен. К счастью, на следующий день машинистки уже перепечатали рукопись, и Александр Васильевич сам отвез ее умирающему писателю.

— Мне, право, как-то неловко вас обременять, но я очень опасаюсь, как бы я ненароком что-нибудь не позаимствовал из вашего романа. Поэтому посмотрите поостроже, — попросил Половников.

— Не пойму, то ли вы тонко льстите, что ли действительно опасаетесь. Ладно, идите, голубчик, мне некогда, я должен успеть прочитать ваше сочинение. Вдруг это интересно?

Повесть писателю понравилась, но в двух местах он обнаружил не то чтобы схожесть, но слишком уж явное подражание ему. С тех пор Александр Васильевич намеренно не читал художественных произведений по теме, близкой к той, которую он сам начинал разрабатывать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

На этот раз пьеса Заворонскому понравилась, он даже удивился, как глубоко и тонко почувствовал Половников специфику сцены, прописал характеры, четко определил основную тему, отбросил все лишнее, уплотнил, сделал более мускулистым диалог. Конечно, не все у него пока хорошо, остался еще легкий налет декларативности, но режиссеру теперь совсем нетрудно смахнуть его, как пыль со стола. Главное — пьеса не только обрела художественность, а и масштабность, значительность и актуальность, подняла пласт, доселе еще не исследованный драматургией. Спектакль должен прозвучать остро, современно и ново.

И тут очень многое будет зависеть от постановки, особенно сейчас, когда проблемы театра привлекли всеобщее внимание, вокруг них много споров о том, какой нужен сегодня театр — «режиссерский», «актерский» или «авторский». Степан Александрович не разделял ни одну из точек зрения, ибо давно уже уяснил, что самое уязвимое место театра, его ахиллесова пята находится в точке пересечения актерских и режиссерских проблем, а вернее — в точке их соприкосновения. И все споры о том, нужен ли «режиссерский» театр, как это ни парадоксально, вольно или невольно, но возвышали роль и значение режиссера в сценическом творчестве. Именно режиссера, ибо роль актера давно была ясна сама по себе.

Заворонскому казалось, что все споры о театре начинаются не с того конца, ибо дело тут даже не в самом режиссере, а в том, какие художественные задачи он ставит и какую художественную идею провозглашает и утверждает. МХАТ возник как слияние двух очень разных режиссеров, утверждающих одну идею, совершенно новую, позволившую не просто сформировать, а и сплотить труппу именно на глубоком понимании новых художественных задач театра. И не случайно после смерти этих двух очень разных, но одинаково великих режиссеров, утвердивших новый метод в искусстве, театр начал сдавать позиции, ибо на смену основателям не пришли режиссеры, ставящие если уж не равнозначные, то хотя бы крупные цели.

Театр, который сейчас возглавлял Степан Александрович, родился тоже не на пустом месте, и у него были замечательные традиции. Но дело ведь не в том, чтобы бережно сохранять эти традиции, гораздо важнее их продолжать, иначе они превратятся в тот «хорошо сохранившийся труп», о котором говорил Вахтангов. И критерием оценки деятельности театра не может быть одна традиционность, важно еще и уяснить, открывает ли новая постановка перспективу роста театра, его движение вперед и выше, или всего лишь обозначает шаг на месте. Или еще хуже — обозначает ту малозаметную, но крайне разрушительную потерю качества, которая ведет к скатыванию на непригодный для данного театра, но «модный» репертуар, непривычную и неприемлемую для него стилистику.

Постановка пьесы Половникова может оказаться принципиальной для театра, в ней есть именно тот драматургический материал, который театр искал послед-

ние годы. И Степан Александрович понимал, что спектакль должен ставить он сам, ибо он задумал эту пьесу и уговорил Половникова, несмотря на его сопротивление, все-таки написать ее, вместе с ним вынашивал ее во всех подробностях, мысленно, подспудно уже давно работал над ее постановкой. Ну и — что скромничать! — был намного опытнее очередных режиссеров и как художественный руководитель лучше понимал задачи и проблемы своего театра, хотя бы уже потому, что больше ими занимался.

Но время, сроки!

Спектакль надо подготовить к началу нового сезона, хорошо бы его премьерой и открыть сезон. Это значит, что где-то к концу мая он уже должен быть готов, ибо потом начнутся летние гастроли и отпуска. Значит, уже сейчас надо начинать читки, беседы и репетиции с актерами, работать с художниками, музыкантами, за какие-то два-три месяца сделать хотя бы «рисунок углем».

А тут сессия Моссовета, заседания бюро райкома партии и парткома театра, профсоюзная конференция, совещания в общесоюзном и республиканском Министерствах культуры — от этого никуда не уйдешь. К тому же, не будучи уверен, что Половников даст пьесу хотя бы в этот срок, он уже начал репетиции «На дне» Горького.

«Может, взять сорежиссера из очередных?» — мелькнула на первый взгляд спасительная мысль, но он тут же отверг ее. Из опыта своего и многих других театров он знал, что совместная режиссура как раз и приводит к размыванию лица спектакля, ибо даже при обоюдном единомыслии режиссеров теряется их творческая индивидуальность. А чаще всего совместная постановка возникает не как результат единомыслия, а как ставшее уже привычным в последнее время деление режиссеров на мастеров и подмастерьев, на педагогов и постановщиков. При таком делении один работает с актерами, а другой фактически ставит спектакль на сцене. И педагог иногда выдвигает перед актерами задачи, не осуществимые в данном сценическом пространстве, а постановщик не хочет менять выношенную им мизансцену.

У семи нянек, как известно, дитя без глазу, актер зачастую не знает, кого ему слушать, и поэтому чаще всего не слушает ни того, ни другого, а принимает свое тоже выношенное решение, и все идет, как в басне Крылова о лебеде, раке и щуке. А воз остается и «ныне там», при-

чем никто уже и не помнит, где он стоял в начале этой чехарды.

Глушков, узнавший, что Заворонский намерен ставить пьесу сам, одобрил:

— И правильно. Спектакль может стать для театра этапным. Но потребует от тебя, Степа, огромной работы, потому ты не очень спеши.

— А если к новому сезону?

— Да ты что? Загубишь благодатный материал — и только. А такой материал не часто плывет в руки.

Все-таки на художественном совете Заворонский поставил вопрос о подготовке спектакля к новому сезону. Его тут же поддержал директор театра Марк Давыдович Голосовский, человек от искусства весьма далекий, но хозяйственник и организатор великолепный, видимо уже прикинувший, какие финансовые блага сулит премьера в начале сезона.

Однако члены худсовета опрокинули не только его расчеты, а и надежду Степана Александровича на то, что можно успеть к открытию сезона. Особенно рьяно и доказательно возражал Глушков, и большинство с ним согласилось. К работе над спектаклем решили приступать немедленно, однако конкретного срока не указали, решили, что выпускаться спектакль будет по готовности.

Это особенно взбесило Голосовского.

— Товарищи, так же нельзя! У нас же плановое хозяйство, а не стихия. Как же без сроков? — горячился он. — Анархия какая-то получается, так у нас все распустятся, перестанут работать.

Все засмеялись, зная, что директор театра считал всех актеров, художников и музыкантов бездельниками и тунеядцами; одно время он даже потребовал, чтобы творческие работники ежемесячно представляли индивидуальные планы работы, и для каждого были точно определены нормативы. Над этими планами потом долго потешались, ибо нашлось немало остряков, которые обязались или выучить за месяц пятьсот строк текста, или замазать тысячу шестьсот квадратных метров холста, не менее чем в шесть цветов, или проиграть до двухсот пятидесяти нотных «единиц», включая верхние «до» и нижние «си».

— Ну хотя бы ориентировочный срок все же надо определить! — настаивал Голосовский.

Ориентировочный срок установили к середине следующего сезона. Ободренный этой уступкой художествен-

ного совета, Марк Давыдович повел атаку дальше с целью отвоевать сданные им остальные редуты.

— Я понимаю, до начала сезона времени маловато, и Степан Александрович, и ведущие актеры очень заняты в текущем репертуаре. Ну а если отдать этот спектакль молодежи? Вот и молодой режиссер Подбельский в простое.

— Не потянет.

— Не та пьеса, чтобы ею рисковать,— начали возражать члены худсовета.

Но тут встал Глушков и к удовлетворению Голосовского начал «сбивать температуру».

— Молодежь — это само собой. Да там и роли-то почти все молодежные. Мне, например, в этом спектакле делать нечего. Я и не претендую...— Глушков сделал мхатовскую паузу и великодушно предложил: — А Подбельскому можно дать ставить другую пьесу.

Когда расходились, Глушков сказал Заворонскому:

— Помяни мое слово: Семка Подбельский подаст заявление об уходе.

— Жаль! В принципе он парень способный, со временем из него выйдет толк.

— Не волнуйся, он никуда не уйдет,— успокоил Федор Севастьянович.— Так, только пошебуршит малость и возьмет заявление обратно. Зато потом будет на всех перекрестках кричать, что его уговорили.

Так оно и получилось. Подбельский взял заявление обратно, но при этом выглядел смертельно обиженным, чем и огорчил Степана Александровича.

— Да что ты так расстраиваешься? Это же цветочки, все ягодки впереди,— опять утешал Глушков.— Вот начнется распределение ролей, тогда уж, Степушка, держись! Там тебе не один Семка спектакль выдаст!

2

За многие годы работы в театре Степан Александрович Заворонский достаточно хорошо изучил актеров и убедился, что это люди особого, специфического психического склада, свойственного только этой профессии. Вероятно, сама атмосфера театра, актерский быт, понимание жизни, близкое к сценическому пониманию худо-

жественных произведений, отображающих эту жизнь, и определяли специфику их склада.

— Это же дети,— сказал однажды Заворонскому известный кинорежиссер. И, подумав, грустно добавил: — Правда, это плохие дети.

Сам Степан Александрович тоже знал, что актеры — дети. И с людьми других творческих профессий их больше всего объединяет, пожалуй, устойчивое заблуждение насчет собственных возможностей и достоинств и нетерпимое отношение к успехам своих собратьев. В остальном у них все выражается резче и ярче, они гораздо уязвимее, чувствительнее к любым проявлениям внимания к ним. У них более обостренное самолюбие, они более недоверчивы и подозрительны, более импульсивны, вера в себя у них порой легко сменяется паническим безверием. И чем сильнее, талантливее актер, тем непосредственнее и трепетнее его радости, яростнее его недовольство. И тем острее он принимает режиссерские, а особенно административные требования.

Поэтому распределение ролей — всегда очень болезненная операция, после которой долго не утихают страсти, недовольных каждый раз оказывается больше, чем удовлетворенных. Никто не хочет считаться с тем, что художественному руководству и администрации помимо чисто творческих соображений приходится учитывать массу привходящих обстоятельств. Распределение ролей — акт не механический, не раздача ролей, а создание ансамбля, в котором звучание всех актерских инструментов должно быть согласованным в единой партитуре спектакля. Сама по себе эта задача не из легких, и решение ее отягчается рядом новых, возникших в последнее время проблем.

Одна из них — все более поглощающие актеров кино и телевидение. У известных, да и не очень известных, но успешно снявшихся в одной-двух ролях актеров нет отбоя от предложений кино- и телестудий, иногда у них одна роль наступает на пятки другой, на съемки они подчас едут за тридевять земель, порой прямо с вокзала или аэропорта бегут гримироваться для текущего спектакля, когда до начала представления остается всего несколько минут.

Но страшна даже не сверхзанятость актеров, более страшна их амортизация. Кино и телевидение безжалостно эксплуатируют актера на ампулу, отчего он постепенно теряет диапазон, дисквалифицируется, начинает

безучастно, почти автоматически выполнять работу, нести трудовую повинность, а не жить в искусстве.

Амортизация тем и страшна, что деформирует творца в поденщика. И сколько уж раз бывало, что Заворонский буквально навязывал актеру одну из лучших ролей, чтобы уберечь его именно от деформации, а тот был крайне недоволен, ибо роль привязывала его к театру, лишая возможности выехать на очередную съемку в кино- или телероли, которую не надо ни готовить, ни играть, а лишь в очередной раз кое-что извлечь из арсенала давно наработанных штучек.

Степан Александрович ожидал, что наибольшее сопротивление и недовольство вызовет назначение на главную роль в пьесе Половникова молодого актера Виктора Владимирцева, и приготовился к острой борьбе за него, особенно рассчитывая на поддержку Федора Севастьяновича Глушкова. Но, к немалому удивлению обоих, Владимирцев прошел легко: видимо, вся подготовительная работа, особенно исполнение им ролей генерала Печенегова и странника Луки, принесла свои плоды, актеры приняли его.

Баталии развернулись совсем не там, где ожидалось: вокруг роли Валентины Петровны, которую художественный совет отдал Антонине Грибановой. Обнаружилось сразу три претендентки на эту роль.

Особенно агрессивно наступала Генриетта Самочадина, актриса весьма посредственная, с набором давно, еще в студии, наработанных штампов, абсолютно не пригодная на психологические роли, но красивая, бросающаяся за счет чего, собственно, она и держалась в труппе.

— Это моя роль! — истерично кричала она. — Я ее вижу, чувствую!

— Но ведь вам дали другую роль в этой пьесе.

— Да. Но — бытовую. А мне надоело играть мещанок и дурочек.

— Кесарю кесарево, — тихо, про себя, заметила Эмилия Давыдовна, но Самочадина услышала.

— А ты бы, старая ведьма, помалкивала! Что ты в этом понимаешь?

Эмилия Давыдовна заплакала и ушла. На несколько минут воцарилось неловкое молчание. Его прервал Глушков:

— Ты бы, Грета, пошла извинилась.

— Вот еще! — презрительно фыркнула Самочадина. — Много чести ей будет.

Глушков горестно покачал головой, встал и вышел, наверное, пошел успокаивать Эмилию Давыдовну.

— Грибанова только что заменила Фирсову в «Бабанщице», — напомнила Самочадина и усмехнулась: — О ней вон в газетах пишут. И опять ей дают главную роль.

— Я ее не просила, — сказала Грибанова. — Так решило руководство. Если художественный совет утвердит на эту роль вас, я ничуть не обижусь.

— О чем вы говорите? — вскочив с места, воскликнул Олег Пальчиков. — Ну кто же ее утвердит? Только время теряем. Поехали дальше.

Но Самочадина теперь накинулась на Пальчикова, перепалка между ними взвинтила остальных, и дальнейшее распределение ролей прошло в нервной обстановке, поэтому и недовольных оказалось больше, чем следовало ожидать.

Едва Степан Александрович зашел в свой кабинет, вслед за ним туда ворвалась разъяренная, как тигрица, Генриэтта Самочадина.

— Я не переживу этого! — воскликнула она и, схватившись за сердце, начала обессиленно опускаться на диван. Дыхание ее стало прерывистым, из глаз ручьями потекли слезы.

Степан Александрович нажал кнопку звонка и сказал вошедшей секретарше-машинистке:

— Анастасия Николаевна, займитесь, — и принялся разбирать лежавшие на столе бумаги.

Анастасия Николаевна, проработавшая в театре около сорока лет и привыкшая ко всему, холодно глянула на Самочадину, не спеша подошла к стоявшему в углу круглому столику на тонких выгнутых ножках с колесиками, налила из графина воды и молча протянула актрисе. Та схватила стакан, поднесла ко рту, зубы ее нервно застучали о стекло. «А может, не притворяется?» — встревожился было Заворонский и вопросительно глянул на Анастасию Николаевну, но во взгляде ее, кроме холодной насмешливости, ничего не прочел.

Сделав три-четыре глотка, Самочадина уронила стакан, но Анастасия Николаевна не дала ему упасть, поймала на лету и строго предупредила:

— Не дури!

— Ой, мне так плохо! Вызовите врача! — выкрикнула было Самочадина, откинула голову на спинку дивана и закатила глаза. Однако, глянув мимоходом на Ана-

стасию Николаевну, уже тише попросила: — «Скорую».

— Обойдешься, — сказала Анастасия Николаевна и опять неторопливо направилась в угол к круглому столу. Заворонский заметил, что Самочадина, чуть приподняв правое веко, наблюдает за ней.

— А сценка-то из дешевеньких, — сказал он Анастасии Николаевне. — Вы свободны. Однако дверь не закрывайте, вдруг понадобится.

Это была необходимая мера предосторожности. Года полтора назад Самочадина в аналогичной ситуации шантажировала Марка Давыдовича. Выбежав из его кабинета всклоченной, сообщила, что он приставал к ней, после чего по театру пошли слухи, разбирательством занималось даже партийное бюро. Марк Давыдович больше всего боялся, как бы эти слухи не дошли до его семьи, и упустил из виду министерство. Оттуда явилась комиссия, ее пришлось долго убеждать, ибо соблазнить-ся-то директору было чем.

И сейчас, глядя на раскинувшуюся на диване актрису, Заворонский невольно любовался ею.

«За такие зубы какая-нибудь западная фирма, выпускающая зубную пасту, могла бы озолотить Самочадину на одной рекламе», — подумал Степан Александрович, продолжая разглядывать актрису.

Тонкие крылья ее ноздрей чуть вздрагивают; едва приметные ямочки на слегка впалых щеках придают лицу мягкое, радушное выражение. Жаль, что глаза сейчас закрыты, они у нее огромные, серые и глубокие, с поволокой. И ресницы явно не приклеенные, а свои собственные — длинные и пушистые. «Вот же наградила бог такой потрясающей красотой, а таланта не дал и капельки. Только за счет внешних данных и держится в театре. И почему мы тогда, после истории с Марком Давыдовичем, ее не выгнали? Повод был удобный, и в министерстве не стали бы возражать».

Самочадина вдруг открыла глаза, посмотрела на Степана Александровича с едва скрываемой злостью, встала, подошла к двери и захлопнула ее. Опустившись в вольтеровское кресло, закинула ногу на ногу («Ах, черт возьми, до чего же хороши ее ножки!»), достала из сумочки сигарету, щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась и, выпуская дым, сказала:

— Я знаю, все это интриги! Меня просто хотят выжить из театра.

— Бросьте, никто вас не выживает, — Заворонский

поморщился, предчувствуя, что сейчас на него, как обычно, обрушится ворох сплетен.

И не ошибся. Самочадина поочередно перемывала косточки не только своим соперницам по роли, а и всем, кто когда-либо обошел ее вниманием, пощадив, пожалуй, лишь Глушкова и самого Заворонского.

— Что же вы меня-то щадите? — усмехнулся Степан Александрович. — Давайте уж и обо мне.

— Вы человек объективный, но слепой, не видите, что творится в труппе.

— Ну и что в ней творится?

— Так ведь я вам только что говорила! — притворно удивилась актриса.

— Чушь все это!

— А роман Грибановой с автором?

— Да вам-то какое дело до этого? Они оба свободные, как и вы, холостые люди, это их личное дело, кого любить, а кого нет. Вот вас же никто не заставляет кого-то любить, а кого-то нет.

— Вы думаете, она любит этого увальня? Как бы не так! Она же окручивала этого недотепу для того, чтобы получить главную роль в его пьесе.

— Послушайте, как вам не стыдно! — прервал ее Степан Александрович. — Вы же всех грязью облили. Это же не кто-то, а вы разводите интриги, склоки, распускаете сплетни. Зачем вы это делаете?

— Во имя торжества справедливости! — с пафосом произнесла Самочадина.

— Какого торжества? Какой справедливости? — Заворонский встал и, обойдя стол, остановился перед Самочадиной. — Вы просто любыми правдами и неправдами хотите получить роль, которую вам никогда не сыграть. Нет у вас для этого данных, понимаете — нет!

— Ах, вот как! — вскочила Самочадина и гневно сверкнула взглядом («Как прекрасны ее глаза даже в гневе!»), громко щелкнула замком сумочки. — Ноги мой больше не будет здесь! Я-то, дурочка, со всей душой к вам, думала, поймете, а вы... — Она почти естественно всхлипнула и направилась к двери шатающейся походкой. По мере приближения к двери шаги ее замедлялись, наверное, она рассчитывала, что Степан Александрович окликнет ее, вернет, начнет утешать и в конце концов уступит. Но он молчал, и Самочадина, дойдя до двери, чуть приоткрыла ее, оглянувшись, в глазах ее опять вспыхнула злость. — Я уйду из театра!

Степан Александрович молча пожал плечами: мол, это ваше личное дело.

— И вы пожалеете об этом! — угрожающе сказала Самочадина и так хлопнула дверью, что в люстре еще долго звенели хрустальные подвески.

3

Конечно, Самочадина больше не напоминала о своем намерении уйти из театра, более того, на репетициях была кроткой и безропотной, но уже поползли из-за кулис самые невероятные слухи об интимных отношениях Грибановой и Половникова. И как ни оберегали Антонину Владимировну от этих слухов, они все-таки дошли до нее.

«Какая мерзость!» — брезгливо подумала она и хотела просто отмахнуться от этих нелепых слухов, не придавать им значения, начисто забыть о них. Но совсем забыть их не удавалось, они преследовали ее, и, хотя Антонина Владимировна знала, что все это неправда, ее не покидало такое ощущение, как будто она вышла на улицу раздетой, ей почему-то было стыдно, хотя она великолепно понимала, что стыдиться ей нечего. Недаром, видно, говорится, что грязь если и не пристанет, то хотя бы замарает.

Антонина Владимировна догадывалась, кто мог распустить эти слухи, но не собиралась ни опровергать их, ни выяснять отношения с Генриэттой Самочадиной, надеясь, что скоро все уляжется само собой, вряд ли кто всерьез поверил этим сплетням. Однако в душе оставалось ощущение несправедливости, она чувствовала себя обиженной и незащищенной перед столь наглой ложью. Еще обиднее было за Александра Васильевича, он-то тут и вовсе ни при чем и даже, наверное, не подозревает, что такое вообще может быть. И какую же надо носить в душе подлость, чтобы попытаться скомпрометировать его именно сейчас, когда он находится в таком состоянии!

О его состоянии Антонина Владимировна почти ничего не знала более двух недель, правда, однажды она ездила в больницу, но там еще не сняли карантин. В справочной говорили, что все идет нормально, сам Александр Васильевич в коротеньких записочках Серафиме Поликарповне и Антонине Владимировне сообщал, что чувствует себя великолепно, и просил не волновать-

ся. Они расспросили всех знакомых, когда-либо имевших переломы ног или рук, и хотя не перестали волноваться, но обе несколько успокоились.

Но вот карантин сняли, Серафима Поликарповна побывала в больнице и, поговорив с лечащим врачом, узнала, что пневмония еще не прошла, есть остаточные явления, тем не менее Сашеньке собираются делать операцию, больше откладывать нельзя, иначе можно потерять ногу. И напрасно врач уверял, что операция предстоит несложная и не представляет никакой опасности. Серафима Поликарповна узнала от больных, что за время карантина в отделении умерло трое, причем двое из них — от послеоперационного отека легких. Прямо из больницы она бросилась в писательскую поликлинику, но хирурга там не застала, он на несколько дней уехал в Малеевку в Дом творчества что-то там проверить или просто отдохнуть. Тогда Серафима Поликарповна помчалась в театр.

Неведомо, каким образом она миновала многочисленные кордоны и пробралась за кулисы, но оказалась там именно в тот момент, когда Антонина Владимировна произносила длинный монолог. Услышав ее голос, Серафима Поликарповна рванулась было на сцену, но ее вовремя перехватила Эмилия Давыдовна и с помощью дежурного пожарника втокнула в ближайшую артистическую гримерную. Оставив пожарника сторожить у двери, Эмилия Давыдовна снова убежала за кулисы доводить до конца действие. К счастью, скоро наступил антракт, и Эмилия Давыдовна привела в гримерную Антонину Владимировну.

Из сбивчивого и бестолкового, вперемешку со слезами, рассказа Серафимы Поликарповны Антонина Владимировна успела лишь уяснить, что Половникову грозит смертельная опасность, тут же бросилась к Заворопскому и попросила кем-нибудь заменить ее в последнем акте.

— Кем же я вас заменяю? Да и когда? — Степан Александрович привычно постучал ногтем по стеклу своих электронных часов. — Через шесть минут ваш выход. Идите, идите, голубушка, а мы тут пока что-нибудь предпримем... — он вопросительно глянул на Серафиму Поликарповну.

— Это мать Половникова, Серафима Поликарповна, — наконец-то догадалась представить Грибанова.

— Очень приятно! — Заворопский поклонился, Сера-

фима Поликарповна протянула ему руку, он поцеловал ее, обаятельно улыбнулся и тут же строго напомнил Грибановой: — А вам, милая, пора на сцену. У вас же в этом акте только одна картина, всего семь или восемь реплик...

Антонина Владимировна не помнила, как провела эту картину, что делала и что говорила на сцене, она действовала как во сне, встревоженно поглядывая на партнеров. Но видимо, сказала актерская закалка, да и партнеры, понявшие, в каком она состоянии, делали все, чтобы не дать ей отвлечься от действия, и она довела роль до конца.

Эмилия Давыдовна, стоявшая в кулисе и с тревогой наблюдавшая за нею, показала большой палец и вытолкнула ее в коридор. Наспех переодевшись, не снимая грима, Антонина Владимировна побежала в кабинет Заворонского. Самого Степана Александровича там уже не было, он ушел в ложу к какому-то очередному высокопоставленному представителю, Анастасия Николаевна поила Серафиму Поликарповну валерьянкой.

— Что же нам делать? — растерянно спросила Антонина Владимировна.

— Надо ехать в Институт травматологии, найти самого опытного профессора, а еще лучше — академика, и уговорить, чтобы он сам лично сделал Сашеньке операцию, — тотчас изложила Серафима Поликарповна программу действий, видимо заранее и обстоятельно ею продуманную.

— Господи, до чего же наивные люди! — вздохнула Анастасия Николаевна и, поставив пузырек в аптечный шкафчик, пояснила: — Во-первых, сейчас уже одиннадцатый час ночи, и в институте ни профессоров, ни тем более академиков вы не найдете. Во-вторых, если даже и найдете и уговорите делать операцию, сейчас они ее делать не станут. Им надо получить объективную информацию от лечащего врача, а того тоже нет в больнице. В-третьих, насколько я поняла, ничего катастрофического не происходит и можно подождать до утра.

— Как до утра? — решительно возразила Серафима Поликарповна. — Это невозможно.

— Это и возможно и разумно, — спокойно пояснила Анастасия Николаевна. — Поэтому, Тошенька, берите-ка машину Степана Александровича и отвезите Серафиму Поликарповну домой, а завтра с утра отправляйтесь в Институт травматологии. Дневного спектакля у вас нет,

а на вечернем, если за день не управитесь, вас заменят, я договорюсь, только позвоните до двенадцати.

Серафима Поликарповна, несколько успокоенная каплями и деловитостью Анастасии Николаевны, согласилась было с нею, но, едва вышли на улицу, запротестовала:

— Но ведь надо же что-то делать! Я не могу вот так бездействовать, когда Сашеньке плохо.

Антонина Владимировна согласилась с нею, она была уверена, что не заснет в эту ночь, ей тоже хотелось действовать, что-то предпринимать. Но что?

— Надо ехать в Малеевку. Там наш хирург из писательской поликлиники, он поможет, у него такие связи в медицинских кругах...

Серафима Поликарповна однажды была в Малеевке, помнила, что добираться туда надо электричкой до станции Дорохово, а потом автобусом, но не помнила, с какого вокзала надо ехать — не то с Киевского, не то с Белорусского. Впрочем, сейчас это не имело значения, потому что, насколько она помнила, из Дорохова в Малеевку автобус ходил только утром и вечером, а сейчас уже ночь и придется ехать на такси.

Они остановили первую попавшуюся машину с зеленым огоньком, но водитель не знал дорогу в Малеевку.

— Это между Рузой и Дороховом, — попыталась объяснить Серафима Поликарповна.

— А по какому шоссе ехать?

— Не знаю. Но можно...

— Вот и узнайте сначала, а потом останавливайте! — водитель захлопнул дверцу, и машина рванулась дальше, оставив вонючее облачко дыма.

Второй водитель дорогу знал, но, глянув на часы, указал на укрепленную на лобовом стекле табличку:

— Время у меня уже кончается, а туда менее чем за три часа не слетаешь.

Судя по табличке, работа у него действительно заканчивалась через полчаса.

Третий водитель тоже знал дорогу и времени у него оставалось много, но он заартачился:

— Сейчас ночь, по дороге никого не подхватишь, а мне оттуда порожняком сто километров тащить нет никакого резону, себе же в убыток.

— Если вы нас подождете, мы с вами же и вернемся.

— А сколько ждать?

— Не знаю. Может, полчаса, а может, и час,— Серафима Поликарповна пожала плечами.

— Там, где час, там, считай, и два наберется. Нет, не пойдет, я за это время в Москве больше нащелкаю.— Водитель хотел закрыть дверцу, но Антонина Владимировна придержала ее:

— А если мы вам и обратный путь оплатим?

— Это другой разговор. Если за оба конца, то мы со всем нашим удовольствием. Садитесь!

Миновав Кутузовский проспект и Кунцево на дозволенной скорости, водитель прибавил газ, и машина помчалась быстрее. Похрустывала под колесами дорога, тонко посвистывал в стеклах ветер, желтые лучи фар точно на барабан наматывали туго натянутую ровную ленту дороги, на поворотах выхватывали из темноты стволы деревьев, частокол палисадников, темные стены деревянных домов, иногда скользили по крышам, казавшимся мокрыми. Мысли Антонины Владимировны тоже мелькали, проскакивали одна за другой, не задерживаясь.

Мелькнула мысль о том, кто же завтра заменит ее в спектакле, но тут же исчезла, даже не вызвав беспокойства: на Анастасию Николаевну вполне можно положитьсь. Потом почему-то подумалось, что Олег Пальчиков напрасно сманил Виктора Владимирцева в воскресную телевизионную передачу. Вслед за этим невольно всплыла мысль о том, что появление в театре Серафимы Поликарповны может дать новый толчок сплетням, но Антонина Владимировна сама отогнала и эту мысль.

А потом уже без всякой связи вспомнила, как прошлым летом они с сестрой и деверем вот так же ночью ехали в Суздаль, по дороге машина сломалась, они ночевали в лесу, на вынутых из машины подушках сидений, продрогли, и сестра поссорилась с мужем.

«А вот мы с Геннадием даже не ссорились ни разу, остывали медленно, как вода в реке, и корочку нараставшего в наших отношениях льда я при желании могла бы легко взломать и растопить, но не растопила. Почему? Наверное, не хватало тепла, оно ушло, потому что огонь давно уже угас. Да и был ли огонь-то? Так, что-то тлело и постепенно угасло, остался только горьковатый запах дыма, как от мокрой головешки...»

Занятая своими мыслями, Грибанова как-то совсем забыла о Серафиме Поликарповне и не сразу заметила,

что та плачет, уткнувшись лицом в меховой воротник пальто.

— Не надо,— попросила Антонина Владимировна, дотронувшись до ее руки.

— Да, да, не буду,— виновато согласилась Серафима Поликарповна и, выдернув из рукава носовой платок, начала поспешно утирать слезы.

В Малеевку они приехали уже во втором часу ночи, двери Дома творчества были закрыты, они долго стучали, пока не обнаружили на косяке кнопку звонка. На звонок вышла заспанная старушка, сделав ладонь козырьком, долго приглядывалась к ним через стекло, потом замотала голову пуховым платком и отперла дверь. Потом долго и подробно расспрашивала, зачем они приехали, однако, узнав, прониклась сочувствием и засуетилась:

— Ах ты батюшки, я и не знаю, где хирург-то поселился, он только вчера приехал. Счас погляжу, где-то тут списки были,— и начала рыться в ящиках стола.

— Я вижу, песня эта долгая,— сказал таксист.— Так я, пожалуй, поеду?

— Да, конечно, мы же договорились.— Антонина Владимировна, несмотря на протесты Серафимы Поликарповны, расплатилась с ним, и он, потоптавшись, смущенно сказал:

— Уж извините, но у меня время — деньги. План. Всего вам доброго.

— До свидания. Спасибо.

Вахтерша наконец нашла список, нацепила на нос старые очки в стальной оправе и начала водить пальцем по списку. Палец был темный от навечно въевшейся в поры земли: наверное, летом она работает и в колхозе, и в своем огороде.

— Ага, вот. Слава-те, осподи, тут поселился. А то они еще в катежах живут, а до катежов-то по улице добираться, а ноги у меня совсем не дюжат.

Шаркая отеками ногами, вахтерша ушла в глубь темного коридора, и раньше, чем вернулась она, появился высокий, худой человек в махровом халате.

— Что случилось? — спросил он и, только теперь узнав Серафиму Поликарповну, поздоровался.

Серафима Поликарповна стала объяснять, но опять бестолково и сбивчиво, вперемишку со слезами, и врач попросил Антонину Владимировну:

— Рассказывайте лучше вы, так будет быстрее и понятнее.

Антонина Владимировна постаралась коротко и внятно объяснить суть дела.

— Так, все ясно. Но я не пойму, почему такая паника. Я не вижу никаких оснований ни для паники, ни для такой спешки. И почему вам непременно нужно, чтобы операцию делал профессор или академик? Вы думаете, такую простую операцию он сделает лучше, чем больничный хирург? Ничего подобного! Как раз наоборот. Я вот кандидат наук, а практики у меня меньше. То есть была когда-то, на фронте я сделал тысячи операций, но сейчас любой больничный хирург лучше меня...

— Вы просто не хотите помочь,— сказала Серафима Поликарповна и заплакала.

Хирург пожал плечами, вздохнул и взялся за телефонную трубку. Сначала он позвонил в свою клинику и попросил дежурного врача связаться с Институтом травматологии и узнать, где сейчас профессор Златогоров. Выяснилось, что профессор дома, но дежурному номер его домашнего телефона не хотят сообщать. Тогда хирург позвонил еще троим или четверым и наконец узнал номер домашнего телефона профессора Златогорова. Долго извинялся перед ним, прежде чем в двух словах изложить суть дела. Потом опять долго извинялся и, положив трубку, возмущенно сказал:

— Что же вы мне голову морочите, среди ночи подняли на ноги чуть ли не всю Москву, а оказывается, какой-то Заворонский уже обо всем договорился с профессором Златогоровым. Кто такой Заворонский?

— Это главный режиссер нашего театра,— сообщила Антонина Владимировна.

— Значит, вы актриса? Если Серафиме Поликарповне простительна вся эта свистопляска, то как же вы-то? Ну ладно, Златогоров операцию сделает послезавтра. Впрочем, уже завтра. А пока пойдемте, я вас напою чаем, до утра вам все равно отсюда не на чем уехать.

До Москвы они добрались лишь к полудню и сразу поехали в больницу. Там выяснилось, что операцию Половникову сделали еще утром и без профессора Златогорова. Операция прошла успешно, больной уже находится в своей палате, и его можно даже сейчас навесить.

Александр Васильевич спал.

— После наркоза он теперь до вечера балдеть будет,— сообщил сосед по койке, державший на отлете привязанную к шее руку.— Но если хотите, можно его и разбудить, вреда от этого никакого не будет.

Но они не стали будить, присели возле кровати Александра Васильевича и молча вглядывались в его лицо. Оно было бледным, но спокойным и помолодевшим, наверное, оттого, что почти совсем разгладилось, исчезли морщины возле глаз и расправилась обычно собиравшаяся между бровей складка, похожая на букву «и». Дыхание было глубоким и ровным, рот чуть приоткрыт, на губах застыла едва заметная улыбка. Эта улыбка, видимо, окончательно успокоила и Серафиму Поликарповну.

— Теперь для него самое главное — витамины,— зашептала она.— А мы ничего и не захватили с собой. Тут неподалеку есть рынок, так я схожу.

— А может быть, я?

— Нет, вы не знаете, что он любит. Если проснется, скажите, что я скоро вернусь.

А он проснулся вскоре после того, как ушла Серафима Поликарповна. Просыпался долго и как-то по частям. Сначала вздрогнул всем телом, но тут же утих. Потом сжал губы и слегка скривил их, наверное от боли. Затем дрогнули ресницы, чуть приоткрылись веки, но опять опустились. Он глубоко вздохнул, почмокал пересохшими губами. Антонина Владимировна поняла, что он хочет пить, схватила стоявший на тумбочке фарфоровый чайник и осторожно поднесла ко рту. Александр Васильевич глотнул и тяжело поднял веки. Глаза его были еще мутноватыми, отрешенными, но вот взгляд стал приобретать все более осмысленное выражение, и, поспешно схватив губами рожок чайника, он начал жадно пить. Напившись, устало опустил веки, полежал расслабленно минуты полторы-две и вдруг встрепенулся и широко открыл глаза. Теперь взгляд был вполне осмысленным и выражал крайнее удивление.

— Вы? — шепотом спросил он и протянул руку.

Антонина Владимировна осторожно взяла ее в обе ладони и погладила.

— А я думал, это все еще сон. Знаете, я...

— Знаю, но вы молчите. Вам нельзя много разговаривать.

— Почему?

— Вам же сделали операцию.

— Да, да, я помню. Как везли, как перекладывали на операционный стол, как делали укол. А вот что было потом, не помню.

— Вам сделали операцию, и у вас все хорошо. Серафима Поликарповна тоже со мной, она пошла на рынок и скоро вернется. Пьесу вашу приняли, уже распределили роли, я буду играть Валентину Петровну.

— Это хорошо. Честно говоря, когда я писал, то имел в виду именно вас.

— Спасибо. Но вы все-таки помолчите, лучше я буду вам рассказывать.

И она стала рассказывать о том, как принимали пьесу, кто и что говорил, как прошли первые собеседования. Александр Васильевич сначала слушал внимательно, потом все более рассеянно и вскоре опять уснул.

Она смотрела на него и физически ощущала, как вся наполняется такой нежностью, какой еще никогда не испытывала. Она была хорошей актрисой, умела глубоко вживаться в образ, на сцене иногда доводила себя чуть ли не до обморочного состояния, но в жизни, по существу, не испытывала ни больших душевных потрясений, ни любви. И состояния, до которых она доводила себя в игре, начинали казаться естественными, она почти уверовала, что именно такой силы чувства овладевают людьми в жизни. И только сейчас впервые поняла, что они были лишь бледным отражением настоящих чувств, неизведанная сила которых наполняла ее сейчас. И вместе с нежностью в ней поднимались неиспытанная радость и ликование. Она поняла, что любит, и ей сейчас было почти безразлично, любят ли ее.

Почему-то раньше она думала, что любовь всегда обрушивается внезапно. Как это поется в песне: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Но Антонина Владимировна ждала любви, ждала всю жизнь и, может быть, уже начала терять надежду, что она когда-либо придет. У нее была уйма поклонников, многие из них настойчиво добивались ее расположения, с некоторыми из них сложились добрые, почти дружеские отношения, но Антонина Владимировна никого не подпускала близко к сердцу, держала на том расстоянии, которое, оставаясь достаточно близким, не обнадеживает и ни к чему не обязывает. Кого-то ее «недотрогость» обижала, и он разочарованно сходил с дистанции, и это было к лучшему. Зато остались лишь те, кто видел в ней не про-

сто женщину, а прежде всего человека, тем дороже было их уважение.

Появление в театре Половникова никак не задело Антонину Владимировну, тем более что он не искал ее расположения. Мимолетные деловые встречи, случайные разговоры, отношения к нему других людей лишь подтверждали сложившееся у нее мнение о нем как о человеке умном и порядочном. Правда, уже тогда ее почему-то умиляли его неуклюжесть, какая-то почти детская застенчивость и открытость, за которыми угадывалась незащищенность. Она особенно отчетливо обнаружилась при обсуждении первого варианта пьесы, когда Александр Васильевич был растерянным, у него было такое виноватое выражение лица, как будто, написав эту пьесу, он совершил что-то непристойное.

А потом в большой артистической гримерной, когда они что-то шили, она поймала его пристальный взгляд и впервые подумала о нем как о мужчине. После, на репетициях, когда он сидел где-нибудь в дальнем углу пустого зрительного зала, она несколько раз ловила себя на том, что хочет ему понравиться, но не придавала этому ровно никакого значения, объяснив свое состояние естественным желанием произвести на него впечатление просто как на зрителя, пусть даже единственного в зале.

Случайная встреча у Владимирцевых приоткрыла какие-то новые его черты. Его азарт и вполне искреннее сожаление о проигранных семидесяти девяти копейках были не просто забавными, они свидетельствовали не только об увлеченности, а и о непосредственности его натуры. Потом стихи, в искренность которых она поверила: они ей не просто польстили, но и заставили задуматься о собственном отношении к нему.

И конечно, эти ее чисто бабьи размышления по дороге в театр, когда он весело дурачил водителя такси. Антонина Владимировна почему-то и сейчас стыдилась своих тогдашних мыслей, правда, они не казались ей пошлыми или расчетливыми, но какими-то уж слишком приземленными. К тому же она поймала себя на том, что начала ревновать его к прошлому, к той женщине, о которой она тогда ничего, собственно, и не знала, а лишь узнала, что она была.

А почему, прочитав ту злополучную рецензию, она тотчас позвонила именно ему? Не Заворонскому, не Глушкову, не Олегу Пальчикову, которые отнеслись бы к ней не только участливо, а и с большим профессио-

нальным пониманием причиненной ей обиды, а позвонила Половникову? Наверное, потому, что она уже тогда была почти уверена, что Александр Васильевич примет так близко к сердцу ее обиду, ощутит ее боль, как свою собственную. И то, что он тогда немедленно примчался к ней, еще раз убеждало в его искренности.

Да, она открывала его для себя постепенно, и любовь не обрушилась на нее внезапно, она как бы снизошла к ней. Случившаяся с Александром Васильевичем беда помогла понять это, обострив все исподволь копившиеся в ней чувства. И сейчас перед ней лежал человек, ставший настолько дорогим и близким, что ей не просто казалось, будто она знала его всю жизнь, у нее было ощущение, что она всю жизнь безраздельно принадлежала ему и только ему. И хотя у них еще не было физической близости, сейчас она ощущала его каждой клеткой своего тела, каждой порой, все в ней набухало от переполнявшей ее нежности, как набухает водой грозовая туча, казалось, вот-вот разразится ливень, и было томительно и сладко от этого предчувствия.

Она склонилась к нему, осторожно коснулась своими губами его губ, ощутила его теплое дыхание и заплакала.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Несмотря на то что комната Грибановой им досталась бесплатно, Владимирцевы по-прежнему не могли свести концы с концами. Марина даже не понимала, куда уходят деньги. Их общий с Виктором заработок был лишь чуть меньшим, чем в Верхнеозерске, но в Москве его едва хватало на полмесяца. Сначала Марина отнесла это за счет собственной бесхозяйственности, стала экономить на всем, но в семейный бюджет тем не менее никак не могла уложиться. Тогда она завела книгу расходов (приходы не нуждались в таком строгом учете, ибо они составляли всего две графы: аванс и получка), учитывала все до копейки и поняла наконец, почему они не укладываются. В Москве цены на продукты были даже ниже, чем в Верхнеозерске, но статей расхода было намного больше: хотя сами по себе они не составляли больших сумм, но в совокупности наносили ощутимый

ущерб их семейному бюджету. Даже поездка в метро при всей его дешевизне им двоим обходилась более шести рублей в месяц.

Но вскоре Марина убедилась, что Москва пожирает деньги не за счет крайне необходимых расходов, а за счет обилия соблазнов, тоже вроде бы мелких в отдельности, но внушительных в общей сумме.

Когда Марина, проанализировав все свои математические выкладки, ознакомила Виктора только с итогами, он даже удивился, как это ей удавалось изворачиваться.

— Ты у меня прямо-таки Софья Ковалевская, — с гордостью сказал он. — И как ты до сих пор умудрялась выкручиваться?

— Пыталась. Но не вывернулась. Придется опять заниматься. У кого?

Их постоянным кредитором был дед Кузьма. Он давал ссуду как-то легко и при этом как бы даже оправдывался:

— Старикам немного надо, а у молодых потребности обгоняют возможности. — И впадал в привычное философическое русло: — Я бы окромя производительности уже теперича, не дожидаясь полного наступления коммунизма, принимал во внимание и возраст. Мне бы в молодости такую зарплату, как нынешняя моя пенсия!

— И что было бы? — с неподдельным любопытством спрашивал Владимирцев.

Кузьма долго высчитывал, потому что со времени его молодости была не одна денежная реформа, понижение и повышение цен, изменение ставок, надбавок за выслугу лет, прогрессивок и всякого такого, что могло запутать даже очень образованного человека. Эти мысленные подсчеты, сравнения и сопоставления почему-то каждый раз приводили Кузьму к одному выводу:

— Нельзя одним аршином мерить кобылу и лилипута.

Почему именно кобылу и лилипута, Владимирцев так и не смог понять.

Деньги Кузьма отсчитывал с большой аккуратностью и уважительностью, на пальцы не плевал, а слюнявил их так, будто слизывал мед или варенье.

— Восемнадцать, девятнадцать, а двадцатый положим поперек, чтобы при пересчете не сбиться, — и клал донельзя замусоленный рубль поперек пачки, сгибал его с обоих концов, чтобы им отделить следующую кучку.

А Виктору было как-то стыдно, он знал, что этот

рубль трудовой, и старался подсчитать, сколько же баранок, кренделей, сушек, французских булочек, батончиков испек Кузьма, чтобы заработать этот рубль. Кузьма каждый раз замечал его смущение и ободрял:

— А ты не стыдись, не на выпивку берешь, а для семьи. А жисть, она по-всякому складывается. Не успеешь отдать, дак хоть похоронишь с благодарностью, горсть земли бросишь, и ладно,— не выпрашивая эту горсть, а как бы фиксируя ее как нечто само собой разумеющееся, пояснял Кузьма.

И занимать у него было легко и неунизительно, но возвращать долг было гораздо тяжелее.

— Мне-то не к спеху,— каждый раз отмахивался Кузьма.— С голоду не умираю.

— Так ведь и мы не умираем.

— Оно так! — радостно подтверждал Кузьма и, пытаясь оттянуть неприятную для него процедуру, спрашивал: — А сами-то обойдетесь?

— Обойдемся.

— Ну, глядите,— с сомнением говорил Кузьма и только после этого принимал деньги, опять уважительно, почти благоговейно. Но никогда не пересчитывал. И Виктор не сразу понял, почему, отдавая, Кузьма считал, а принимая, вроде бы стеснялся. В первом случае он боялся ошибиться, а во втором боялся обидеть. Как все просто и как мудро!

Однако надо было как-то выкручиваться, и, когда Олег Пальчиков предложил Виктору подрабатывать в воскресной телевизионной программе, Виктор согласился без раздумий. И не из одних только материальных соображений. В Верхнеозерске телестудии еще не было, но и там уже достойно оценили хотя бы чисто рекламные возможности телевидения — то паблисити, в котором остро нуждается не только актер, а и театр. Возможности театра и телевидения в смысле этого паблисити были просто несопоставимы. Шесть-семь десятков тысяч зрителей за сезон в периферийном театре и десятки миллионов всего за один вечер на телевидении!

И еще было просто профессиональное любопытство: а смогу ли? На крупном плане, который знает только кино и телевидение, но которого не видит театральный зритель, даже сидящий в первых рядах партера? Может быть, и тут кроются потенциальные возможности актера? Как бы там ни было, а испытать себя всегда интересно.

Вначале это и в самом деле было интересно. Хотя бы необычностью обстоятельств, в которые поставлен актер на телевидении. Прямо в лицо тебе почти упирается четырехугольный раструб камеры, за которым маячит оператор в наушниках, похожий на летчика. Он тебя не слышит, потому что в эти наушники — шлемофон — он слушает режиссера, сидящего на самой верхотуре за стеклянными перегородками перед экранами, на которые передается изображение со всех камер. Слышно, как в наушниках нервничает режиссер: «Третья! Женя, возьми его ниже пояса и держи, он так отбивает чарльстон! Почему у тебя дрожит камера? Ну да, танцуют. Дай фас сидящего слева! Да не этого, еще левее! Крупно, наезжай! Эй, уберите журавль, он влезает в кадр!»

Зазевавшийся звукооператор откатывает влезший в кадр хобот журавля и отходит к журнальному столику, за которым играют в шахматы осветители, что-то подсказывает одному из них, но тут же возвращается к хоботу по мановению указательного пальца ведущего оператора. А в наушниках у стоящего за левой камерой оператора каскад самых изящных выражений:

— Балда, кретин, ты что, мух ловишь? — И тут же без какой-либо смены интонации: — Женечка, миленький, возьми его чуть-чуть правее, разве ты не видишь, что мешает ухо соседа?

Актеры все это слышат, но не понимают, чье ухо мешает. Каждый, как сова в гнезде, начинает вертеть головой, но не сразу разбирается, какая из пяти камер работает сейчас на запись. Господи, если бы только на запись, то можно было бы остановиться, что-то подрепетировать и записаться вновь. Но ведь иногда прямо в эфир! А там сто с лишним миллионов зрителей. Кто-то из них самозабвенно впился в голубой или цветной экран, а кто-то пьет чай, ест тещины блины или поглаживает по коленке знакомую, а то и сослуживицу, заманенную в холостяцкую квартиру именно на цветной телевизор и коньячок.

«Коля, наезжай! — доносится из наушников, и начинают наезжать сразу три камеры. По красному неоновому глазку ты угадываешь, что на тебя работает только средняя камера, не успеваешь на ней сосредоточиться, как огонек на ней уже погас, а зажегся на левой камере, едва повернешься к ней, как режиссер уже включает правую, потому что ему понравился твой затылок, точнее — стрижка.

А по роли в этот момент у тебя должны быть слезы, ты их уже выдавил, но на затылке слез не бывает, и ты опять вертишь головой, как сова в гнезде, чтобы показать эти слезы, но камеры уже работают не на тебя, а берут твоего искушенного партнера, только что игравшего с осветителем в шахматы.

Вот эта-то искушенность неслыханно поразила, а еще более огорчила Виктора Владимирцева. В ней было что-то механическое, заранее предусмотренное, привычно отработанное, что он хотя и не так часто, но наблюдал и в театре и что его глубоко возмущало, чему он сознательно и убежденно противостоял. Ибо именно на этой грани кончалось искусство и начинался ширпотреб лишь ради забавы, развлечения зрителя, сидящего босиком в уютном вольтеровском кресле, ставшем опять модным.

— Ты не прав,— говорил Олег Пальчиков.— Человеку ведь нужно и развлечься, просто посмеяться бездумно, отвлечься от повседневных служебных, домашних и прочих житейских забот. Передача-то у нас воскресная.

— Плоская, шаблонная. Вон и осветителей она совсем не трогает, играют себе в шахматы.

— Так ведь они уже ко всему привыкли, а мы работаем на массового зрителя.

— Я не понимаю этого выражения: «массовый зритель». Что это такое? Зритель бывает разный, не могут все одинаково воспринимать то, что мы играем. Так на кого же рассчитана наша передача? На «среднего» зрителя? Но я убежден, что такого зрителя в природе не существует.

— Ну, скажем так: на среднее восприятие или на восприятие большинства,— объяснял Олег.

— Я этого тоже не понимаю. В театре у меня тоже разный зритель, но я вижу, кто как реагирует на спектакль, я ощущаю реакцию зрительного зала и ориентируюсь именно на того зрителя, который мне дорог, для которого я, собственно, играю. А тут я не вижу никого, кроме операторов и осветителей. Я не знаю, что в это время делает тот, кто смотрит телевизор: хлебает щи, пьет чай или дремлет. Я разобщен с ним.

Вот эта разобщенность со зрителем, отъединенность от него, невозможность видеть результаты своего труда составляли, пожалуй, главную трудность работы артиста на телевидении. И Владимирцев с горечью видел, что многие актеры вовсе и не собираются преодолевать эту трудность, а гонят давно наработанные штампы, они

становятся массовыми, поточными. И тут не просто разрушается уникальная, кустарная природа актерского искусства, а происходит размывание критериев, а следовательно, самоуничтожение искусства.

— Очевидно, телевидение, если его рассматривать как не просто зрелище, а как искусство, подчиняется каким-то иным законам,— говорил Виктор Олегу.— И эти законы надо знать.

— Не мудри, старина, не усложняй себе жизнь! — успокаивал Олег.— У тебя получается не хуже, чем у других. Ты посмотри, даже корифеи и те не очень-то выкладываются. Халтурка, она и есть халтурка.

— Но ведь это не какой-нибудь сельский клуб, это же телевидение, миллионы зрителей!

— Зато, если кому-то не понравится, он спокойно переключит на другую программу, там фигурное катание показывают. Правда, тоже шестой раз в году. Но есть еще четвертая программа, там хоккей... И потом: чего ты еще хочешь, если мы все тут собраны с миру по нитке, на съемки прибегаем, взмыленные, со всех концов Москвы, партнеров видим чуть ли не в первый раз, репетируем кое-как, если вообще репетируем. Следует удивляться, что у нас еще хоть так получается, а ты тут с высокими критериями.

— Но вряд ли кто из актеров позволит себе так играть в театре.

— Сравнил! Театр — другое дело, там наш дом, наша работа, а тут отхожий промысел.

К сожалению, многие актеры к работе на телевидении относились как к «левому» концерту и даже корифеи не очень-то дорожили своей репутацией.

— Зато популярность! — все еще пытался переубедить Виктора Пальчиков.

Вот уж что верно, то верно, Владимирцев уже начал на себе ощущать последствия этой популярности. На него стали оглядываться на улице. Пассажиры в троллейбусе и в метро бесцеремонно разглядывали его и перешептывались, а иногда подходили и завязывали разговор. Однажды подсел изрядно подвыпивший гражданин и похвалил:

— А ты молоток, здорово ему врезал!

— Кому?

— Ну, тому, который в шляпе. Он еще в «Семнадцати мгновениях весны» гестаповца играл. И вот девчонку ты зря обидел, она тебя любит,— и гражданин начал пе-

рассказывать содержание прошлой воскресной телепередачи.

Виктору пришлось сойти на две остановки раньше, чтобы отвязаться от него. А все-таки почему-то было приятно оттого, что оглядываются на него, перешептываются, и даже этот гражданин теперь казался уже не таким несимпатичным.

Когда Виктор рассказал об этом эпизоде Федору Севастьяновичу Глушкову, тот заметил:

— Слава приятна, что и говорить. Но если раньше наш брат актер годами добивался признания своим неимоверно тяжким трудом, то теперь многие буквально с корнями вырывают популярность у зрителя за счет частого мелькания на кино- и телеэкранах. А то и еще хуже: сами пробивают броские афиши со своим именем и фотографией, цветные открытки для газетных киосков, аршинные портреты для фойе кинотеатров.

— Но ведь вывешиваются и портреты актеров, которые и не пробивают сами, а просто заслужили,— возразил было Владимирцев.— Не надо обобщать.

— А я и не обобщаю. Но хочу, чтобы ты уяснил одну истину. Популярность — растение многолетнее. Посеяв его однажды, можно многие годы снимать урожай. Но не бесконечно, ибо почва, на которой произросла эта популярность, постепенно истощается, сколько ее ни удобряй новой киноролей. Рано или поздно ее придется перепахивать, а еще неизвестно, хватит ли на это сил и таланта. Репутацию иногда завоевать легче, чем поддерживать ее.

«Но у меня-то и репутации еще нет, а создавать плохую не стоит»,— решил Владимирцев, справедливо расценив весь этот разговор с Федором Севастьяновичем как предостережение. Отснявшись еще в двух программах, он от дальнейшего участия в воскресной телепередаче отказался. К тому же начались репетиции пьесы Половникова, и времени на побочные дела совсем не оставалось, тем более что Заворонский помимо ежедневных репетиций ввел обязательные уроки дикции и пластики.

Именно в это время Глушков неожиданно предложил:

— А не заняться ли тебе, Витя, художественным чтением?

— С эстрады?

— Да.

— Но это же несерьезно, Федор Севастьянович. И потом — когда?

— Ну, при желании время найти можно. Телевидение-то ты бросил. А вот насчет серьезности или несерьезности эстрады ты с выводами не спеши. А попробуй сначала. Того же Половникова и почитай.— Глушков сунул Виктору книжку.— Есть тут один прелюбопытный рассказец. «Родня» называется.

Рассказ и в самом деле был хорош, к тому же в нем было всего три действующих лица, речь их была глубоко индивидуализирована, легко было подчинить ее созданию интересных характеров.

А как раз приближались майские праздники, и, видимо, не без участия Глушкова Виктора включили в несколько сборных концертов.

Зрители принимали Владимирцева хорошо, но этот успех он приписывал не столько себе, сколько Половникову. Чем больше читал Виктор его рассказ, тем отчетливее понимал его глубинный смысл, ритмическую отточенность каждой фразы, живописность слова. Но Виктор не только постигал Половникова, а и почувствовал себя более созревшим для исполнения главной роли в его пьесе, хотя как драматург Александр Васильевич был куда слабее, чем прозаик; роль настолько не прописана, что трудно было найти даже ее внешний рисунок.

2

Как ни оберегал Степан Александрович свою труппу от влияния дурной моды, она все-таки проникала в театр и особенно вредно действовала на молодежь. Это влияние отчетливо обнаружилось при подготовке пьесы Половникова, в которой были заняты в основном молодые актеры, не прошедшие школы классики. А Заворонский был твердо убежден, что становление актера должно начинаться с изучения и освоения классических образцов.

Хотя все занятые в пьесе актеры имели театральное образование, некоторым из них просто недоставало речевой культуры, у них отсутствовала внятная и четкая техника речи, утвердилась какая-то монотонная манера говорить, без всякой эмоциональной окраски, а строго продуманная и отработанная пластика подменялась кривляниями и ужимками. Возможно, такая манера исполнения в чем-то и совпадала с постановочными трюками так называемого «сценографического» театра, но серьезному спектаклю была явно противопоказана.

Но пластике и постановке голоса научить не так уж трудно. А как привить способность к импровизации, научить актера фантазировать так, чтобы его фантазия будоражила не только зрителя, а и самого актера?

И после чтот и бесед, после обстоятельного и всестороннего обсуждения каждого персонажа и его значения в пьесе Заворонский вдруг предложил актерам самим выстроить для себя всю цепочку физических действий в каждом эпизоде и даже позволил внести изменения в текст, придерживаясь, однако, идеи и общего замысла пьесы, не уходя далеко от фабулы.

К немалому удивлению Степана Александровича, против такого задания выступил Глушков.

— Они же загубят пьесу! — горячился Федор Севастьянович. — Это же называется «пусти козла в огород»! Они же весь текст перекорежат, каждый потянет на себя, оборвут все связующие нити, и ты сам запутаешься в этой паутине. А от автора вообще оставят только рожки да ножки.

— Одну ножку, — попытался сострить Заворонский, — другую он сам поломал.

Глушков удивленно посмотрел на него и укоризненно покачал головой:

— Нашел над чем шутить...

— Извините, Федор Севастьянович, шутка и впрямь неуместная. Однако за пьесу я не боюсь, она теперь почти устоялась, и маленькое актерское «своеволие» и ей и актерам будет только на пользу.

— Не слишком ли ты потакаешь?

— Помилуйте, за мной же прочно утвердилась репутация деспота! И я хочу лишь подтвердить ее.

— Таким образом?

— Представьте. Давая каждому возможность свободно толковать пьесу в меру своего понимания искусства и вкуса, я тем не менее не сомневаюсь, что за редкими исключениями все в общем-то придут к единому результату, а исключения пойдут лишь на пользу и автору, и пьесе, и спектаклю.

— Ну-ну, дай-то бог. Хотя я в этом сильно сомневаюсь, ибо, как известно, о вкусах не спорят.

— Согласен, вкусы могут быть разными, но сейчас важна не разность вкусов, а единство художественной задачи. А разность... Она лишь поможет взглянуть на пьесу и оценить ее не одним нашим мнением о ней. Вы же актер, и ваше мнение не всегда совпадало с офици-

альной оценкой. Возможно, в этом несовпадении лучше всего проявлялось ваше художественное кредо, которое и позволило вам сохранить независимость.

— Тем не менее и ты мною помыкаешь.

— И буду помыкать, потому что при всем к вам уважении, да что уж там, поклонении вашему таланту, как режиссер, я вижу еще что-то, о чем вы, как актер, даже не подозреваете.

— Интересно что? — спросил Глушков без всякой иронии.

— Не знаю. Но чувствую, что вы очень большой актер, а я, быть может, да нет же, наверняка меньше вас как актер, но во мне кроме актера есть еще что-то, чего у вас нет. Извините, Федор Севастьянович, но это так.

— А что?.. Возможно.— Глушков пристально посмотрел на Заворонского и повторил: — Возможно... Да нет же! Так оно и есть. А вот почему? Только не объясняй, пожалуйста, твоим севшим голосом. Мне всегда казалось, что ты ищешь в нем если не оправдание, то хотя бы причину.

— Причину чего?

— Ну, как тебе сказать... Да что уж нам юлить друг перед другом! Причину твоей измены, нет, пожалуй, не измены, а бегства. От себя, от своего актерского призвания. Я ведь помню, как ты играл!

— На пределе своих возможностей.

— Но хорошо же?

— И только.— Степан Александрович поколебался и наконец впервые признался Глушкову: — Видите ли, Федор Севастьянович, может быть, я слишком честолюбив, но высоты меня не устраивали, я хотел только вершин. Вы знаете, что я упрям и настойчив, со временем я мог докарабкаться и до вершин. Но карабкаться я не хотел, ибо я признаю лишь взлеты.

— Тоже мне орел! — иронически воскликнул Федор Севастьянович, но тут же примолк, а потом раздумчиво, будто даже не очень и охотно признал: — И то!

И вот то, что он употребил любимое выражение театральной вахтерши Фенечки, убедило Степана Александровича больше, чем изысканные эпистолярные штампы, вроде: «Засим уверяю Вас в моем искреннем и неизменном уважении...»

«Деспотизм» Степана Александровича Заворонского был хорошо известен не только в его театре, а и далеко

за его пределами. В сочетании с его «консерватизмом», по мнению многих, он сливался в нечто чуть ли не противоестественное эпохе, еще не получившее однозначной оценки и точного наименования, но заведомо неприемлемое, чуть ли не противостоящее развитию всего театрального искусства, во всяком случае прогрессивного.

Сопротивление этого прогрессивного можно было объяснить лишь тем, что молодежи непременно хотелось крушить каноны системы Станиславского, пересмотреть ее. Скажем, путь от себя к образу для Станиславского был лишь подготовительной стадией работы актера. Теперь он все чаще вытеснял все остальные этапы, становился лишь приспособлением роли к себе. Актеры перестали создавать разнообразные характеры, а лишь играли самих себя, им стало удобнее и проще чувствовать себя на сцене, но зритель от этого переставал ощущать трепет.

Заворонский решительно боролся с таким облегченным отношением актеров к своему труду, а стало быть, и к искусству. И в своей труппе ему удалось сохранить благоговейное отношение к театру, самоотдачу, способность вызывать у зрителя потрясение.

Как ни странно, самоотдачу его актеров лучше всего оценил один зарубежный театральный критик. Как-то после спектакля он спросил Заворонского:

— Скажите, сколько лет в среднем живет русский артист?

— А почему это вас интересует?

— Видите ли, я объездил почти весь мир, видел много хороших актеров, но никогда не наблюдал такого самосжигания, которое демонстрируют русские актеры. Они должны рано умирать.

— Актер должен умирать в каждой роли, достойной этого. Именно это делает бессмертным искусство, — ответил тогда Степан Александрович вполне убежденно, однако собеседник расценил ответ всего лишь как удачный каламбур.

«Деспотизм» Заворонского распространялся на все, в том числе он жестко требовал бережно относиться к авторскому тексту, к идее и замыслу пьесы. А тут вдруг разрешил так вольно обращаться с пьесой Половникова. И актеры, доселе угнетенные режиссерским произволом, вдруг растерялись, осознав, что столь желаемая ими независимость от режиссерского своеволия обнаружила их

несостоятельность в решении общей художественной идеи спектакля.

При этом столь необычное задание удивило и маститых и молодых актеров, маститым оно даже показалось обидным, ибо ставило их в положение учеников, выполняющих какие-то обязательные, предусмотренные программой экзерсисы. В то же время они чувствовали, что, ставя перед ними почти не ограниченную рамками такую программу, сам Заворонский рискует неизмеримо больше, но риск этот может быть оправдан только одним: доверием. И это, быть может, впервые по-настоящему оказанное им доверие было и радостным, и, как никогда ранее, обязывающим.

Даже Генриэтта Самочадина и та задумалась, как ей вписаться в небольшие эпизоды, которые ей предстояло разыграть в двух первых картинах. Потом она просто исчезала. И если раньше она думала, что исчезает лишь по воле автора, то теперь уяснила, что исчезает не случайно, а так и надо, потому что дальше она, вернее — ее героиня, просто не нужна, она уже обнажена настолько, что зрителю становится неинтересной и ненужной, как тот обкатанный морем голыш, который так хорошо смотрится в воде и так скоро блекнет в жаркой ладони, теряя окраску и превращаясь в обыкновенный бесцветный булыжник, которым раньше мостили проезжую часть дорог.

И она поняла вдруг то, чего не понимала с самого начала своей актерской карьеры. Ее внешние данные были не только безупречны, а и привлекательны, собственно, они и открыли ей двери в студию, но она употребила их всего лишь раз и больше не пользовалась ими вплоть до окончания студии и поступления в театр. Будучи принятой в труппу, она долго ими не пользовалась, пока не поняла, что иного способа удержаться в труппе академического столичного театра у нее нет.

Вот тогда-то и началось ее падение, которое она сначала наблюдала как бы со стороны и оправдывала обстоятельствами, а потом уже и не замечала его, а еще позже обиделась на всех и вся. Но потом стала терпимей и дипломатичней, начала льстить тем, кто решал ее актерскую судьбу, жгуче ненавидя их вовсе и не за то, что они решали ее судьбу, а уже понимая, что решали-то они справедливо.

И это поздно пришедшее к ней понимание еще больше озлобило ее, хотя бы потому, что начинать все сна-

чала было уже поздно. Можно было только уцепиться за достигнутое, и она пыталась удержаться на том уровне, который ей был доступен.

Спектакль, который она разыграла в кабинете Заворонского в присутствии все видящей и все понимающей Анастасии Николаевны, был для нее настолько унижительным и противным, что даже она, искушенная, много лет специализировавшаяся в такого рода штучках, взбесилась и проревела всю ночь. Но под утро, все взвесив и оценив, уже презирала себя не только за эту сцену, а и за все свое прошлое, за многолетнюю спекуляцию на своей красоте, за свое двоедушие.

Оно произошло в ней как-то незаметно, возможно, все началось с того, что учитель физкультуры вывел её годовую пятерку только за то, что она иногда приходила в школьный спортзал. А потом все так и покатилося само собой, и в театральное училище, и в театр она прошла без всяких усилий со своей стороны, и только Заворонский раскусил ее, но оставил в театре, не давая ей значительных ролей, еще надеясь, что она утвердится и на проходных.

Но проходных она уже не хотела. Ибо почти все ее сокурсницы давно шли на значительных, а то и на главных ролях, четверо стали заслуженными, а одна даже народной артисткой республики. А ведь такая страхолюдина! «Конечно, что-то в ней есть от бога. Но неужели во мне нет ничего, кроме ножек и глаз!» — думала Генриэтта.

И вот теперь ей предоставляли возможность самой сделать для себя роль, может быть, и не проходную. И Генриэтта с несвойственным ей воодушевлением принялась за дело. Но, прочитав текст несколько раз, почти выучив его наизусть, ничего в нем изменить не смогла, лишь переставила местами две фразы. Тогда она решила вставить свою героиню в две последующие картины, начала дописывать текст, но ничего путного не придумала, на ум приходили лишь отрывки из ранее сыгранных ролей, но они явно не годились для этой пьесы.

Поняв всю бесплодность собственных усилий, Самочадина решила обратиться за помощью к довольно известному драматургу, с которым у нее несколько лет назад был мимолетный роман.

Драматург назначил ей свидание у себя на даче в Переделкине, устроил ей чуть ли не королевский прием, но утром, прочитав пьесу, поставил на прежние места

обе фразы и сказал, что эту роль дописывать нельзя, лучше уж он напишет свою пьесу, а в ней главную роль специально для милой Гретхен, как он ее называл. Она обругала его едва ли не самыми последними словами, отказалась от его машины и добиралась в Москву электричкой, опоздав на репетицию.

К ее радости, никто из актеров, занятых в пьесе Половникова, еще не представил своего варианта роли. Все жаловались, что ничего не получается, были недовольны заданием Степана Александровича, и только Глушков посмеивался. Но ему что, у него в этой пьесе роли не было.

3

Пекаря на Плющихе с гордостью сообщали своим знакомым:

— А Тоша у нас работает актрисой!

Почему-то Антонину Владимировну обижало вот это слово «работает», хотя она понимала, что пекаря производят его с большим уважением, что репетиции, поиски деталей, жеста, отделка каждого момента, вся подготовка спектакля и есть ее работа. Но ведь иногда один и тот же спектакль идет с разным успехом, и он зависит не только от того, что зритель принимает, а что нет, а в основном от самой пьесы и от актеров. В сложившемся, уже проверенном актерском ансамбле вдруг неизвестно от чего что-то разлаживается, появляются фальшивые ноты, но иногда и этих нот нет, все идет вроде бы правильно, а что-то меняется в настроении актеров, спектакль начинает идти в какой-то иной тональности, и многое начинает смазываться, блекнуть.

Видимо, тут решающую роль играет настроенность каждого актера, способность при любых обстоятельствах держать себя в форме и не расслабляться, отрешиться от всех посторонних дум и забот. И Антонина Владимировна каждую свою роль в каждом спектакле старалась держать на том высшем пределе, при котором был достигнут наибольший успех. Играть ниже, просто отрабатывать, отбывать на сцене она не хотела, да и не умела. И каждый раз выматывалась настолько, что едва добиралась до дому. Но ощущение праздника сохранялось в душе, как бы она ни уставала.

А утром начиналась опять работа. Для нее это всегда был поиск, чем бы она не занималась. И счастливо приходивший жест, найденный точный музыкальный ритм, ин-

тонация были, как правило, всего лишь первотолчком. Потом все это много раз, почти непрерывно уточнялось и шлифовалось. Тут шла работа, подобная работе скульптора, отсекающего от каменной глыбы все лишнее, как бы высвобождающего из камня ставший любимым образ.

Во время репетиций Антонина Владимировна всегда пристально наблюдала за эпизодами, в которых сама не была занята. Но когда наступало время включиться в действие ее персонажу, она неизменно оказывалась готова и находила точное решение, мгновенно реагировала на то или иное событие по ходу развития сюжета и художественной идеи спектакля. И режиссеру не приходилось тратить время на то, чтобы подводить ее к происходящему во всех деталях и подробностях, Антонина Владимировна сама вписывала свою героиню в суть происходящего. Вот эту способность Заворонский особенно ценил и не раз ставил ее в пример актерам, которые работали с ленцой.

Роль Валентины Петровны в пьесе Половникова была сложной, неоднозначной, и Антонина Владимировна ясно сознавала, что исполнение ее потребует каких-то иных красок, чем все ее прежние роли, иной манеры игры. Строго говоря, это была не совсем ее роль, она привыкла играть на бурной эмоции, с широким жестом, а тут требовалось что-то иное. Но что? Вот этого она никак не могла схватить и потому даже обрадовалась, когда Заворонский разрешил вносить изменения в текст. Она полагала, что небольшие поправки помогли бы ей и в этой роли сохранить собственную манеру исполнения, начала было вносить эти поправки, но вскоре убедилась, что этим лишь разрушает задуманный автором образ. А она никак не могла войти в этот образ, в состояние героини, ибо что-то в ней оставалось еще непонятным для Антонины Владимировны. Когда она сказала об этом Заворонскому, тот неожиданно предложил:

— А не поехать ли и вам с нами на флот?

Он вместе с художником выезжал в одну из отдаленных военно-морских баз, брал с собой и Виктора Владимирцева, исполнителя главной роли — командира атомной подводной лодки капитана второго ранга Гвоздева.

— Думаю, что мне это было бы только полезно, — согласилась Антонина Владимировна. — Тем более что я не только сама никогда не была женой моряка, а даже и не представляю, что это значит.

— Жаль, что Половников не может поехать с нами,— сказал Степан Александрович и так посмотрел на Антонину Владимировну, что она смутилась и покраснела.

«Неужели он о чем-то догадывается? Или сплетни, распускаемые Самочадиной, дошли и до Заворонского?»— ужаснулась она, не подозревая, что сплетни дошли как раз сначала до него, а потом уже до всех остальных. «Что он теперь подумает?» И опять она почувствовала себя беззащитной и без вины виноватой, ей стало вдруг так тоскливо и одиноко, что она разрыдалась.

Степан Александрович, всегда считавший Грибанову спокойной и выдержанной, растерялся и даже не догадался позвать Анастасию Николаевну. Но она пришла и без его вызова, обняла Грибанову за плечи и увела в приемную. А Заворонский так и остался стоять посреди кабинета и долго еще стоял так растерянный и задумчивый. «Похоже, у них с Половниковым и впрямь все серьезно».

И вдруг позавидовал им.

Люди, давно знавшие Степана Александровича Заворонского, наверное, удивились бы этой зависти. Все считали, что он если уж и не вполне счастливый, то, по крайней мере, вполне благополучный семьянин. У него и в самом деле в семье все было благополучно: любящая жена, любимые дочь и сын и самый любимый всеми внук. На первых порах жена ревновала его, особенно если по роли ему приходилось не только целоваться, а даже близко подходить к партнерше. Его это сначала забавляло, он даже слегка поддразнивал жену, а потом стало и раздражать, возможно, дело дошло бы и до скандала, но тут он перешел из актеров в режиссеры, и жена успокоилась. И напрасно! Именно тогда-то он и влюбился, и вовсе даже не в актрису, а в секретаря райкома комсомола того шахтерского городка, где он основал театр.

Звали ее Шурой, ей было всего лет двадцать, не более, от нее веяло такой первозданной свежестью, что аж дух захватывало. Лицо молочно-розовое, носик чуть вздернутый, но тонкий, глаза чуть зеленоватые и огромные, дуги иссиня-черных бровей выгнуты отчетливо, будто нарисованы.

Она пришла на собрание, посвященное работе с твор-

ческой молодежью, ее избрали в президиум, куда она села вполне привычно, сохраняя на лице тоже привычную, руководящую строгость. Поскольку труппу составляла в основном молодежь, то говорили о работе театра вообще, видимо, для Шуры все было новым и не совсем понятным, руководящее выражение сошло с ее лица и сменилось любопытством и недоумением, порой она хмурилась, и легкие крылья ее ноздрей трепетали, как листочки на ветру. И когда слово предоставили ей, она даже растерялась, будто и не собиралась выступать, а потом уж и совсем оробела и вместо пламенной речи, которую уже привыкла произносить, смущенно и тихо сказала:

— Вы извините, товарищи, но никаких указаний райком вам не даст. Вы в своем деле разбираетесь лучше райкома, вот и решайте сами, как вам лучше работать.— И, покраснев, села.

И комсомольцам это очень понравилось, они долго аплодировали ей, чем окончательно смутили.

Заворонский, отвозя Шуру домой, признался:

— А знаете, мне тоже очень понравилось ваше выступление.

— Какое выступление? Я же не выступала! — удивилась она. И с горечью добавила: — А ведь целых два дня готовилась. Обычно я без подготовки выступаю, ну, разве цитаты иногда подбираю, а тут готовилась, хотела как покультурнее сказать. Хотите послушать?

— Интересно.

И пока по колдобинам они добирались до окраины города, Шура успела произнести свою речь. В ней очень популярно объяснялись задачи текущего момента, задачи периодически перемежались с цитатами из классиков, а заканчивалась речь призывом выдать на-гора новые нетленные шедевры пролетарского искусства социалистического реализма. На призыве Шурочка так форсировала голос, что дала петуха, и Степан Александрович расхохотался и не мог унять до тех пор, пока Шура, прокашлявшись, не спросила подозрительно:

— А вы что, против?

Этот вопрос вызвал у него новый взрыв хохота, Шуру он обидел кровно, и она, приказав шоферу остановиться, выскочила из машины.

— Постойте, куда же вы? — попытался удержать ее Степан Александрович, но она сильно хлопнула дверцей и возмущенной походкой зашлепала по неспросыхающим

лужам окраинной улочки, в желтом свете фар едва успевали мелькать упругие икры ее длинных ног.

Утром Заворонский заехал в райком, чтобы извиниться. Отдельного кабинета у Шуры не было, она сидела в полутемной комнатке нос к носу с оргинструктором Гошей — здоровенным парнем с огромными ручищами в черных неотмываемых точках угольной пыли. Гоша никак не мог найти применения этим ручищам и то сжимал их в кулаки, то клал на колени, то засовывал в накладные карманы старенького френча, явно перелицованного. Он несколько раз пытался улизнуть, но Шура останавливала его властным окриком:

— Сиди!

И Гоша покорно опускался на стул и продолжал манипуляции своими огромными, тоскующими без дела ручищами. А Шура, строго сдвинув брови, между тем говорила Степану Александровичу:

— Непорядок у вас, товарищ Заворонский! В театре одна молодежь, а не организовано ни одной комсомольско-молодежной бригады.

— Видите ли, у нас своя специфика...— он поискал взглядом, на что бы сесть.

Но свободного стула в комнате не было, Гоша поспешно вскочил со своего.

— Вы пока садитесь, а я себе поищу,— и выскочил за дверь, видимо, надолго.

А Степан Александрович, прочно утвердившись на его стуле, стал исподтишка рассматривать Шуру, продолжавшую поучать его:

— Комсомолом надо руководить, товарищ Заворонский, это и в Уставе партии записано...

«В ней привлекательна не просто красота. В ней все настолько первозданно и прочно, естественно и невинно, что при ней и самому хочется быть чище»,— подумал он и невольно улыбнулся.

Шура, видимо, эту его улыбку расценила по-своему и обиженно сказала:

— Ничего смешного в этом не вижу!

— А я и не смеюсь,— серьезно сказал Заворонский. И, помолчав, с грустью посоветовал: — Вам, Шурочка, учиться надо.

Она вдруг сникла и, вздохнув, согласилась:

— Это верно. Учиться было некогда — война. Нас после седьмого всем классом в ремесленное направили. А потом работа, общественные нагрузки — опять неког-

да. А потом вот в райком избрали. Да еще и культурой поручили ведать. А где мне ее было набраться, если я почти всю жизнь в деревне прожила?

И Степан Александрович понял, сколько боли в этом ее признании. Он помнил, как сам страдал от того же.

— Ничего, Шурка, не хнычи! — сказал он, захватывая в ладонь ее руку, обессиленно лежавшую на столе. — Не боги горшки обжигают. Я вот тоже деревенский...

— Врете! — не поверила Шура.

— Вот тебе истинный... — Степан Александрович перекрестился.

— Да вы что? — возмутилась Шура и выдернула руку. — В райкоме и такое...

— Так ведь иначе и не поверишь. Но я и в самом деле в деревне рос. Степановкой называется. И настоящая фамилия моя Степанов.

— Зачем же сменили-то?

— Мода была такая на псевдонимы. И потом: столько Степановых на Руси, да и в театральной среде их немало, боялся затеряться...

— Вы, наверное, очень, ну, как бы это сказать... гордый, что ли?.. Нет, не то.

— Честолюбивый? — подсказал Заворонский.

— Во-во! — обрадовалась было Шурочка, но тут же сникла: — Видите, я и слова-то подходящего не могу подобрать.

— А что слова? Вот один поэт так написал: «Теряют новизну слова. Талант — единственная новость, которая всегда нова».

— А если таланта нет? Вот у вас он есть. Я видела, как вы царя Федора играли. Только зря вы про царя Федора пьесу поставили. Кругом разруха, голод, жилья людям не хватает, а вы — про царя.

— Цари ведь тоже разные были. Петр Первый, например, или Иван Грозный...

— Цари — они цари и есть. Народ угнетали. Нет, зря вы эту пьесу поставили. А еще говорите, что крестьянского происхождения сами-то.

— Но это классическая пьеса. И потом, ставя эту пьесу, я еще и осуществлял то самое руководство комсомолом, которого вы от меня требуете.

— Каким же образом? — рассмеялась Шура. — Царь и руководство комсомолом! Ну, уморили вы меня!

Она смеялась заливисто и открыто, до слез. Когда успокоилась, Степан Александрович спросил:

— Вы спортом увлекаетесь?

— Не увлекаюсь. Любить люблю, а вот сама не занимаюсь. Все некогда. Когда в школе училась, с мальчишками в футбол играла. И сейчас болею за наш «Шахтер», иногда даже на стадион хожу, у нас в райкоме все болеют, вот и я за компанию.

— Очень хорошо! — Заворонский приподнял указательный палец, как бы призывая ее к вниманию. — Вот и представьте, что ваш «Шахтер» все время играл бы только с дворовыми командами. Что тогда получилось бы? Вышел бы он в высшую лигу?

— Нет, конечно. Он бы и в первой-то не удержался.

— Вот именно. Потому что футболисты просто потеряли бы форму, легко побеждая дворовые команды, растренировались бы. Вот так и актеры на дворовых пьесах.

— А разве есть такие?

— К сожалению, есть. Вот вы требуете ставить пьесы на современную тему, да еще на местную. Мы тоже хотим их ставить, а пьес хороших о современности пока нет, местные авторы пишут плохо. Но мы ставим, понимая, как это важно. И актеры у меня теряют критерии, тоже растренировываются. И классическая пьеса для них все равно, что международный матч для вашей команды, я даю актерам возможность проверить себя и поверить в свои творческие силы... А чтобы поверить в себя, им не нужны комсомольско-молодежные бригады, им нужны хорошие пьесы.

— Вот с этого и начнем, — сказала Шура. — Надо будет всерьез заняться репертуаром театра.

И она занялась.

Господи, сколько сил и нервов отняло у Степана Александровича это ее занятие! На репертуар она мобилизовала чуть ли не весь комсомольский актив города, уже через месяц завлит не знал, куда деваться от настырных авторов, не успевал читать их шедевры, и Заворонский посоветовал ему отсылать их Шуре. Теперь она сама брала пьесы и вскоре призналась:

— Я и не думала, что это так непросто. Оказывается, одной идеи мало, надо еще и умение. Вы бы, Степан Александрович, подучили этих ребят, может, после этого у них и получится что-нибудь путное.

— На писателя, Шурочка, тем более на драматурга нельзя выучиться. Им надо родиться.

— А вы разве родились артистом? Это когда уж вы им стали-то!

— Я им всегда был, Шурочка.

— Это как?

— А вот так.— И он рассказал ей, как передразнивал односельчан, как всем сходом решали его дальнейшую судьбу, как он потом одолевал высоты и не достиг вершин.

— Еще достигнете! — уверенно сказала Шурочка и ободряюще пожала ему руку. Он схватил эту руку и стал ее целовать, сначала всю, потом каждый пальчик в отдельности. И Шура долго не отнимала ее, потом все-таки осторожно высвободила и призналась:

— А знаете, это все-таки приятно. Почему? — И, пожав плечами, надолго задумалась. И вдруг спросила: — Я вам вправду нравлюсь?

— Вправду.

— Я это сразу заметила, а вот спросить все как-то стыдилась.

— Об этом не надо спрашивать. Это надо чувствовать.

Она опять задумалась, видимо, долго прислушивалась к себе.

— Я и чувствовала! — сказала она так убежденно, как будто резолюцию начертала на их отношениях, разрешая и впредь строить их на абсолютнейшей искренности.

И никогда ни с кем Степан Александрович не был так искренен и счастлив, как с нею.

Но счастье это оказалось таким недолгим! Через два с половиной месяца его перевели в областной драматический театр. А еще через месяц он узнал, что Шура погибла во время аварии в шахте, когда вместе со спасателями бросилась разгребать завал.

Он был настолько потрясен, что не сразу кинулся на вокзал, а когда кинулся, выяснилось, что поезд в тот городок ушел, а проходящий будет лишь через одиннадцать часов. Все эти одиннадцать часов он просидел в зале ожидания, тупо глядя на запрудившую зал толпу, никого не видя, отрешенный от всего и вся. Приехав в шахтерский городок, он узнал, что всех погибших похоронили четыре дня назад.

На кладбище он почему-то машинально пересчитал все свежие холмики могил, их было двадцать девять, но что-то привело его прямо к ее могиле, он опустился на колени и долго стоял так, перебирая в памяти те недолгие счастливые минуты, которые ему довелось испытать с Шурой. Лишь после этого он прочитал до конца брон-

зовую надпись на мраморной доске и узнал, что Шуре было всего девятнадцать лет. Потом взгляд его устремился к соседней могиле, и он прочитал: «Георгий Устинович Макаренко. 1927—1949 гг.». И, только выходя за ворота кладбища, он сообразил, что это Гоша со своими непослушными руками, которого Шура иногда называла «педагогом».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Когда им сказали, что они поедут в отдаленный гарнизон, все настроились на такое захоlustье, где и медведям впору разгуливать. Некоторые предусмотрительно запаслись консервами, а художник Вахтанг Юзович прихватил даже валенки, неизвестно где добытые Эмилией Давыдовной, снаряжавшей их в путь.

Ощущение отдаленности усилилось, когда с рейсового самолета они пересели на военный, а с него — на торпедный катер. Правда, торпедные аппараты с катера были давно сняты, ибо конструкция его устарела, но он имел хороший ход и мчался со скоростью курьерского поезда. Сначала он шел в отдалении от берега, потом стал постепенно приближаться к нему, и на траверзе мыса, выдающегося далеко в море, сопровождавший их инструктор политуправления сказал:

— Ну вот и дотопали.

Высокий берег, нахмурив скалистый лоб, мрачно смотрел на море. В гранитных складках гомонили птицы, их были тысячи, они кричали и яростно переругивались между собой, точно торговки на базаре. Вероятно, поэтому и называли их поселения «птичьими базарами».

На самой макушке скалы стояла стотридцатимиллиметровая орудийная башня. Инструктор пояснил, что в войну здесь размещалась береговая батарея, прикрывавшая вход в бухту. Именно этим орудием был потоплен вражеский миноносец, и сейчас на шаровой краске башни пламенела звезда. Батарею давно уже пустили в переплавку, а эту башню оставили как боевую реликвию, к ней водили на экскурсию молодых матросов, и сейчас снег вокруг башни был плотно утопан. Ствол орудия

был низко опущен, казалось, он настороженно обнюхивал нарастающие следы людей.

За поворотом открылась вся бухта. С двух сторон ее обрамляли грозно нависшие над водой скалы, с третьей — небольшая сопка, покрытая редкими кустиками карликовых берез и серыми островками только что пробившегося из-под снега ягеля.

У подножия сопки, полого спускавшейся к морю, полукругом вдоль всей бухты раскинулся городок. Это был вполне современный городок с многоэтажными домами, издали он казался совсем игрушечным — был такой новый и аккуратный.

— Вот вам и дыра, — сказал Вахтанг Юзович и огорченно посмотрел на зашитые в холщовый мешок валенки, которые держал под мышкой. — Зачем она мне навязала их?

— Не огорчайтесь, еще пригодятся, — утешил его инструктор. — У нас тут, как поется в одной песенке, «двенадцать месяцев зима, остальные — лето». Иногда такие снежные заряды налетают...

И словно в подтверждение его слов из-за сопки вывалилась темная туча, быстро заволокла всю бухту, и сверху рухнула такая стена снега, что катер тотчас сбавил ход «ввиду плохой видимости», как объяснил тот же инструктор. Где уж там плохой, видимости вообще никакой не было, снег валил так густо, что с мостика не видно было ни носа, ни кормы катера, как будто его обрубили с обоих концов.

Антонина Владимировна невольно вспомнила, как они с Половниковым перебежали тогда Смоленскую площадь.

...На город неслышно спускалась Зима.

Она одевала гирляндами кружев

Трамваи, карнизы домов, провода...

Трамваев в городке, разумеется, не было, но, когда снежный заряд кончился так же внезапно, как и начался, белые гирлянды свисали и с карнизов и с проводов и кружевами вышли разбросанные по склону сопки шапки низкорослых березок.

Катер прибавил ход, быстро добежал до причала и, шаркнув бортом о привальный брус, прильнул к нему. Моторы, громко рыкнув в последний раз, заглохли, и стало слышно, как старшина распекает нерасторопного матроса, опоздавшего повесить кранцы:

— У, раззява...

На причале их встретил невысокий, но плотный, широкоплечий моряк, безошибочно угадав в Заворонском старшего, козырнул ему и представился:

— Грибоедов. Александр Сергеевич.

— Гоголь. Николай Васильевич,— весело ответил Заворонский, протягивая руку.

— Ну вот, каждый раз так,— огорчился моряк, пожимая Заворонскому руку. И обратился к инструктору политуправления: — Иван Федорович, подтверди.

— Так точно, это действительно Александр Сергеевич Грибоедов, начальник полиготдела.

— Очень приятно. Хотя и жаль, что не автор «Горя от ума», нам бы это сейчас куда как пригодилось.

— Тем не менее надеюсь, что пригожусь вам и в своем качестве,— сказал моряк.

Курьезное начало придало и дальнейшему разговору веселый настрой, и, когда в кают-компании за обильным обедом Заворонский попытался завести речь о деле, Грибоедов прервал его:

— Знаете, еще на старом русском флоте установился такой обычай: в кают-компании запрещалось вести служебные разговоры, дабы не портить аппетит господам офицерам. Разрешалось лишь рассказывать приличные анекдоты и обмениваться светскими новостями. Поскольку все последние базовые сплетни вы и без меня узнаете, то расскажите лучше, что там у вас в столице делается.

Однако выяснилось, что он достаточно осведомлен и о столичных новостях, даже из театральной жизни, и вполне компетентно судит о последних постановках.

— Жаль, что я вас в «Барабанщице» не видел,— сказал он Антонине Владимировне.

— Зато, наверное, рецензию читали.

— Да, в «Красной звезде». Из нее, собственно, и узнал, что вы Нилу Сnižко играете. Но к рецензиям я, знаете ли, отношусь недоверчиво. По-моему, никто так не дезинформирует читателя и зрителя, как рецензенты.

— Очень интересная мысль,— заметил Владимирцев.

— Возможно, и спорная. Но вот такое у меня сложилось мнение о многих рецензиях на книги, которые я прочитал. Правда, спектаклей мы видим меньше, сюда лишь наш флотский театр иногда засезжает...

Потом они перешли в кабинет Грибоедова и сразу заговорили о деле: кто, где и когда выступит перед моряками, когда лучше — в субботу или в воскресенье — уст-

роить встречу в Доме офицеров. Грибоедов весьма заинтересовался пьесой Половникова:

— Вы даже не представляете, как это нужно нам сегодня. Если прозаики и поэты еще как-то пишут о нас, то драматурги, ну, отстают, что ли. Вот наш флотский театр поставил две пьесы. И обе какие-то не то чтобы плохие, но не о том как-то. Не о главном. Где-то возле, сбоку, что ли. А этот, как его — Половников? — он, кажется, нащупал. Сам-то он из моряков?

Заворонский пожал плечами и вопросительно глянул на Антонину Владимировну. «Знает»,—удостоверилась она и ответила неопределенно, ибо слышала от Серафимы Поликарповны, что Александр Васильевич служил, а вот в армии или на флоте, не знала:

— Да, он служил.

— Это видно.—Теперь Грибоедов, перехвативший взгляд Заворонского и, видимо, истолковавший его по-своему, обращался только к ней.—Хотя бы потому, что копает он глубже. А может, и смысл нашей службы ухватил точно: Земля-то действительно оказалась маленькой...

И хотя свои размышления Грибоедов, казалось бы, адресовал Антонине Владимировне, которой как единственной из присутствовавших в его кабинете женщине надо что-то пояснять дополнительно, с наибольшим вниманием слушал его Виктор Владимирцев...

— Кстати,—прервал рассуждения начальника политотдела Виктор.—Где мы будем жить? Я хотел бы жить на атомной подводной лодке.

— Понимаю,—согласился Грибоедов.—Но вот какая штука: когда лодка у причала, на ней находятся только люди, необходимые для поддержания ее готовности выйти в море. Вахтенные, скажем так. Остальные живут на берегу. Почему—вы это скоро поймете. Посему мы решили так: все мужчины будут жить на плавбазе. Благо свободных кают там предостаточно, ибо флот нынче не очень-то тяготеет к берегу. Ну разве что душой. Однако, если кто-то захочет жить в гостинице, места и там забронированы.

Заворонский, окинув взглядом мужскую часть своей делегации, запротестовал:

— Ну что вы! Мы искренне благодарны вам именно за возможность жить на корабле!

Грибоедов согласно и, похоже, удовлетворенно кивнул и, повернувшись к Антонине Владимировне, сказал:

— А что касается вас...— Он нажал клавишу на панели селектора, и тотчас кто-то ответил искаженным голосом в зарешеченном динамике панели.

— Слушаю, товарищ капитан первого ранга!

— Мария Афанасьевна прибыла?

— Так точно! Минуты полторы назад.

— Просите.

И не успел Грибоедов отключиться от панели, как тихо приоткрылась боковая, оклеенная пленкой «под дуб», легкая, наверное, из прессованной фанеры дверь, которую Антонина Владимировна до этого и не заметила, и в кабинет вошла дородная женщина с тяжелой хозяйственной сумкой в одной руке и не до конца сунутым в цветастый чехол складным зонтиком в другой. Грибоедов вышел из-за стола, взял ее под руку и представил:

— Председатель женсовета гарнизона Мария Афанасьевна Полубоярова.

Женщина, окинув всех быстрым взглядом, неумело поклонилась и, прислонив зонтик к массивному стальному сейфу, тоже окрашенному «под дуб», присела на краешек стула в конце приставного совещательного стола и тихо сказала колоратурным грудным голосом:

— Здравствуйте. Мы вас ждали.— И, еще раз бегло окинув всех взглядом, задержалась на Грибановой:— Если вы, Антонина Владимировна, не будете возражать, то я заберу вас от мужиков.

— Не буду возражать,— сказала Антонина Владимировна, подошла к Полубояровой, взяла из ее рук сумку и прощально помахала мужчинам рукой:— Пишите письма. Мелким почерком!

2

— А зонтик-то я забыла! — воскликнула Мария Афанасьевна, как только они вышли на крыльцо штаба, обнаружив, что на улице еще сыро.— Ну ладно, зайду в другой раз, сверху пока не сыплется. Вот и солнышко выглянуло!

Солнце в промытом снегом небе казалось каким-то особенно чистым, хотя висело совсем низко, почти над самой макушкой сопки, словно опасаясь коснуться ее и запачкаться о заляпанные белыми заплатами снега и синими островками ягеля склоны, четко обрисовавшиеся на фоне чисто вымытого неба.

— Нам еще в садик зайти надо,— сообщила Мария

Афанасьевна, отбирая у Грибановой хозяйственную сумку. — За детишками. Не возражаете?

— Разумеется, нет, — ответила Антонина Владимировна, откровенно любуясь и столь чисто вымытым небом, и ярким, но не греющим солнцем, и столь непосредственной интонацией и выражением лица Марии Афанасьевны.

Детский садик размещался на центральной площади городка, напротив Дома офицеров, рядом с прозрачным зданием из стеклобетона, оказавшимся торговым центром. Сначала такое соседство показалось Антонине Владимировне не вполне уместным, но, поразмыслив, она согласилась:

— А что? Все рядышком.

— И даже школа, — Мария Афанасьевна указала на стоявшее в глубине здание из красного, явно привозного кирпича, голое и мрачное, видимо, более ранней постройки.

— А это кому? — спросила Антонина Владимировна, указав на стоявший посреди площади памятник, с одной стороны все еще облепленный снегом.

— Был тут один... Между прочим, наш друг. Хотя друзья между прочим не бывают. Это был наш большой друг! — и неожиданно заплакала, не всплакнула мимоходом, а именно заплакала, что и побудило Антонину Владимировну подумать, что она вдова.

— Нет же! — опровергла Мария Афанасьевна. — Мой муж в автономке. Ах, вы еще не знаете, что такое автономка? Ну, поживете — узнаете. Нет, я не вдова, но часто думаю: уж не вдова ли я?

А дети им очень обрадовались и были забавны в своем соревновании побыстрее одеться. Девочка оказалась первой и победно сообщила:

— А я пейвая! — Хотя и колготки были натянуты не до конца, и пуговицы на пальто не все застегнуты, но ей, видимо, так хотелось быть первой!

— Застегнись и помоги Вовочке! — строго осадил ее Мария Афанасьевна.

Обиженно глянув на мать, девочка бросилась помогать брату, но тот решительно отказался:

— Я шам! — И сам долго распутывал на шнурке намокший узел, возникший, видимо, в утреннем соревновании, не распутал и великодушно уступил сестре: — Давай жубами.

Та мгновенно вонзилась острыми зубками в узел и распутала его раньше, чем мать успела ужаснуться:

— Светочка, оставь!.. Это же грязь!

— Это шнурки! — пояснила Светочка, и Мария Афанасьевна беспомощно развела руки:

— Ну что с ними делать?

— Люби! — уверенно посоветовала девочка и бросилась на шею матери.

Мальчик презрительно и немножко завистливо глянул на них и пообещал:

— Вот папа плетется, я се яскажю!

А папа был в плавание, и Мария Афанасьевна поясняла:

— Да пусть его! Надо — значит надо. Мы же все понимаем. Но иногда бывает тоскливо. В кино вот одна хожу. Это ладно, у нас тут многие в одиночку по будням ходят. Тяжелее — в выходные. Правда, и выходные тут у всех по-разному складываются — кому на субботу, кому на воскресенье, а кому и вовсе на среду падают. Тут все вроде бы равные. А вот на праздники — это да! Для нас праздники — самые тяжелые дни в году...

— А вот скажите честно: вы не завидуете тем, кто имеет возможность каждый день ходить в кино с мужем, спать в одной с ним постели и вообще? — спросила Антонина Владимировна.

— Вообще-то завидую, — призналась Мария Афанасьевна. — Не себя, ребятшек жаль. Светка вон без него и выросла, помнит только по фотокарточкам, а Вовка — по рассказам. Бывает, идем по улице, а он в каждого встречного моряка пальцем тычет: «Это папа?» Тяжело, а объяснить надо...

— И как же вы объясняете?

— С детьми надо быть откровенными. Так и говорю: «Не папа это, но тоже моряк. А завтра вернется с моря твой папа, а этот чужой папа уйдет вместо него в море». Представьте: дети, а все понимают. Иногда, правда, замыкаются. Я тоже замыкаюсь, но только ночью, днем не имею права — дети, они все чувствуют... Вот так и живем...

Жизнь ее сначала показалась Антонине Владимировне ужасной. Но Мария Афанасьевна опровергла:

— Это что! Вот и квартира отдельная, и даже горячая вода в доме есть. А с чего начинали? Деревянный барак, продуваемый всеми ветрами не только насквозь, а и до того, что и стены шатаются. Ребятишки вповалку. И ман-

ная каша одна на шесть семей. Теперь-то мы со всеми удобствами, можно сказать — благополучные...

Но Антонина Владимировна не поверила в ее благополучие и однажды спросила:

— А нет ли у вас обиды? При всем при том вы в чем-то обездолены...

И Мария Афанасьевна вдруг процитировала:

Нам доли даются любые.
Но видишь сквозь серый туман —
Дороги блестят голубые,
Которыми плыть в океан.

Ты видишь простор океанский,
Далекого солнца огонь:
К штурвалу тревоги и странствий
Твоя прикоснулась ладонь...

— Кто это написал? — спросила Антонина Владимировна, опять вспомнив стихи Половникова.

— Алексей Лебедев. Он был штурманом подводной лодки, как и мой муж. Только намного раньше. Он погиб в войну. — Мария Афанасьевна вдруг умолкла, отрешенно глядя в окно. И даже расшалившийся Вовка замер в каком-то слишком мудром для его возраста понимании. Наверное, она спиной почувствовала этот его слишком понимающий взгляд и, резко обернувшись, как бы подытожила: — Вот так! Вот так и живем, Антонина Владимировна!

В этом ее возгласе не было ни жалобы, ни просьбы о сочувствии, но Антонина Владимировна попыталась поставить себя на ее место и, поняв, что ее собственное одиночество не идет ни в какое сравнение с одиночеством этой семьи, виновато призналась:

— А знаете, я как-то до этого что-то не понимала. Мы, наверное, слишком замыкаемся в своих бедах...

— Наверное, — отчужденно согласилась Мария Афанасьевна. — Хотя и сказано, что чужого горя не бывает, а горе-то у каждого все-таки свое...

— Вы считаете себя несчастливой? — спросила Грибанова.

— Несчастливой? — кажется Мария Афанасьевна не просто удивилась, а даже испугалась, что ее вдруг могут считать несчастливой. — Упаси вас бог так думать о нас! — Она сгребла руками детей, как будто собиралась подтвердить, что она не одна. — Мы не обездоленные!

И Антонине Владимировне стало вдруг стыдно, что

она подумала о Марии Афанасьевне как о человеке с пересложившейся или не так сложившейся судьбой. А Мария Афанасьевна, помолчав и, видимо, все поняв, с упрямом сказала:

— Вы уж не жалейте нас. Не настолько мы жалкие, чтобы...

— Господи! Да не жалею я вас! Скорее — завидую вам! — воскликнула Антонина Владимировна и торопливо, может быть опасаясь, что Мария Афанасьевна не дослушает ее, выплеснула все и о Геннадии, и о Половникове, и даже о Серафиме Поликарповне, и об их совместной поездке в Малеевку, понимая, что эта Малеевка Марии Афанасьевне так же далека, как Троянский конь или Варфоломеевская ночь.

Но Мария Афанасьевна поняла ее и даже пожалела:

— Бедненькая...

И Антонина Владимировна подумала, что она и в самом деле намного беднее ее, и неожиданно для себя разрыдалась. И жаловалась сквозь слезы:

— Он такой... застенчивый и неуклюжий. И никаких ласковых слов не говорит. А я хочу, чтобы говорил! Впрочем, и я, уезжая сюда, даже не сказала ему до свиданья.

— Свидитесь еще! Теперь ты от него никуда не денешься. Вернее, от себя никуда не уйдешь. И не уходи! Кому это надо, чтобы ты от себя бежала?

— А и верно, кому? — успокаиваясь, повторила Антонина Владимировна. — Даже Самочадиной это не нужно.

— А кто такая Самочадина? — спросила Мария Афанасьевна, и Антонина Владимировна не смогла сразу ответить. Долго подбирала выражения, наконец выдавила:

— Красивая.

— Понятно, — сказала Мария Афанасьевна, хотя, судя по всему, истолковала все не так. И успокаивающе пропела:

Зачем вы, девушки, красивых любите,
Непостоянная у них любовь...

Пропела слишком громко и тут же спохватилась:

— Ой, детишек разбудим!

Но дети спали спокойно, в чем обе они убедились, испуганно заглянув в детскую. Светочка спала, свернувшись клубочком, подложив ручонки под щечку, упершись

острыми коленочками в подбородочек, а Вовка по-мужски раскинулся во всю кровать и даже слегка похрапывал. Почему-то это особенно умилило Антонину Владимировну, и она воскликнула:

— Какая прелесть!

— Правда? — обрадовалась Мария Афанасьевна и, поправив сползающее с Вовки одеяло, спросила: — А вы хотели бы иметь детей?

— Еще бы! — воскликнула Антонина Владимировна и с грустью добавила: — Но, кажется, я уже опоздала. Мне уже тридцать четыре.

— Еще не поздно. У нас вот недавно одна в тридцать семь первого родила.

«А все-таки я обыкновенная баба, вот и Марии Афанасьевне завидую, что у нее есть дети,— думала Антонина Владимировна, ворочаясь в постели.— Хотя в общем-то жизнь у нее нелегкая».

Вставала Мария Афанасьевна в шесть утра и начинала будить детей. Первой будила Светочку и совала ей в кровать одежду. Девочка, еще не проснувшись окончательно, позевывая, начинала одеваться. Вовку приходилось будить долго, он отбивался руками и ногами, натягивал на голову одеяло, переворачивался на другой бок и снова засыпал. Пока удавалось растормошить его окончательно, опять засыпала Светочка, не успев даже натянуть платишко, лишь просунув в вырез головку и протернув распутившиеся за ночь косички. Когда наконец удавалось поднять и умыть обоих, пора было вести их в садик, и Мария Афанасьевна неизменно отказывалась от завтрака, который успевала приготовить Антонина Владимировна:

— Спасибо, вы сами поешьте, а я не хочу. Не привыкла завтракать. В клинике что-нибудь перехвачу, там у нас даже самовар есть, правда, приходится прятать его от пожарников.

Потом они вели детей в садик, самостоятельно шла только Светочка, а Вовку приходилось тащить волоком или нести на руках, потому что он засыпал на ходу, еле плелся, а Мария Афанасьевна уже опаздывала на работу: до клиники надо было еще добраться автобусом, а прием больных начинался в восемь утра. Пока она вела прием, Антонина Владимировна ходила по магазинам и готовила обед; она сама настояла на этом, убедив Марию

Афанасьевну лишь тем, что хочет «до конца постичь жизнь». Потом они шли в садик за детьми, готовили ужин, кормили их и укладывали спать. А потом надо еще постирать, погладить, и раньше двенадцати никак не удастся лечь спать.

«Как же она одна-то управляется? — удивлялась Антонина Владимировна. — А ведь она еще и председатель женсовета, почти каждый вечер у нее какие-то меропрятя».

— А вот так и кручусь, все бегом да бегом. Привыкла. Когда в маленьких гарнизонах жили, еще и дрова приходилось колоть, и воду носить, и печку топить... Мы ведь уже на шестое место переезжаем. Мясо вот сегодня старое, долго вариться будет.

— А вы не пробовали из бульонных кубиков? Очень удобно, десять минут — и готово.

— Может быть. Но кубики хороши, скажем, в турпоходе. А дома...

— Господи, да вся ваша жизнь — сплошной турпоход.

— А что? Похоже. Только вот боюсь, что ни один турист такого темпа и такой нагрузки не выдержит. Им вот значки дают, а нам ничего. Хотя бы разряды присваивали по бегу и поднятию тяжестей. А вообще-то и звание мастера спорта можно бы...

За неделю Антонина Владимировна познакомилась со многими женами офицеров и убедилась, что до этого не имела даже приблизительного представления о их жизни. Раньше эталоном женской верности считали княгиню Волконскую. А сколько тысяч княгинь Волконских живет сейчас на побережьях Ледовитого и Тихого океанов, на островах и полуостровах! Мужчины в море, а женщины месяцами живут одни, взяв на себя все заботы по воспитанию детей, по ведению ох какого нелегкого домашнего хозяйства: ведь, как рассказывают, подчас в отдаленных гарнизонах не было электричества и даже воды, приходилось растапливать снег и лед...

— Флотская жизнь, она только с виду красивая, — говорила Мария Афанасьевна. — Выскочит какая-нибудь городская девчонка за молодого моряка-лейтенанта, заведет он ее на самый край света, а сам в море уйдет на месяц, а то и на два, три. И все эти три месяца помимо служебных тягот живет в нем тревога за эту выросшую в тепличных условиях пичугу. Случается, что, не дождавшись даже возвращения мужа, улетает эта пичуга в края более теплые, под крылышко к маме и папе. Но ведь так

бывает редко, большинство таких пичуг выживает и в этих холодных краях.

И Антонина Владимировна удивлялась, откуда в них берется столько физических сил, мужества и терпения.

«Что придает им силы? Любовь? Да, и любовь. Но, наверное, не только она. Любовь — штука хрупкая, она нередко разбивается о быт. А может быть, душевных сил им прибавляет то же сознание долга, понимание того, что Земля — очень маленькая?»

Как-то проходя по площади, на которой стоял памятник погибшему в мирные дни офицеру, Антонина Владимировна подумала вдруг: а почему бы не поставить где-нибудь памятник женщине, жене моряка или летчика? Чтобы мужья, проходя мимо него, останавливались и отдавали дань уважения своим подругам за их мужество и верность.

Антонина Владимировна даже придумала, где лучше поставить такой памятник: на скале, неподалеку от того героического стотридцатимиллиметрового орудия. Чтобы, уходя в море и возвращаясь домой, моряки за много миль от базы видели эту глядящую в даль океана ожидающую их женщину. И пусть у нее будет строгое и грустное выражение лица, сурово поджатые губы и горестные складки в уголках рта. Упаси бог, если какой-нибудь сентиментальный скульптор сделает ее улыбающейся и махающей платочком: «Ты стояла в белом платье и платком махала».

Познакомившись со многими женщинами этого отдаленного гарнизона, Антонина Владимировна убедилась, что почти все они на редкость сдержанны и работающи. Такими сделала их жизнь, хотя она и не сумела сломить их, они никогда не станут бездушными. Поэтому в памятнике должна быть отображена не только их сдержанность, а и глубинная доброта.

Когда Антонина Владимировна поделилась своими соображениями с Марией Афанасьевной, та, усмехнувшись, возразила:

— Памятник? Нет, не надо нам памятников. Как говорится, «нам наплевать на бронзы многопудье». Нам бы лучше прачечную да еще пару продовольственных магазинов.

Антонина Владимировна немного огорчилась, но тут же подумала о том, что, если ей удастся в образе Валентины Петровны из пьесы Половникова воплотить черты хотя бы той же Марии Афанасьевны, это тоже будет па-

мятником всем женам офицеров, хотя и не отлитым в бронзе, а литературным, пожалуй, не менее значительным. Только теперь она по-настоящему оценила, насколько полезной оказалась для нее эта поездка в отдаленный гарнизон, и нашла тот ключ к роли, который ей не удалось найти в Москве. Да, эту роль нельзя играть в привычной для нее манере — только на бурной эмоции и с широким жестом. Ее надо играть более сдержанно, с потаенной болью, которая должна быть громче рыданий.

Она ясно понимала, что ломка собственной манеры игры не пройдет безболезненно, однако придется пойти на это, хотя бы ради тех, кого она здесь узнала и к кому прониклась огромным уважением и симпатией.

3

Вахтанг Юзович уже начал делать этюды и набрасывать эскизы, Заворонский выстраивал мизансцены, а Виктор Владимирцев пока лишь приглядывался к жизни на кораблях, на плавбазе, где они жили, на берегу, искал наиболее близкий прототип образа, созданного Половниковым. В принципе почти каждый из тех офицеров-подводников, с которыми познакомился Владимирцев, сам по себе мог бы стать если уж не чистым прообразом, то хотя бы его основой. Но сложность состояла в том, что для столь глобальной проблемы, которую поднял драматург, нужен был не просто любой жизненный образ, а герой большого общественного значения, стало быть, несколько пафосный, что ли. И найти художественные средства выражения этого пафоса было не так-то просто. Ибо мало было глубоко понять художественную идею всего спектакля, надо было ее еще и выстрадать.

Беда заключалась в том, что в последние годы со сцены как-то незаметно исчез герой именно большого общественного звучания, стало чуть ли неприличным выводить на подмостки «положительного» героя. Выпячивая негативные стороны быстротекущей жизни, а то и сознательно преувеличивая их, театр, да и не только театр, впадал в другую крайность — принижал значение положительного, жизнеутверждающего начала. Справедливо отрицая ложный пафос, иной раз утрачивали высокую мысль, наполненную высокими чувствами.

Выучив текст роли, Виктор помаленьку вносил в него изменения, правда незначительные: то подслушает характерное только для моряков выражение, то заметит,

что всех офицеров матросы называют по воинскому званию, а к командиру лодки обращаются только так: «Товарищ командир». Он знал уже четырех командиров лодок, приглядывался к ним, искал в них сходство с половниковским Гвоздевым.

Владимирцев остро приглядывался ко всему, что происходило на базе подводников. Он был весь словно наэлектризован, весь был приведен в движение, мобилизовал все ранее пережитое, прочитанное, услышанное и увиденное, а в образе Гвоздева все равно чего-то не хватало. Чего?

Ни одна из сыгранных ранее ролей не казалась Виктору такой неуловимой, как эта. Может быть, оттого, что почти все прежние роли были уже кем-то сыграны до него и пусть он вносил в них что-то и свое, но во многом и повторял актерский опыт, обретенный другими исполнителями ролей.

После того как он узнал, что роль Гвоздева придется играть ему, он был уверен, что сыграет ее. Во-первых, он с детства был связан с морем. Правда, сходить с краболовами ему так и не привелось, он работал только в порту, но жизнь любого приморского города настолько пропитана морем, что в каждом из жителей он существует во всех клетках души и тела. Во-вторых, Виктору вообще легко давались роли современных героев, а в Верхнеозерске он сыграл их немало, там репертуар обновлялся чуть ли не каждый сезон, это было плохо, но в чем-то и хорошо тоже, ибо и в этой смене афиш, и в частых гастрольных поездках они, актеры, ощущали дыхание жизни.

И эта поездка на флот дала Виктору многое, он нашел какие-то штрихи к образу, увидел бытовые детали флотской жизни, уловил тот отпечаток, который накладывает море почти на каждого человека, пусть по-разному, но накладывает. А Гвоздева все-таки не ощущал всего, образу явно не хватало цельности и законченности. И Виктор не сразу понял, что причина в том, что он, узнав многих командиров, не видел их в деле.

— Взять в поход? — удивился Грибоедов. — Мы-то взяли бы, да ведь театр не отпустит. Мы уходим надолго.

Заворонский вообще всполошился:

— Да ты с ума сошел! У нас же через неделю репетиции начинаются...

Но тут Виктору просто повезло: на кораблях устанавливали какой-то новый прибор, его надо было испытать, и одна из подводных лодок выходила в море всего на че-

тыре дня. С командиром этой лодки Иваном Арсентьевичем Голубковым Виктор познакомился в первый же день приезда в базу, за столом в кают-компании плавбазы они сидели напротив друг друга. Вскоре Виктор догадался, что место за столом ему определили не случайно: Голубков был не то чтобы душой кают-компании, но во многом определял атмосферу трапезы. Он был достаточно эрудирован, чтобы вполне компетентно рассуждать с заезжим актером о литературе и искусстве, вполне остроумным, чтобы этого же актера весело, но безобидно разыграть, и вполне деликатным, чтобы его же предостеречь от излишнего любопытства, когда тот в благородном рвении «познать жизнь» слишком далеко залезает в чужую епархию. Словом, он очень нравился Владимирицеву, но совсем не был похож на половниковского командира лодки Гвоздева, и это искренне огорчало Виктора.

Но он обрадовался, что пойдет в море именно с Голубковым. И помимо симпатии тут был еще один немаловажный момент: хотя подводники и не знали, какую именно роль будет играть в пьесе о них Владимирцев, но могли невольно подыгрывать, казаться лучше, что ли. Заподозрить Голубкова в таком даже невольном подыгрыше было просто нелепо — не такой он человек.

Может быть, именно поэтому Виктор, внимательно наблюдая за всем, что происходило на лодке, не особенно и выделял Голубкова, понимая, что тот хозяйничает тут по должности, не только все его приказания исполняются мгновенно, а даже едва заметный жест чутко улавливается каждым членом экипажа. Вот он мельком глянул на часы, и вахтенный офицер тотчас запросил:

— Штурман, место?

— До выхода в точку одна минута сорок две секунды, — последовал доклад снизу.

Голубков окинул быстрым взглядом горизонт, неторопливо пригасил сигарету и спокойно, но уже каким-то другим, более твердым голосом сказал:

— Всем — вниз! По местам стоять, к погружению!

Кто-то подтолкнул Виктора к рубочному люку, кто-то другой придержал его на секунду, чтобы он успел поставить ногу на вертикальный скоб-трап, кто-то третий своим телом прикрывал его, чтобы не свалили его нетерпеливо наседавшие сверху люди. И по тому, как уже

у самого спуска в центральный пост поступил доклад: «Вышли в точку», как потом посыпались туда горохом люди, Виктор догадался, что Голубков подал команду раньше, чем положено, с поправкой на его, Владимирцева, неопытность.

И вот уже все свалились в центральный пост, поступил доклад, что верхний рубочный люк задраен. Тотчас «заговорили» клапаны вентиляции, гулко ухнула в балластные цистерны вода, в отсеке погас привычный электрический свет и зажегся красный. «Как в фотолаборатории», — только и успел подумать Виктор, как вокруг запрыгали на приборах желтые и зеленые цифры и стрелки и кто-то начал докладывать:

— Глубина десять... пятнадцать...

Видимо, от быстрого перепада давления у Виктора больно кольнуло в ушах...

Когда он присмотрелся к царившему в отсеке полумраку, то обнаружил, что Голубков спокойно сидит в кресле, никакого волнения на его лице нет, оно лишь более сосредоточенно, видимо, из-за того, что со всех сторон так и сыплется:

— Глубина...

— Курс...

— Широта... Долгота...

Виктор окончательно уже запутался в этих цифрах, а они еще стремительно выпрыгивали и на разноцветных табло многочисленных приборов, и Владимирцев видел, что Голубков не только успевает запоминать эти цифры и доклады, а и о чем-то думает, видимо принимая какое-то решение, таинственный смысл цифр, выскакивающих на контрольном пульте, ему вполне доступен, но они меняются так быстро, что Виктор даже не представлял, как можно разобраться в калейдоскопе этих разноцветных огней.

— Реактор в режиме... — поступил очередной доклад.

И Виктор вдруг представил, что вот тут, совсем рядом, в другом отсеке, ворочая винты этой огромной субмарины и снабжая ее энергией, которую потребляет целый город, трудится совсем крохотный, невидимый простым глазом атом, существовавший еще до появления во Вселенной планеты по имени Земля — такой огромной и такой маленькой, что с помощью этого атома ее можно уничтожить.

Но можно и уберечь.

И только теперь Виктор по-настоящему и начал понимать весь глубинный смысл пьесы Половникова.

А от этого понимания уже стал более конкретно намечаться и образ командира атомной подводной лодки Гвоздева, точнее, его реальный прообраз — Голубков.

Но Голубков вел себя как-то уж слишком обыденно. Оставляя за себя старшего помощника, он спокойно уходил обедать и за обедом в кают-компанию лодки так же весело и безобидно подначивал Виктора, к немалому удовольствию остального застолья, уходил в свою каюту спать точно по корабельному расписанию и, видимо, спал спокойно точно отведенное ему время. Правда, в кресле командира он становился более сосредоточенным, но все-таки спокойным, и в бешеном мелькании разноцветных цифр он смотрелся как великий маг, управляющий этими цифрами и судьбами людей, невидимых в этой сумасшедшей пляске цифр, обозначаемых лишь голосами, тоже спокойными и уверенными. И чем-то Голубков сейчас напоминал бога, было в нем что-то космическое...

Потом эта космическая тема вернулась к Виктору еще раз...

Они возвращались в базу и опять ждали «точку» всплытия.

— Штурманской группе приготовиться к определению места астрономическим способом и по радиопеленгам! — распорядился Голубков. После того как штурман доложил о готовности группы, приказал: — По местам стоять, к всплытию! Машины стоп!

Заstopорили ход, но лодка еще продолжала по инерции двигаться вперед, лаг пощелкивал все реже и реже.

— Всплывать на перископную глубину!

— Есть! — Офицер на посту погружения и всплытия подал необходимые команды.

Виктор, уже понявший назначение некоторых приборов, следил за показаниями глубиномера. Вот его стрелка подошла к цифре, означавшей, что ограждение мостика находится у поверхности воды, и Голубков приказал:

— Поднять перископ!

Старшина группы рулевых включил механизм подъема перископа, и блестящий стальной цилиндр медленно начал подниматься. Из сальника в подволоке в шахту шлепнулось несколько капель. Виктор испуганно глянул на командира, но тот успокаивающе улыбнулся. Вода больше не просачивалась, а ствол перископа все подни-

мался, вот уже показалась из шахты его нижняя часть с окулярами. Они остановились точно на уровне глаз Голубкова. Откинув рукоятки вниз, он ухватился за них и припал к окулярам. Когда он, осматривая по кругу горизонт, вернулся в исходное положение, Виктор попросил:

— А мне можно посмотреть?

— Ну что ж, посмотрите,— согласился командир и уступил Виктору место.— Метрист, вести круговой поиск!

Виктор прильнул к окулярам. Над поверхностью моря уже сгустились сумерки, но видимость была отличной, на темно-синем небе отчетливо проступали звезды. Голубков объяснил, что через неделю начнется длинный полярный день, солнце вообще не будет заходить, да и сейчас оно зашло за горизонт на час с небольшим, потом поднимется снова. «Наверное, им надо спешить, а я отвлекаю»,— подумал Виктор и неохотно оторвался от перископа. Как раз в этот момент метрист доложил, что горизонт чист, и командир приказал:

— Сравить давление! Отдраить люк!

Старшина группы рулевых быстро вскарабкался по скоб-трапу вертикальной шахты, ведущей на мостик. Вот он повернул штурвал затвора, стальная крышка немного отошла от гнезда, и сквозь образовавшуюся узкую щель из лодки со свистом стал выходить воздух. У Виктора опять неприятно кольнуло в ушах.

— Люк отдраен!— доложил старшина, хотя в этом докладе не было необходимости, скачок давления почувствовали все. Но Виктор уже знал, что на лодке так полагается. Командир должен быть уверен, что его приказание понято и выполнено. Даже незначительная ошибка одного матроса может привести к катастрофе и стоить жизни всему экипажу. Поэтому на подводных лодках, как это ни надоедливо, каждое приказание повторяется громко и четко, докладывается обо всех действиях.

— Открыть люк!

— Есть открыть люк!— Старшина откинул крышку люка, и в отсек хлынул свежий морской воздух. Он был густой, прохладный, пьянящий, пахло йодом, рыбой и еще чем-то острым. Виктор знал, что в лодке надежно работают кондиционные и регенеративные устройства, постоянно поддерживается одинаковое процентное содержание кислорода, но что может быть приятнее свежего морского воздуха! Владимирцев всего четыре дня про-

был под водой, но сейчас как бы родился заново. А что же испытывают моряки, когда они несколько недель не видят белого света, не глотают этот жизнедающий атмосферный воздух!

Он видел, как сияют лица людей в таинственном полумраке отсека, и с благодарностью подумал о Заворонском, придумавшем эту поездку на флот. Пожалуй, только сейчас Виктор по-настоящему оценил ее необходимость, она позволила ему многое открыть для себя, многое понять и почувствовать.

Наблюдая за действиями экипажа подводной лодки, он искал не только бытовой материал, а и как бы примеривал к себе движения, интонацию, выражения лиц моряков. Улавливая какой-то характерный для всех отпечаток службы, он старался выделить, вычленить индивидуальность каждого. Иногда в кают-компании он показывал характерный жест, интонацию, походку кого-либо из моряков, и все находили, что очень похоже, даже удивлялись, как это у него получается.

Но ему предстояло играть роль командира лодки, а он-то и не давался, потому что Голубков сейчас разительно отличался от того командира, которого Виктор знал в кают-компании плавбазы. И здесь он иногда шутил, был ироничен и остроумен, но здесь во всем ощущалось, что он хозяин, хотя он и не проявлял ни высокомерия, ни безапелляционности. И надо было как-то состыковать того и этого, выверить логику поведения в тех или иных «предлагаемых обстоятельствах», накопить верное самочувствие для своей роли.

В принципе у Владимирцева было немало технических актерских средств, чтобы на основании подмеченных деталей создать образ командира подводной лодки, достаточно живого, внешне правдивого. Но как Кузьма не мог служить внешним портретом Луки, так и Голубков сам по себе не мог выражать идею пьесы, хотя наделить его всеми признаками характерности Виктору было теперь не так уж трудно. Он, например, решил наделить своего героя каким-нибудь характерным для него словом или поговоркой, долго искал их и наделил... сразу двумя.

Первую он взял от матроса, три раза в день убиравшего его каюту,— на флоте чистоту возводят в культ и ежедневно производят две сухие и одну мокрую приборки. Как-то Виктор разговорился с приборщиком о литературе, и тот обнаружил столь глубокое знание совре-

менной литературы и такую самостоятельность суждений, что Владимирцев невольно воскликнул:

— Честно говоря, я думал, что моряки — народ, хорошо образованный технически, но не знал, что они вообще эрудиты.

— На том стоим! — скромно заметил матрос и улыбнулся.

Вот это «на том стоим!» Виктор и взял на вооружение.

А вторую поговорку он слышал от штурмана, когда они обнаружили караван судов и надо было уклониться от встречи с ним. Голубев спросил штурмана:

— Как намерены уклоняться?

— Надо пошевелить извилинами и произвести расчеты.

— Шевелите, только недолго, а то они нас обнаружат, — сказал Голубев.

Не прошло и минуты, как штурман выдал курс, глубину и скорость для уклонения от встречи с караваном.

И это «пошевелить извилинами» Владимирцев решил отдать командиру, когда по пьесе у них с командующим флотом идет разговор о прорыве противолодочного рубежа. Поговорка задавала тональность всему разговору, несколько перенасыщенному специальными терминами, без которых вроде бы и не обойтись, но которые не каждому зрителю будут понятны.

Еще Виктора очень беспокоила сцена, где его герой должен был произнести длинный монолог. Сократить этот монолог было невозможно, в нем лежал весь замысел автора, но тут командир выглядел резонером. Виктор решил разбить его на куски, а для этого всю сцену надо было насытить какими-то физическими действиями. Но какими? В тесном пространстве центрального поста движение крайне ограничено, тем более что каждый из действующих лиц должен находиться на своем посту. Перебить докладами из других отсеков? Но зритель может потерять нить и упустить столь важную для спектакля идею.

Конечно, все занятые в этом эпизоде будут что-то делать на своих постах, но их действия не должны отвлекать внимание зрителя, оно должно быть сосредоточено на Гвоздеве. Но что делать ему? Допустим, поднимут перископ, он откинет рукоятки, прильнет к окулярам и станет вкруговую осматривать горизонт — тут пауза будет логичной, зритель поймет, что момент весьма ответственный. Но одной этой паузы мало, нужно найти хотя

бы еще две-три, заполненных чисто физическими действиями. Кок принесет на пробу обед? Нет, это и вовсе не годится, ибо такая бытовая деталь сведет на нет весь пафос монолога. А что, если дать Гвоздеву какой-то жест, который он проявляет на протяжении всего спектакля лишь в минуты волнения? Поправляет или надвигает на лоб пилотку? Нет, не годится, на этот жест могут не обратить внимания. Наклеить ему усы и что-то проделывать с ними? Тоже не то. Надо поискать что-то более выразительное.

Ну, допустим, он со временем последовательно выстроит всю цепь физических действий Гвоздева, наделит его какими-то чисто индивидуальными чертами, привычками, любимыми словечками и поговорочками, создаст не только внешний, а и внутренний рисунок роли. А вот как сделать его характер типичным?

У Половникова в образе Гвоздева была, пожалуй, некая литературная приподнятость, вероятно, преднамеренная пафосность. Если их усилить еще и театральными средствами, все разрушится. Поэтому никаких «горящих» глаз. А какие? Пожалуй, лучше усталые. Невольно вспомнилась песня Пахмутовой. Какие же там слова? Да, вот: «Когда усталая подлодка из глубины идет домой...» Вот именно — усталые.

«Пожалуй, это то, что надо», — решил Владимирцев, но тут же споткнулся еще об одно слово: «домой». И вспомнил один эпизод, который произошел в походе.

Случилось так, что однажды он опоздал к завтраку, ибо здесь его корабельным расписанием не особенно обременяли, а на берегу он привык вставать поздно. Корабельный кок, подогревая на плите остывший завтрак, поинтересовался:

— А вы, извините, из каких мест будете родом-то?

— Сибиряк.

— То-то я поговору вас признал. Мы ведь тут все сплошь сибирские.

— Как это?

— А вот так. Лодка-то наша не зря называется «Сибирский комсомолец». Все мы тут по путевкам сибирских райкомов комсомола. Ох как трудно сюда было попасть! Я вот уж и не чаял, шестеро с нашего завода претендовали, ребята все что надо, а вот доверили мне. До сих пор удивляюсь! А хотите понюхать нашу сибирскую землю? — Матрос расстегнул куртку и, достав из-под

тельняшки мешочек, сначала понюхал его сам, потом протянул Владимирцеву: — Домом пахнет!

Владимирцев понюхал мешочек и убедился, что пахнет он не только жареным луком, по́том, а еще и чем-то верно родным.

— Хорошо-то как!

— Хорошо! — подтвердил матрос, пряча мешочек за пазуху.

— А вы молодец! — похвалил Владимирцев. — Догадались прихватить с собой нашей землицы.

— Дак ведь это не я! У нас у каждого такие мешочки есть, нам их на собраниях вручали каждому в своем коллективе — ну, там на заводе или в колхозе. Дословно я не помню, что говорили, а вот смысл был такой: помни и береги эту землю...

Может, вот тогда-то Виктор и окончательно понял, что тема пьесы Половникова гораздо глубже, чем он думал.

Раньше, до поездки на флот, Владимирцев весь замысел пьесы Половникова схватывал лишь предчувствием, интуитивно. И даже во время плавания, вникая в задачи, которые ставятся перед подводниками в столь напряженной в мире обстановке, наблюдая за действиями моряков, в этом таинственном свете центрального отсека напоминающих инопланетян, он еще не ощутил всю глобальность темы, не совсем полно осознал художественную задачу всего спектакля.

И вот этот мешочек с родной землей на груди у каждого матроса. «Может, и Гвоздеву дать эпизод, когда он нюхает землю?»

Но тут напрашивались глицериновые слезы и этакое фальшивое чувствительное сюсюканье...

В это время, как будто по волшебству, радисты включили в трансляционную сеть песню Лядовой «У матросов нет вопросов». Виктор слышал ее и раньше, она не вызывала у него ничего, кроме воспоминаний о том, как Валентина Георгиевна Озерова готовила в народном театре оперетту Лядовой «Под черной маской», но так и не поставила, потому что Виктор, исполнитель главной роли, был назначен в Верхнеозерский театр. Она была ужасно огорчена, хотя сама больше всех способствовала этому назначению.

Но сейчас Владимирцев впервые вдумался в слова припева: «Потому что есть на флоте слово правильное: «Есть!»

«Вот это «Есть!» и должно быть в Гвоздеве главным.

Он как командир в любой обстановке обязан быть спокойным и рассудительным, с полным сознанием и ощущением своего долга, вот этого «Есть!».

Виктор опять же впервые подумал о том, что в Верхнеозерске он в принципе-то играл лишь «костюмные» роли и сравнительно легко переходил от Мольера к Островскому и Шекспиру и достигал этого порой простым изменением ритмического тона, ослаблением, напряжением, а иногда и форсированием голоса.

А тут нужен совсем иной ритм роли, а может быть, и всего спектакля. Тут надо показать внутреннюю жизнь образа Гвоздева, найти конкретный сценический облик. Стало быть, внешний ритм, темп его действий должен оставаться постоянным, его определяют вот эти «надо» и «есть». А вот внутренний ритм должен непрерывно, в зависимости от обстоятельств меняться.

Но как этого достичь? Как найти переход от внешнего действия к внутреннему состоянию образа, найти пластический рисунок роли?

В тот вечер, когда они вернулись с моря, Виктор заглянул в матросский клуб. На большой летней веранде танцевали, на площадке топтались и дергались люди, вокально-инструментальный ансамбль выдавал поп-музыку. В какой-то момент оркестр примолк, и в зале повис запоздавший монотонный звук синтезатора, в нем было что-то как бы неземное, отличающееся от привычных звуков. Виктор представил, что он смотрит на Землю из космоса и видит, какая она маленькая...

Утром он спросил у Заворонского:

— А какая будет в спектакле музыка?

— Еще не знаю. Я дал одному композитору пьесу, попросил написать музыку, но что он напишет, не знаю. А что?

— Мне кажется, что оркестр не нужен. Лучше, если два-три электронных инструмента и всего одна-две мелодии.

— Почему?

— Понимаете, тема-то пьесы глобальная. Ну, скажем так, космическая. И в музыке эта тема должна звучать тоже космически... Правда, я не знаю, как это должно звучать, но на одной-двух протяжных нотах. Впрочем, может быть, и больше, но у Гвоздева пусть не при каждом его появлении, но в наиболее ответственных мизан-

сценах должна быть своя музыкальная тема. Она не только будет напоминать или продолжать его, а стало быть, и всего спектакля тему, идею и замысел, а и развивать их. При этом должно быть не резкое, но постепенно нарастающее чувство тревоги...

— Стоп! Все понял! — воскликнул Заворонский и побежал звонить композитору.

Может быть, оказалось и к лучшему, что в поезде не было международного вагона и они разместились вчетвером в одном купе. Вахтанг Юзович начал было показывать эскизы, но Заворонский решительно остановил его:

— Это потом, в красках, в карандаше они все равно не смотрятся. А сейчас Тоша и Витя покажут, как располагаются в купе, причем при посторонних, Гвоздев и его жена Валентина Петровна.

— Но ведь этого в пьесе нет! — запротестовала было Антонина Владимировна.

— А если будет? Даже если не будет, все равно располагайтесь. Нет, не с этого места. Вот вы вошли с чемоданами. Витя, бери чемоданы, а ты, Тоша, авоськи...

— Кто должен подать первую реплику? — резонно спросила Антонина Владимировна.

— Вот вы спросили, вы и начинайте.

Антонина Владимировна недолго подумала и сама спросила:

— А вы уже здесь?

— Да. У нас два нижних места. Кто-то из нас должен вам одно уступить. Пошли!

— Извините, а вы курящие?

Заворонский посмотрел на Вахтанга Юзовича и сказал:

— Вот он курящий. И даже успел выкурить одну сигарету. В окно. Оно было открыто.

— Степан Александрович, помилуйте, кто же открывает окно зимой? Да еще здесь, в Заполярье! — вставил Владимирцев.

— Ты прав, — согласился Заворонский. — Итак, окно закрыто, а сигарета выкурена. Пошли!

— Ах, как тут душно! — брезгливо сказала Антонина Владимировна и вполне естественно поморщилась, ибо Вахтанг Юзович в этот момент действительно доста-

вал сигарету «Дымок», а в запас он с собой не догадался прихватить любимую «Яву».

— Господи! — возмутился Заворонский, театрально стуча себя кулаком по лбу. — Вы же Валентина Петровна, вы в седьмой раз переезжаете, вы уже привыкли ко всему, к тому же вам надо обменяться на нижнюю полку, и вы готовы простить...

— Допустим, я простила. Нет, смирилась! Что же дальше? Начать заискивать?

— Отнюдь!

— Давайте вместе пошевелим извилинами, — предложил Грибановой Виктор. — Итак, мы переезжаем в седьмой раз. Вещишек у нас не так много, но чемодана три-четыре наберется. К тому же Валентина Петровна — председатель женсовета, привыкла, может быть, не столько командовать, сколько что-то выбивать у начальства. Словом, человек она решительный. Я же хотя и сам привык командовать, но при такой жене не то чтобы забитый, но весьма исполнительный. Или снисходительно послушный, с этакой ироничной готовностью.

— Я вам поиронизирую! — пригрозила Антонина Владимировна и, напустив на лицо суровость, командно произнесла: — А ну-ка, мужички, выйдите и дайте разместиться!

Катрикадзе и Заворонский стали было выбираться из купе, но Грибанова придержала Вахтанга Юзовича:

— Впрочем, вот вы помоложе, так останьтесь, помогите-ка забросить наверх чемоданы.

— Валюша! — с упреком сказал Владимирцев. — Неудобно же! Я уж сам как-нибудь.

— Что вы! Я с удовольствием! — подыграл Катрикадзе и подхватил чемодан.

Когда разместились, Грибанова поблагодарила Вахтанга Юзовича:

— Спасибо вам, а то мы с этим скарбом так намаялись, что едва на ногах держимся. Однако курить я вас все-таки попрошу в коридоре или в тамбуре.

— Да, конечно, — поспешно согласился Катрикадзе, не подозревая, что на всю их оставшуюся дорогу Антонина Владимировна не только будет выставлять его со своим «Дымком» в тамбур, а и разместит его на верхней полке, куда он будет влезать, кряхтя и похыкивая, притворно жалуясь: — Ох, эти мне лицедеи!

— Ничего, тебе полезно, — утешал его Заворонский. — Ты же театральная элита, всех-то и тяжестей у тебя од-

на кисть, а эти лицедеи каждый день трудятся до седьмого пота...

— На том стоим! — заметил Владимирцев.

— И то! — голосом Фенечки подтвердила Грибанова...

В Москве их встретил Марк Давыдович Голосовский и сразу сообщил:

— Вам, Степан Александрович, придется снова готовиться в путь. Через две недели. В Чехословакию.

— Зачем?

— Будете ставить «Оптимистическую трагедию» в в Пардубицком театре.

— Но там же есть режиссер Гелена Цодрова, она закончила Институт театра и кино, вполне справилась бы сама. Я ее знаю, она хороший режиссер, к тому же училась в Ленинграде, морской антураж ей более или менее знаком.

— А вот приглашают вас. И Министерство культуры дало согласие.

— А как же быть с пьесой Половникова?

— Семка Подбельский доведет.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

После нескольких репетиций, едва вышли из выгородок, Заворонский уехал в Чехословакию, а Подбельский принялся доводить спектакль. Судя по тому, что теперь репетиции проходили почти каждый день, спектакль решили выпустить к открытию нового сезона. Это устраивало и Голосовского, и еще больше Подбельского.

Но если директор театра руководствовался при этом лишь финансовыми соображениями, то у Подбельского соображения были куда более широкие.

Во-первых, он понимал, что пьеса Половникова поднимает проблему с такой глубиной, какой еще на театре не было при постановке пьес на современную тему, и спектакль будет безусловно замечен. С одной стороны, это налагает большую ответственность. Но с другой стороны, если даже в спектакле что-то и не удастся, ему, молодому режиссеру, снисходительно простят это: ведь он еще «в поиске».

Во-вторых, если не успеешь поставить спектакль до

возвращения Заворонского, он вмешается, будет что-то исправлять, и ты опять окажешься в положении сорежиссера. И в случае успеха все лавры достанутся Заворонскому, а тебе спектакль даже не зачтут как самостоятельную постановку. В случае же неудачи все грехи свалят на тебя, а Заворонский оправдается тем, что в самый ответственный момент подготовки спектакля он отсутствовал не по своей вине.

В-третьих, вряд ли в ближайшие годы представится еще случай открыть сезон самостоятельным спектаклем и вряд ли получишь такую поддержку дирекции. А Марк Давыдович дал ему сейчас такие права, что в театре многие начали даже думать, что Подбельский чуть ли не исполняет обязанности главного режиссера.

Семен Подбельский всегда умел «нюхать момент», на чем-то, быть может, и спекулировать, но он никогда не решал эти «моменты» в лоб, инстинктивно понимая, что позицию свою надо укреплять не толстыми стенами, а оружием, способным пробить стену любой толщины, и это оружие он видел в искусстве настоящем. Ибо только оно и может быть независимым от «моментов», оно может и утверждать и ниспровергать, оставаясь почти неуязвимым, потому что толковать его можно и так и этак, а воспринимать лишь однозначно, как искусство или как неискусство. И за этой однозначностью восприятия лежала возможность самого широчайшего его использования в любых целях, в самых возвышенных и низменных.

Низменных целей Подбельский открыто не преследовал, впрочем, возвышенных тоже не преследовал, хотя и заявлял о них открыто. Он был не настолько наивен, чтобы бескорыстно служить искусству, но и не настолько глуп, чтобы попытаться подчинить искусство служению только своим интересам, понимая, что одним им оно служить не сможет, да и не будет, даже если бы могло. Просто он хотел приспособить возможности искусства своим целям, но не нарушая его законов.

А в искусстве он разбирался, пожалуй, даже чувствовал его тоньше, чем многие другие, и достаточно умно использовал его. Он раньше других понял, что, возвышая других и умалчивая о своей роли, он и себя не обойдет, рано или поздно его роль будет замечена, более того — умолчание о себе будет расценено не иначе, как его скромность, ему воздадут за все, в том числе и за «скромность».

И ему воздавали. Был случай, когда Министерство культуры даже предложило ему должность главного режиссера областного театра, но он отказался, и вовремя, потому что назначенного на это место главрежа вскоре съели сами же выдвигавшие его, почуяв, что труппа его не приемлет, как не приняла бы она и Подбельского и, быть может, слопала его даже с большим аппетитом.

Нет, не надо слишком гнать лошадей, они могут выдохнуться и пасть, а потом и ехать дальше будет не на чем.

А он хотел ехать дальше, не до высот, а, как и Заворонский, до вершин. Но если Заворонский стремился к вершинам искусства, то Семена Подбельского устраивали любые вершины, ибо он отчетливо понимал, что вершины намного лучше высот, на них люди становятся абсолютно безгрешными, хотя бы потому, что на них никто не смотрит сверху. И когда кто-то из актеров сказал ему, что самый счастливый человек на свете — папа римский, потому что, приходя на работу, он ежедневно видит своего начальника распатым, Семен от души посмеялся.

И вот сейчас наступил момент, когда он может отличиться. Он понимал, что делает что-то не так, но также понимал: сделать «так» не хватит времени, момент уйдет.

Мешал Глушков. «И чего этой старой перечнице надо? Ведь он даже не занят в спектакле, а ходит на репетиции!» — досадливо думал Семен, однако не решился высказать свое недовольство вслух.

А Федор Севастьянович, побывав на трех репетициях, зашел к Голосовскому:

— Послушай, Марк, при твоём попустительстве Семка благополучно убивает пьесу.

— Ну, зачем вы так, Федор Севастьянович! — мягко упрекнул Голосовский. — Подбельский лишь продолжает то, что начал Степан Александрович.

— Не продолжает, а разрушает! Разрушает замысел, стилистику, дезориентирует актеров.

— А мне кажется, что они его просто не слушаются.

— И правильно делают!

— Федор Севастьянович, вы ли это говорите! — опять с упреком сказал Голосовский. — Вы же всегда были за крепкую дисциплину в театре.

— Да при чем тут дисциплина? Речь идет не о ней, а об искусстве! О святой святыне...

— Не надо так высокопарно,— поморщился Голосовский.— На меня эти ваши актерские штучки уже не действуют, я к ним слишком привык.

— А, что с тобой говорить! — Глушков махнул рукой и направился к двери. Открыв ее, обернулся и сказал:— Я поставлю вопрос на художественном совете.

— Это ваше право,— холодно заметил Голосовский.

Однако, когда Глушков ушел, Марк Давыдович не на шутку встревожился: «А ведь поставит! И убедит отложить репетиции до возвращения Заворонского. Надо что-то предпринять. Но что?»

Выход нашелся неожиданно простой. Министерство культуры неоднократно настаивало на том, чтобы театр сформировал и отправил концертную бригаду на строительство Байкало-Амурской магистрали. И вот сейчас Голосовский поспешно сколотил такую бригаду. Когда в министерстве узнали, что возглавит ее Федор Севастьянович Глушков, то очень обрадовались, но все-таки заинтересовались:

— А не тяжело ему будет? В его возрасте такие дальние вояжи...

— Он сам дал согласие.

Это было верно, Голосовский и не ожидал, что Глушков так легко согласится ехать за тридевять земель. Федор Севастьянович хорошо понимал, что директор театра попросту хочет на время избавиться от него, но на поездку согласился, потому что успел созвониться с Заворонским и тот обещал недели на две приехать в Москву, чтобы основательно поработать с составом, занятым в пьесе Половникова. «И мне не мешает встряхнуться»,— думал Глушков. Вот уже лет пять он не выезжал из Москвы, его оберегали и даже в гастрольные поездки не брали.

2

Половников полагал, что начало репетиций означает окончание его работы, и ошибся. Уже на первых репетициях актеры стали донимать его вопросами, требованиями что-то дописать, что-то переделать, а что-то и вовсе убрать. И Половников почувствовал, что некоторые его образы лишь намечены, выглядят набросками. И в требованиях того или иного актера порой обнаруживалась такая проницательность, которой Половникову не хватало, и тогда он принимался работать над этой ролью и... обеднял другую. Видимо, он нарушал какую-то не то

чтобы пропорциональность, но соотношение, которого актер не понимал, да и у самого Половникова оно устанавливалось как-то произвольно, интуитивно. Видимо, театр требовал больших обобщений, чем проза.

Когда он писал пьесу, то сначала сам проигрывал свои роли, все последовательно, по ходу действия. Теперь он понял, что надо еще и проиграть каждую роль отдельно от начала и до конца: ведь именно из этого каждый актер лепит образ, познает роль целостно.

Но порой тот или иной актер требовал от роли такого содержания, которое Половников не мог в нее вложить. И тогда Александр Васильевич становился неуступчивым, горячо отстаивал свою точку зрения, мотивировал ее, и актер в конце концов сдавался. И Половников очень гордился такими победами, не подозревая, что актер для того и спорил с ним, чтобы отчетливее уяснить его точку зрения, психологические мотивировки и трактовку образа в целом, которую он не сразу схватил.

В ходе репетиций пьесу пришлось переделать довольно значительно, и Половников почувствовал, что она стала намного лучше. «Жаль, что Заворонский не читал этот вариант. Видимо, он преувеличивал значение темы и согласился с предыдущим вариантом. А может, и знал, что в процессе репетиций все равно что-то придется переделывать».

Однако и этот вариант не устраивал Семена Подбельского. Напоминая Александру Васильевичу о том, что спектакль должен быть готов к открытию сезона, режиссер требовал от автора полного послушания, безусловного выполнения всех требований театра. И Половников поначалу слушался, но потом постепенно начал выходить из повиновения, ибо насилие Подбельского лежало не только за кругом привычных впечатлений Александра Васильевича, но и за кругом его вкуса. С этим он согласиться не мог.

А Подбельский нажимал:

— Поверьте, у нас больше опыта, а у вас только первая пьеса. Ведь даже Чехов выполнял требования режиссеров.

— Между прочим, именно Чехов сказал, что «театр — место, где казнят драматурга», — напомнил Половников.

— Но Чехов шел на эту казнь.

— И я иду, я многие из ваших требований принял безоговорочно. Но я не могу поступаться принципами.

Споры их нередко переходили в перебранки, в них стали втягиваться и актеры, и это не сулило ничего хорошего.

Выехать в Москву сразу после телефонного разговора с Глушковым Степан Александрович не смог, в Пардубнице как раз шла монтировка спектакля, и Гелена Цодрова на этом этапе больше всего нуждалась в его помощи. Хотя она была талантливым и вполне зрелым режиссером, национальную специфику и традиции советского театра, да и пьесы Вишневского ей было иногда трудно ухватить, тем более что пьеса была публицистической, сложной для постановки, ее и в наших-то театрах многим не удавалось поставить.

Заворонский приехал в Москву лишь к прогону всего спектакля.

На первый взгляд все шло как будто бы нормально, Подбельский оставался верен общему замыслу Заворонского, сохранил композицию и мизансцены выстроил почти также, как их выстроил бы сам Степан Александрович. «Может, зря Федор Севастьянович поднял тревогу и посеял панику?» — подумал Заворонский.

Но вот Олег Пальчиков пропустил в тексте несколько фраз и утерял важную мысль. «Еще не выучил роль», — подумал было Степан Александрович, но в следующем выходе Олег начал вообще не с той реплики, вся мизансцена обрела иное звучание, акценты сместились, и мысль смазалась. И Заворонский понял, что Олег вовсе не забыл роль, а работает по явно облегченному варианту, видимо, облегченность задачи не лучшим образом повлияла на весь его настрой, в его игре появилась небрежность, жесты не отработаны, интонация не везде точна, а иногда он начинает торопливо «пробалтывать» текст. Олег явно работал «вполноги», как говорят в балете.

Еще более насторожило Степана Александровича то, что и у Владимирцева и Грибановой порой нарушается взаимодействие, теряется то чувство партнерства, без которого весь ансамбль начинает распадаться на отдельные роли, нарушается его целостность. «В чем же тут дело? Неужели не сработались? Ведь до этого у них был, кажется, полный контакт», — недоумевал Заворонский.

И уж совсем поразила его Генриэтта Самочадина. Текст ее роли не имел ничего общего с авторским тек-

стом. Вспомнив, что сам предлагал актерам переписать для себя роли, подумал: «Неужели она сама сочинила всю эту белиберду? Но тогда она бы хоть что-то запомнила, а то ведь спотыкается на каждой фразе...»

Не предполагал Степан Александрович, что Самочадина весь этот текст получила только вчера вечером.

Узнав о приезде Заворонского, Семен Подбельский сразу подумал: «Степан Александрович приехал на эти две недели лишь для того, чтобы спектакль числился поставленным им, а не мною. Очевидно, моего имени не будет даже в афише... В таком случае я ему суну ежа в одно место...» И тут же поехал к Самочадиной, не очень надеясь застать ее дома, но решив дожидаться ее хоть до утра.

Но Генриэтта была дома, увидев Подбельского, округлила свои глаза и даже перекрестилась:

— Свят, свят! Что стряслось?

Понять ее изумление было нетрудно: они давно и взаимно не любили друг друга.

— Ничего не стряслось, просто я наконец-то добрался и до твоей роли и хочу с тобой посоветоваться,— успокоил Подбельский, усаживаясь в кресло и бегло оглядывая комнату.

Весь интерьер ее как бы распадался на две части. Первая явно указывала на необычность профессии владелицы. Прямо на двери наклеена яркая афиша на мелованной бумаге, теперь так уж и не печатают. В этой пьесе у Генриэтты была довольно значительная роль, ее имя в афише значилось третьим. И сыграла она тогда вполне терпимо, но пьеса продержалась в репертуаре всего один сезон и давно сошла.

А вот и другие роли. Фотографии расположились цепочкой под самым потолком, они бордюром обрамляли почти всю комнату, среди них оказалось немало цветных, таких даже в музее театра не было. «Неужели Генриэтта специально заказывала их для себя?» И еще удивило Подбельского: неужели Самочадина сыграла столько ролей? Семен еще раз придирчиво оглядел всю галерею и убедился, что так оно и есть. Почти в каждом новом спектакле у Генриэтты оказывалась хотя и проходная, но роль. «Странно, однако я никогда над этим не задумывался».

Вторая часть интерьера кричала о богатстве: горка с хрусталем и серебром, дорогая китайская ваза, инкрустированная арабская мебель — все это, видимо, оставил

Генриэтте ее второй муж. Но обе части интерьера как-то не сочетались, даже противоречили друг другу и лиш- ний раз подтверждали вкус хозяйки, точнее — его от- сутствие.

— Господи, а я уж перепугалась,— облегченно вздох- нула Генриэтта, опускаясь в кресло напротив. Она заку- рила и закинула ногу на ногу, яркий шелковый халат с шуршанием соскользнул с коленей.

— Мне кажется, в пьесе твоя роль недостаточно про- писана. Учитывая, что Степан Александрович сам разре- шил нам дописывать тексты, мы могли бы кое-что сделать,— осторожно начал Подбельский.— Поскольку он поручил доводить спектакль мне, то давай вместе подумаем.

— Наконец-то хоть один человек нашелся, который в состоянии меня понять! — воскликнула Генриэтта, и Под- бельский убедился, что о приезде Заворонского она пока не знает.

Он тут же принялся переделывать текст ее роли и поч- ти вдвое увеличил его по погонному листажу, что при- вело Генриэтту прямо-таки в телячий восторг.

— А ты, Сема, далеко пойдешь.

— Твоими бы устами да мед пить.

— Тебе бы вот только крылышки расправить, а они у тебя крепкие,— Генриэтта погладила его плечо.— А что, если мы по этому поводу немного выпьем и я тебя по- кормлю? Ты когда в последний раз ел домашний борщ?

— Не помню уж.

— То-то и оно. Вон там в баре достань коньяк и рюм- ки, а я пока разогрею.

Семен и в самом деле не помнил, когда ел домашнюю пищу, а борщ оказался великолепным, и он уплетал его за обе щеки. Генриэтта потягивала коньяк и поглядывала на Семена теплым, ласковым взглядом. Такой взгляд бы- вает у матери, кормящей свое проголодавшееся чадо.

Однако, хотя Генриэтте и польстило, что ее борщ по- нравился, мысли ее не вполне соответствовали «материн- скому» взгляду. Она была убеждена, что Семен пришел не только по делу.

А ее уже начало угнетать одиночество. Хотя поклон- ников у нее не убывало, но она все чаще и чаще возвра- щалась домой одна, а по выходным не знала, чем себя занять. И все чаще думала, что пора бы ей уже и при- биться к какому-то берегу под надежную защиту. Дваж- ды она была замужем, но семьи не получилось. Первый

раз вышла за премьера из другого театра, надеялась на его лавры, но их утянула невзрачная актрисочка-травести, совсем пигалица и к тому же очкарик. Второй муж был военный, учился в академии и нравился Генриэтте своей добротой, рассудительностью и устойчивостью. Но после академии его загнали служить куда-то в тьмутаракань, разумеется, она никак не могла туда поехать. «А может, и зря?» — подумала она сейчас и, не найдя никакого ответа, пристально посмотрела на Семена. Тот, почувствовав ее взгляд и, не донеся ложку до рта, опустил ее в тарелку.

— Спасибо, Греточка, очень вкусный борщ.— В голосе его ощущалась некоторая настороженность.

Изображать перед Семеном скромницу сейчас было по меньшей мере глупо, он все равно не поверил бы. И Генриэтта решила сразу перейти границу, невидимо разделявшую их до этого:

— Кофе?

— Да, пожалуй.

— Может, ты предпочитаешь, чтобы тебе его подали в постель? — спросила она с должной иронической интонацией, которую можно толковать и так и этак и которая в случае чего поможет выйти сухой из воды.

Но Семен, видимо, разгадал и этот ее маневр и поморщился. Почти безразлично.

Тем не менее Генриэтта удалилась в кухню и стала готовить кофе. Она не торопилась, чтобы дать возможность Семену раздеться и лечь в постель без помех и угрызений. Но когда она, уже сама испытывая нетерпение, вернулась, то обнаружила его не в постели, а в прихожей, к тому же при его вечно зеленой шляпе.

Это могло обескуражить кого угодно, но не Генриэтту. Она знала, что мужчины порой бывают необъяснимо робки или просто трусливы. «А может, Семка думает, что я посягаю на его независимость, женю его на себе? Да нужна мне его независимость, как рыбе зонтик!»

— А кофе? — она постаралась удивиться как можно искреннее.

— Знаешь, я как-то раздумал.— Семен произнес это без иронии, смущенно, и это смущение не было наигранным.

«Значит, еще не все потеряно».

— В таком случае я тебя немного провожу,— Генриэтта поставила кофе на столик.

— Как хочешь.

Теперь руки свободны и можно действовать. Генриэтта заломила их над головой, рукава скользнули к плечам, и она трагически выдохнула:

— Хочу! Потому что я не могу одна, я здесь как в клетке. Ах, Семен, если бы ты знал, как я одинока! — И, опустив руки, она сжала ладонями лицо и ткнулась ему в грудь.

Но Семен грубо отстранил ее и насмешливо заметил:

— Вот это у тебя что-то новенькое. И неплохо. Совсем даже неплохо. Ты запомни этот жест, он тебе, возможно, пригодится в какой-нибудь роли. У тебя таких жестов не очень-то много. — И выскочил за дверь.

В лестничном пролете гулко прозвучали его шаги, потом все стихло. А Генриэтта все еще прислушивалась, надеясь, что Семен вернется, хотя уже знала, что он не может вернуться. Потом опустилась на колени и, опять зажав лицо ладонями, заплакала — теперь уже по-настоящему. Ее душила не только обида, в ней поднимались горечь за несложившуюся жизнь и раскаяние. Но еще больше мучило недоумение: «Зачем же он приходил сюда? Чтобы оскорбить? Если это так, то ему вполне удалось. Но за что ему меня оскорблять, что я ему сделала плохого? Пусть мы никогда не дружили, но и не враждовали же! И зачем он притащился ко мне домой? Ведь роль мы могли переписать и в театре...»

Однако на другой день, узнав о приезде Заворонского, Генриэтта, кажется, начала о чем-то догадываться, хотя и смутно. «Семка что-то затевает. Ну и пусть, зато сейчас у меня роль стала не проходной. А если Заворонский будет недоволен, всегда можно свалить на Семку. Зато Грибановой я преподнесу сюрпризик, а уж этот сосунок Владимирцев у меня повертится».

Она и сама не понимала, почему так возненавидела Владимирцева. Вот уже сколько лет вела она в театре тайную войну, но вела ее против соперниц, к мужчинам, не составлявшим ей конкуренции, относилась терпимо, а этот выскочка начал раздражать ее с самого начала своего появления в труппе. Возможно, она сразу почувствовала, что пойдет он далеко, и в ней сработала привычная зависть. А когда ему дали главную роль в новой пьесе, это чувство перешло в яростный протест, в жгучую ненависть. Этому в немалой степени способствовало отношение к Владимираву Глушкова, которого Генриэтта вообще не могла терпеть.

«А Семка теперь у меня на крючке, и я уж не дам ему

сорваться», — мстительно думала она. Его вчерашний уход слишком напоминал поспешное бегство и был для нее оскорбительным.

После прогона, когда собрался весь состав, Степан Александрович, ко всеобщему удивлению, воздержался от каких-либо комментариев, поручив разбор Подбельскому. Семен, настороженный этим, сделал несколько весьма дельных замечаний и на том разбор закончил, не дав даже общей оценки. За него это сделал Голосовский:

— По-моему, все идет нормально. Кое-где еще сыровато, надо учесть замечания Семена Григорьевича, пошлифовать. Время еще есть. — И выжидательно посмотрел на Заворонского.

Но Степан Александрович и на этот раз ничего не сказал. Зато когда они остались вдвоем, спросил прямо:

— Зачем вы это сделали?

— Так ведь план... — начал было Голосовский, но Степан Александрович тут же остановил его:

— Марк Давыдович, твои заботы мне известны. Но вы-то, Семен Григорьевич, зачем это сделали?

Подбельский, потупившись, молчал. Он понимал, что, чем дольше молчит, тем больше выдает себя, ибо Заворонский о чем-то догадывается, а молчание лишь подтвердит догадку. Надо было хотя бы что-то сказать, но сказать было нечего.

— Ну, ладно, — Заворонский откинулся на спинку кресла и побарабанил пальцами по подлокотнику. — Раз уж вы эту кашу заварили, придется расхлебывать. Но кашу придется есть горячей, можно и обжечься. Однако сроки переносить не будем. Марк Давыдович, заказывайте афиши и программки. Моей фамилии не ставьте.

Оба ошарашенно смотрели на него, а он пристально следил за выражением их лиц. У Марка Давыдовича недоумение сменилось растерянностью, и он начал было:

— Но ваш авторитет... — И тут же умолк, посмотрев на Подбельского.

А у того лицо будто окаменело, но в глазах проносился целый вихрь, одно выражение стремительно сменяло другое. «Снимает с себя ответственность? — подумал было Подбельский, но, глянув на Заворонского, тут же усомнился: — Не похоже. Тогда что? Жертвует? Или просто хочет подарить мне этот спектакль, хотя весь замысел, безусловно, принадлежит ему? Впрочем, сейчас

это не так уж и важно, гораздо важнее то, что он, кажется, раскусил меня, понимает, почему я так спешил выпустить спектакль. Как же мне после этого с ним работать, теперь-то уж я начисто лишился его доверия...» И отчужденно, даже как бы обиженно сказал:

— Если это жертва, то я ее не принимаю.

— Да никакая это не жертва! — Степан Александрович поморщился.

— Но ведь и сама идея постановки и замысел ваши! — воскликнул Подбельский и тут же подумал: «Кроме, конечно, текста Самочадиной. Что с ней теперь делать? Если она заупрямится... Выходит, я сам себе свинью подсунул...» И вслух повторил: — Весь замысел ваш.

— Ну и что? Я главный режиссер, художественный руководитель, я по своей служебной обязанности должен высказывать общий замысел, так же, как, скажем, главный конструктор подает общую идею, а воплощением ее занимаются разработчики. Вы провели основную работу, и я не хочу набиваться вам в соавторы.

«Вот он куда поворачивает!» — удивился Подбельский, еще не веря в искренность Степана Александровича.

А тот продолжал развивать свою мысль:

— Когда проект готов, главный конструктор рассматривает его и вносит свои коррективы. Вот этим мы и займемся... Вот вам бумага и ручка, записывайте...

И Заворонский провел настолько обстоятельный разбор спектакля, что Подбельский был поражен. Обычно все замечания режиссера подробно записываются, а тут без всяких записей Степан Александрович последовательно высказывал их по каждой мизансцене, по каждой роли, при этом отмечал не только явные накладки, а и мелкие ошибки, не только грязь, а буквально каждую пылинку. На прогоне Подбельский и сам многое подметил, но далеко не все, а главное — не с такой пронизательностью и проникновением в мельчайшие детали и тончайшие нюансы каждой роли. «Все-таки он большой художник, — с уважением подумал Подбельский, — я многое потеряю, если придется уйти от него...»

— А что с Самочадиной? Откуда у нее этот текст?

— Но ведь вы сами разрешили, — пришел на помощь Марк Давыдович. — Вот она и сочинила.

— Она-то что угодно сочинит, а вот режиссер... Верните ей прежний текст, и вся недолга.

— Хорошо,— поспешно согласился Подбельский, подумав: «Это будет не так-то легко».

— И вот что меня особенно беспокоит,— продолжал Заворонский,— мне показалось, что Владимирцев и Грибанова как партнеры плохо чувствуют друг друга. Надо разобраться, в чем тут дело.

А они и сами не понимали, почему не всегда чувствуют друг друга, и оба искренне переживали это. Чувство партнера в работе актеров настолько важно, что порой оно приносит в результат гораздо больше, чем многие дни и недели работы над ролью. И Виктору, и Антонине Владимировне уже не раз приходилось работать с прекрасными актерами, которые оказывались неважными партнерами, и это было так мучительно и непонятно!

Заворонский прогнал с Владимирцевым и Грибановой наиболее важную мизансцену, где Виктор должен был мотивировать непривычную для его героя растерянность, которая вызывает смятение героини Грибановой. И тот и другая делали все правильно, существовали в ролях вполне искренне, но обоим чего-то не хватало для того, чтобы сказать, что они существуют истинно. Чего именно не хватало, они так и не поняли, и Заворонский назначил репетицию этой мизансцены на следующий день, на четырнадцать часов, ибо с утра занимался с другими актерами.

Поэтому Степан Александрович очень удивился, когда утром увидел в театре Владимирцева. Тот рассеянно наблюдал за тем, как работают другие актеры, был задумчив, видимо, был уже настроен на роль, и Заворонский не стал его отвлекать. Минут за десять до начала репетиции Владимирцев ушел за задник и начал мерить шагами сцену, вероятно, он весь уже был в проблемах и переживаниях капитана второго ранга Гвоздева.

А Грибановой еще не было. Она прибежала за пять минут до репетиции и сразу укрылась в своей кулисе. Но Владимирцев отыскал ее, подошел, но ничего не сказал, лишь пристально вглядывался в нее. И когда они вышли на сцену и произнесли первые реплики, Заворонский сразу почувствовал, что на этот раз все получается лучше. «Вероятно, все дело в том, что им перед выходом надо обязательно пообщаться». Но когда он попросил Грибанову прийти на следующий день пораньше, Антонина Владимировна запротестовала:

— Мне он мешает, я перед выходом хоть немного, но должна побыть одна.

— А ему, видимо, необходимо побыть с вами. Поэтому давайте сделаем так: вы придете пораньше, немного побудете с ним, а потом уйдете в свою кулису.

Так и сделали. И все вдруг стало на свои места, они выходили на сцену уже контактными. Этот контакт они сохранили и после того, как Заворонский снова уехал в Чехословакию и репетиции продолжал Подбельский.

3

Разговор с Самочадиной получился у Подбельского неожиданно короткий и легкий.

— Знаешь, Греточка, я очень сожалею, но Степан Александрович приказал вернуть тебе прежний текст. Дословно, до последней запятой. Я-то хотел сделать для тебя лучше...

— Я так и поняла,— усмехнулась Самочадина.

— Но, как видишь... — Семен огорченно пожал плечами и развел руки.

— Да уж вижу. Ну что же, мне даже легче, не надо учить новый текст.— Генриэтта беспечно зашагала прочь.

«Кажется, пронесло».— Подбельский облегченно вздохнул и тоже собрался уходить, но, вспомнив усмешку Генриэтты, насторожился: «Не дай бог, если она о чем-то догадывается, от нее можно ожидать все что угодно». Но на очередной репетиции Самочадина дословно восстановила текст своей роли и провела ее вполне сносно. И вообще весь спектакль складывался неплохо, две недели работы Заворонского с актерами дали вполне ощутимые результаты, а Владимирцев и Грибанова были просто великолепны. Даже Глушков, опять присутствовавший на репетиции, кажется, остался доволен.

«А ведь спектакль и впрямь получается и наверняка привлечет внимание. Теперь надо позаботиться, чтобы и меня лично критики не обошли этим вниманием». Подбельский знал многих театральных критиков и некоторых из них откровенно побаивался. Но на первом этапе их нетрудно было исключить. Солидные критики очень уж привязчивы, они, как правило, сотрудничают в одном каком-нибудь толстом журнале и не торопятся со своими рецензиями, давая спектаклю обкататься, а своему мнению устояться. А вот газеты стараются обогнать

друг друга, и рецензии там пишут или сотрудники этих газет, или те из критиков, которые поставляют свои отзывы «оперативно», и потому они чаще всего бывают весьма поверхностными. Однако пусть в разной степени, но влияют на мнение «академических» критиков, не говоря уже о зрителях. Поэтому Подбельский постарался пригласить на премьеру как можно больше газетчиков и через завлиту и знакомых как-то заранее настроить их на самое благожелательное отношение.

Ну, а о рекламе позаботился Марк Давыдович. Он отпечатал такие афиши, что даже репродукции с картин лучших художников редко попадают в таком полиграфическом исполнении. Кроме того, спектакль широко анонсировался во всех театральном-рекламных изданиях, и уже за месяц до премьеры все билеты были проданы и спекулянты потихоньку наживались на них за углами театральных касс. Марку Давыдовичу удалось даже договориться со студией документальных фильмов о том, что будет снят небольшой сюжет для «Хроники культурной жизни», а Олег Пальчиков обещал пробить его в телевизионной программе «Время».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

И вот наступил день премьеры.

Владимирцев, зная, как важно перед премьерой хорошо выспаться, накануне принял две таблетки снотворного и уснул сразу. И утром он не слышал, как ушла Марина, но его разбудил шум в коридоре: вернулась ночная смена пекарей. Шум скоро переместился в кухню, Виктор опять было задремал, но тут комендантша Дуся начала распекать Настю за плохую уборку. «Сколько раз собирался обить дверь дерматином, а так и не удосужился, — упрекнул себя Виктор, набрасывая на голову сверху Маринину подушку. — Ладно, после премьеры займусь».

Но, вспомнив о том, что сегодня премьеры, он встревожился и окончательно проснулся.

Ночная смена уже перебралась из кухни в коридор и шлепала по столу засаленными картами — на новые так и не скинулись.

Привычность обстановки несколько успокоила Виктора, но едва он вернулся в комнату, как им снова овладели тревога и предчувствие беды. «Неужто провалюсь?» От этой мысли почему-то начинало подташнивать.

«Надо взять себя в руки, успокоиться, иначе обязательно что-нибудь перепутаю или забуду текст. Может, прогуляться?»

Наскоро выпив чашку кофе, он вышел на улицу и, миновав Бородинский мост, направился к Киевскому вокзалу. Многим для успокоения необходимо уединение, а Виктор скорее успокаивался на людях, в толпе, невольно прислушиваясь к разговорам, наблюдая за собеседниками. Вокзальная суeta вызывала особенно много ассоциаций, вопросов и размышлений.

Потолкавшись на вокзале, Владимирцев окончательно успокоился и пешком отправился в театр, теперь уже наблюдая улицу и стараясь не думать о предстоящей премьере. Пока это ему удавалось, и он шел неторопливо и праздно. Но вот, ожидая на перекрестке зеленого света, он заметил в потоке машин оранжевые «Жигули» Семёна Подбельского, его сосредоточенное лицо и вновь ощутил тревогу.

Именно в мизансценах, где его партнером был Семен, Виктор до сих пор чувствовал себя как-то неуютно. Претензий к Семену как к партнеру он не мог предъявить, Подбельский вел роль хорошо и был достаточно контактен. Но Виктору чего-то не хватало, а вот чего, он никак не мог понять. «Может быть, причина не в нем, а во мне?» — подумал он сейчас, вспомнив эпизод, который произошел совсем на другом спектакле.

Там у Виктора была незначительная роль, всего два выхода и девять реплик, а Семен играл главную роль. Играл отлично, можно сказать — с блеском. Стоя за кулисами и наблюдая, как Семен точно и тонко лепит образ главного героя, Виктор представлял, как бы он сам это делал. Порой ему казалось, что он сделал бы это иначе, но иногда иначе у него не получалось и он искренне восхищался способностью Подбельского и по-хорошему завидовал ему.

Шел монолог, самый важный для всей роли и очень тяжелый для актера, весь на эмоции, трогательный. Семен вел его так хорошо, что, когда в его голосе начали ощущаться едва сдерживаемые рыдания, Владимирцеву самому захотелось плакать. Когда Семен выскочил за

кулису, лицо его все еще оставалось взволнованным, в глазах стояли слезы.

Но вот он увидел Эмилию Давыдовну, поманил ее пальчиком и как-то уж слишком спокойно, обыденным голосом попросил:

— Принесите мне пару бутербродов из зрительского буфета. Неважно каких, я с утра ничего не жрал.— И сунул Эмилии Давыдовне мятый рубль.

И опять вышел на сцену, и опять задрожал от волнения его голос, он сорвал аплодисменты, поднял зрителей на ноги, и они долго не отпускали его.

Владимирцев был одновременно и поражен и шокирован. Он так не умел и не понимал этого. Конечно, тут было большое мастерство. Но какое-то расчетливое, холодное.

«Может быть, вот этот холод и мешает мне поймать настроение в мизансценах с Подбельским? Может, просто мешает моя предубежденность к нему? Надо ее как-то преодолеть. Но как? Да и когда?»

Виктор глянул на часы. До спектакля оставалось еще четыре часа, можно было бы успеть еще раз пройтись по этим мизансценам и попытаться найти общее настроение, но Подбельскому сейчас не до этого, у него как у режиссера-постановщика других забот хоть отбавляй.

Гримироваться было еще рано, и Виктор не спеша пообедал в актерском буфете.

В трюме его догнал Голосовский, и они вместе направились за кулисы. Директор театра не стал спрашивать Виктора ни о готовности, ни о самочувствии, лишь подбодрил таким замечанием:

— Вам повезло, что премьера идет в начале сезона. После летнего перерыва зритель всегда более благожелателен, он соскучился по театру и актерам и весьма благосклонен к ним.

Семен Подбельский был иссиня-бледный, и Эмилия Давыдовна совала ему таблетку седуксена, но он долго не понимал, зачем она ему. И проглотил таблетку, наверное так и не поняв ее назначения. На актеров вообще было тошно смотреть, в глазах — неуверенность, обреченность, отчаяние и страх. И хотя Степан Александрович знал, что так бывает перед каждой премьерой, что уже после второго звонка все начнут помаленьку успокаиваться, а после третьего вообще придут в норму, видеть всю эту панику было невыносимо, и Заворонский отправился в зрительный зал.

Сдержанный гул зрительного зала, блеск бронзы на бортах лож, тонкий запах духов, легкий шелест программек всегда действовали на Степана Александровича успокаивающе и как бы очищающе, наполняли сердце тихой, торжественной радостью; ему казалось, что все собравшиеся здесь охвачены сейчас единым чувством всеобщей доброжелательности, отрешены от житейской суеты и мелких забот, их мысли чисты и возвышенны.

Федор Севастьянович Глушков, сидевший, как всегда, в проходе, все же поинтересовался:

— Как там?

— Зачем спрашиваешь, будто не знаешь? Как обычно.

— Ну да, конечно,— согласился Глушков и, помедлив, добавил: — А я вот тоже волнуюсь. Знаешь, никак не привыкну. Вот уже сколько лет в театре, вроде бы все понимаю, а на чужой спектакль иду даже с большим волнением, чем на свой. Невольно переносусь за кулисы и понимаю, каково им там сейчас. Послушай-ка, а кто это там в директорской ложе второй слева? Уж очень похож на Ваньку Порошина.

— А это он и есть.

— Разве он тоже теперь в министерстве?

— Нет, он играет в Верхнеозерском театре. Рядом с ним как раз главный режиссер этого театра Аркадий Светозаров. Я их специально пригласил.

— Это ты хорошо сделал. Вот только зря не сказал мне раньше, что Ванька в Верхнеозерске.

— Откуда я знал, что вы знакомы?

— И то! Ну ладно, иди, скоро третий звонок.

Владимирцев, мимоходом заглянувший в щель занавеса, тоже удивился, увидев Порошина и Светозарова. Сам он их не приглашал на премьеру, решил сделать это позже по двум причинам. Во-первых, надо, чтобы спектакль обкатался. Во-вторых, в Верхнеозерском театре сейчас тоже открытие сезона, Порошин наверняка занят в каком-нибудь из новых спектаклей, а отсутствие в театре ведущего актера и главного режиссера в такой ответственный момент не вызовет энтузиазма у артистов и восторга у областного управления культуры. «И тем не менее они приехали. И наверняка из-за меня. Не дай бог, если провалюсь, как я им в глаза посмотрю? Даже если и не провалюсь, и то стыдно: ведь не пригласил их...»

В седьмом ряду сидели дед Кузьма, Марина и Валентина Георгиевна Озерова. Кузьма был в темно-синем выходном суконном костюме и даже при галстукѣ, отчего

чувствовал себя крайне скованно и обильно вспотел. На Марине не было лица, голову она втянула в плечи, как будто ожидала удара. И лишь Валентина Георгиевна держалась свободно и слегка улыбалась, изучая программу. Виктор так и не понял, почему только ее из всех своих театральных наставников он и пригласил на премьеру: ведь именно ее суда он и боялся больше всего. А может быть, именно поэтому и пригласил?

Владимирцев снова перевел взгляд на директорскую ложу и увидел, как рядом с Порошиным усаживается Заворонский. Степан Александрович только вчера вернулся из Чехословакии, двух последних прогонов не видел, но лицо его было спокойным, однако его спокойствие не прибавило Виктору уверенности, наоборот, приезд Заворонского растревожил еще больше.

Набатным колоколом загредел третий звонок, и Эмилия Давыдовна прошипела:

— Мальчики и девочки, все по местам! Витя, не торчи у щели, Тоша уже давно в кулисе.

— Я ее уже видел. Не трогайте ее, ей нельзя мешать.

— Как будто я не знаю.

— Тем более.

— Не пререкайся. Тоже мне психолог нашелся. И отлипай от занавеса,— Эмилия Давыдовна слегка подтолкнула его.— Ну, ни пуха!

— К черту!

2

Это только внешне Заворонский казался спокоен. На самом деле он волновался не меньше актеров. Хотя после телеграммы Глушкова он и приехал в Москву и за две недели успел кое-что поправить после Подбельского, но спектакль-то доводил все-таки не сам и сейчас опасался, что Семен так и не «подмел» за собой до конца.

Первый акт прошел сносно, даже вполне прилично, актеры окончательно успокоились, и начало второго акта было и вовсе хорошим. Но вот пошла та самая ответственная мизансцена, когда Владимирцев должен был мотивизировать непривычную для его героя растерянность. Начал он хорошо, однако тут раньше времени вошла Самочадина с охапкой дров и с грохотом рассыпала ее. Это могло быть и случайностью, но дальше, не обращая внимания на предельную напряженность момента и на состояние Владимирцева, Генриэтта стала отвлекать от него

внимание зрителей тем, что принялась эти поленья собирать и снова ронять.

И сразу все смазалось у Владимирцева, растерялась и Грибанова, обернувшись к Самочадиной, она гневно посмотрела на нее, но та продолжала тянуть на себя.

Подбельский, наблюдавший за сценой из глубины портала, с ужасом ожидал, что еще выкинет Генриэтта. На репетициях она никаких манипуляций с дровами не проделывала, но сейчас стало очевидным, что вся эта клоунада была продумана и отработана ею заранее. «А ведь прикинулась кроткой овечкой и тем ловко ввела меня в заблуждение. Сорвет спектакль, и я ничего с ней не смогу поделать. Мне даже придется оправдывать ее, иначе она всю эту историю с переделкой текста вывалит наружу. И какой дьявол толкнул меня на это? Но мог ли я предполагать, что Заворонский снимет свое имя с афиши и тем самым мой же умысел обернется против меня же!»

Пристально наблюдая за Самочадиной, он пытался поймать ее взгляд и как-то остановить ее, но Генриэтта, видимо, намеренно не смотрела в его сторону. Но вот все-таки глянула мимоходом, и Подбельский, успев прочесть в ее взгляде злорадно-торжествующее выражение: «Ну что, съел?» — понял, что Генриэтту он уже не остановит, и растерянно посмотрел в ложу на Заворонского.

Степан Александрович тоже пристально наблюдал за Самочадиной, уже догадываясь, что все это Генриэтта делает преднамеренно. А сценическое время бежало стремительно, вот уже и зрители начали поерзывать в креслах, и все натянулось до предела, вот-вот лопнут терпение зрителей и нервы актеров.

«Сейчас все повалится», — обреченно подумал Степан Александрович и тут же услышал, как Порошин шепнул Светозарову:

— Пустила снежный ком.

«Это уж точно», — мысленно согласился Заворонский, по опыту зная, как этот ком превращается в лавину: актеры начинают нервничать, забывать текст, спектакль постепенно разлаживается, а потом и вовсе разваливается. Степан Александрович приподнялся было, чтобы бежать за кулисы и что-то предпринимать, но тут повалилась в обморок Грибанова. Повалилась так естественно, что зрители, наверное, поверили: так все и должно быть. Но Заворонский успел заметить, что перед этим Антонина Владимировна так успокаивающе глянула на Виктора, что тот, не стирая с лица выражения растеря-

ности (ох как к месту она оказалась!), обернулся к Самочадиной и крикнул:

— Нашатыря дайте!

Но Самочадина и сама растерялась, она понимала, что все покатилося не по тексту, и теперь уже вполне естественно рассыпала охапку и замерла в испуге. А из суфлерской раковины шипели все громче и громче, это шипение стало доноситься уже до первых рядов, но тут опять нашелся Владимирцев и крикнул:

— Ну что же вы стоите? Если нет нашатыря, дайте хотя бы валерьянки!

Но Самочадину точно пригвоздили к полу.

— Мама! — крикнул куда-то за кулисы Владимирцев. — Валерьянки!

И тут, к изумлению Заворонского, на сцене появилась Эмилия Давыдовна со своей сшитой из портьеры сумкой и воскликнула:

— Ой батюшки, да что это с ней? Я счас, у меня тут все есть, — и начала рыться в сумке, поочередно извлекая оттуда все, что попадалось под руку, даже пьесу Половникова. Потом вытряхнула из сумки все содержимое, зубами открыла какой-то пузырек и сунула его под нос Грибановой. Та поморщилась и очнулась:

— Что это со мной было?

— А, пустяки! — сказала Эмилия Давыдовна и, подхватив под руку Самочадину, выволокла ее со сцены.

А Владимирцев, усаживая Грибанову на диван, крикнул им вдогонку:

— Воды принесите!

Заворонский испугался, что с водой опять придет Самочадина и вся импровизация смажется. Но пришла Эмилия Давыдовна и, протягивая Грибановой стакан, успокаивающе сказала:

— Ничего, милая, это не страшно. С нами это бывает. — И начала неторопливо собирать поленья, по одному перенося их в угол и побряхтывая. Степан Александрович уже догадался, что делает это она намеренно, чтобы дать Владимирцеву и Грибановой время настроиться, и мысленно похвалил Эмилию Давыдовну: «Молодец, старуха!»

Наконец Эмилия Давыдовна удалилась, и Владимирцев с Грибановой продолжили всю мизансцену по авторскому тексту, опустив, правда, растерянность и смятение, ибо теперь они были уже ни к чему.

Заворонский глянул в зал и убедился, что зрители ни о чем не догадались. Даже Половников, сидевший в другом углу ложи, кажется, не обратил внимания на то, что в его пьесе вдруг появилась мать — чья? Гвоздева или его жены? — которую так естественно сыграла Эмилия Давыдовна. Половников блаженно улыбался, должно быть, спектакль ему нравился.

3

А Половникову действительно в спектакле правилось буквально все. Он впервые услышал написанные им слова со сцены, увидел, как актеры раскрывают созданные им образы и характеры, и понял, что театр значительно обогатил их. Но главное — он впервые не только слышал свое слово из чужих уст, он видел его. И еще ощущал, как реагирует зрительный зал, а реагировал он хорошо, и эта коллективная оценка его пьесы была особенно приятной и дорогой.

Сначала Александр Васильевич воспринимал реакцию всего зала сразу, как-то безлико. Потом увидел деда Кузьму и долго следил за выражением его лица. Дед был при параде, похоже, это его порой стесняло, но на все происходящее на сцене он реагировал весьма непосредственно: то хмурился, то смеялся, то вдруг сосредоточенно слушал, приставив к уху ладонь. «Надо было посадить его ближе, вместе с Костей и Виктором Степановичем».

Хирург Виктор Степанович Захаров с женой и дочерью и Костя-гитарист со своей девушкой сидели в третьем ряду. Инспектор ГАИ Александр Дмитриевич Камушкин и Коля-спортсмен еще лежали в больнице, Иван Михайлович отдыхал в санатории, а Мишка-браконьер уехал опять в Кулундинскую степь.

Семейство Захаровых смотрело спектакль увлеченно и самозабвенно, особенно дочь хирурга, все ее ощущения отчетливо отражались на лице. Костя-гитарист сначала смотрел на сцену недоверчиво, с легкой иронией, видимо, он считал, что для него, «профессионала», иначе держаться несолидно, а может, просто позировал перед своей девушкой, с которой в больнице убегал целоваться на лестничную площадку. Но вот и он увлекся действием, забыл про маску, и лицо его обрело привычную подвижность и открытость. Почему-то эта его метаморфоза особенно порадовала Половникова и окончательно убедила его в успехе,

Писательская судьба Александра Васильевича Половникова складывалась в общем-то довольно благополучно. Правда, и у него были проходные книги, которые он сам, ну не сказать чтобы не любил, но стеснялся их.

Но ведь помимо проходных были и явные удачи, а об одном его романе много писали в газетах и журналах, он получил свыше четырёх с половиной тысяч писем читателей и до сих пор не успел ответить всем, хотя ежедневно выделял на эти ответы по два часа.

И все-таки успех в театре был куда приятнее и ошутимее. Особенно ощутил Александр Васильевич этот успех, когда Заворонский за руку вывел его на сцену, на поклон, и зрители дружно встали и долго аплодировали ему, а кто-кто даже кричал «браво!».

А Семен Подбельский почему-то опять глотал таблетки, Виктор Владимирцев собирался вернуться в Верхнеозерск, а Антонина Владимировна рыдала. Половников бросился к ней:

— Что с вами?

— Ничего, это нервы. Просто перенапряжение. Сейчас пройдет.

— А мама опять испекла пироги с капустой,— неожиданно сообщил Александр Васильевич, и это сообщение почему-то успокоило Антонину Владимировну.

Все поздравляли Эмилию Давыдовну с блестящим актерским дебютом, она сияла и то у Заворонского, то у Владимирцева спрашивала:

— А все-таки чья же я мать?

— Это не имеет значения. Я думаю, мы эту роль сохраним. Не возражаете, Александр Васильевич?

Только сейчас Половников и узнал, что весь этот эпизод с матерью был вынужденной импровизацией, что именно находчивость Грибаповой, Владимирцева и Эмилии Давыдовны спасла спектакль от провала. Но Половников не поверил, ибо, несмотря на то, что он около года проработал с театром, в отношении актерского мастерства и актерской психологии он все еще пребывал в счастливом неведении.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ГЛАВА ПЕРВАЯ	3
ГЛАВА ВТОРАЯ	26
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	49
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	66
ГЛАВА ПЯТАЯ	83
ГЛАВА ШЕСТАЯ	101
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	136
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	155
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	167
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ	182
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ	199
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ	219
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ	240
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ	265
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ	279

ИБ № 2568

**Виктор Александрович
УСТЬЯНЦЕВ
ПРЕМЬЕРА**

Роман

Заведующая редакцией *Л. Сурова*
Редакторы *М. Курзанов, Н. Никишин*
Художник *А. Когановский*
Художественный редактор *Э. Розен*
Технический редактор *Г. Бессонова*
Корректоры *И. Фридлянд, З. Комарова,*
И. Попкова

Сдано в набор 03.01.84. Подписано к печати 29.06.84. Л80750. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,54. Уч.-изд. л. 16,31. Тираж 100 000 экз. Заказ 4118. Цена 1 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8. Набрано и изготовлено в Ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16. Отпечатано в Московской типографии № 13 ПО «Периодика» ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 107005, Москва, Б-5, Денисовский пер., дом 30, зак. 219.

1 р. 10 к.

В. УСТЬЯНЦЕВ

ПРЕМЬЕРА



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ